

Людмила НИКЕЕВА

ОТБЛЕСКИ...

Записки одной души

Моим детям...

*Сердечное благодарение
прот. Константину ПАРХОМЕНКО
за духовное сопровождение этих записок*

Предисловие	5
О чем все это...	6
ЧАСТЬ I. Начало...	8
Жила-была девочка...	8
Семь лет после войны	10
Озерки	21
Пятьдесят третий...	22
Оттепель	25
Кики-Вики и другие	28
Лавра...	31
Экзамен по географии.....	33
Тридцать первая!.....	34
Пирожки	36
«Горьковка».....	37
Малый коридор	40
Целина.....	43
Не хлебом единым...	52
Vivant professores!	55
Было время...	62
Кто-то должен!.....	63
«Здравствуй, это я!».....	65
На противном ветру...	68
ЧАСТЬ II. Приветствовать восход...	71
Прощай... — И здравствуй! 1973-1974	72
Смерть – это не точка, это двоеточие! (Послесловие свящ. К. Пархоменко).....	98
Лазарев год. 2002-2003	100

Эпилог.....	130
ЧАСТЬ III. Частички бытия.....	135
Свете Тихий, или: Что может сделать один луч солнца с душой человека.....	135
Синяя будочка... ..	139
Звездный час.....	141
Взыскание погибающих.....	144
Управил.....	145
Быть нищим.....	147
У подсвечника.....	150
Две встречи.....	156
«Звезды падали со лба...».....	158
Алтарница Тамара.....	161
Вера.....	162
От бабы Мани.....	164
Три Марии.....	165
Андрей-семинарист.....	168
Дед Никифор.....	170
По-братски, по-ленинградски!.....	173
Семеро Николаев.....	176
Строка синодика.....	181
Иов.....	185
«Мороженое кончилось... Мороженое кончилось...».....	188
Посещение Господне... ..	190
«Азь есмь съ вами».....	191
Хоспис.....	196
ЧАСТЬ IV. Сквозь светящийся воздух.....	201
Из Греции – с любовью... ..	201
День рождения.....	218

С небес на землю – и обратно...	221
Сорокоуст	223
«Я полагаю радугу Мою в облаке...»	227

Предисловие

В жизни каждого из нас или присутствуют, или на какое-то время появляются сотни, тысячи людей. И лишь некоторые оказываются для нас по-особому значимы. Так значимы, что про них можно сказать: если бы их в моей жизни не было – я был бы другим человеком.

Автор книги, которую вы держите в руках, для меня – один из немногих таких людей.

Мы познакомились больше пятнадцати лет назад. В храме, на скамеечке сидела немолодая, приятная и интеллигентная дама. Я подошел, мы разговорились. Я не мог и предполагать, что этот человек станет на долгие годы другом моей семьи и моей правой рукой во всех моих проектах.

Положа руку на сердце, я не уверен, кто из нас кому оказался нужней: я, юнец, облеченный благодатию священнического служения, или Людмила Александровна, которая стала мне незаменимым советчиком, строгим (и оттого полезным) критиком, мудрым другом. Если бы меня попросили создать *топ* десяти самых значимых в моей жизни людей, в эту десятку я уверенно включил бы милую Людмилу Александровну, которую уже много лет именую не иначе, как *матушкой*.

Надеюсь, теперь, дорогой читатель, вы понимаете, что объективно оценить эту книгу – я не могу. Не могу, потому что не могу отстраниться, потому, что просто люблю автора. А к тем, кого мы любим, мы не можем быть беспристрастны.

Впрочем, по послушанию, я должен как-то анонсировать книгу, как-то представить ее читателю. Я поделюсь, чем она дорога, чем она открывается мне.

В этой полифоничной книге много мелодий, и вы их вспомните, они как-то отзовутся в вашем сердце. Может быть, лично мы с вами этого не переживали, но это передается нам генетически, от родителей, от предков.

Мы услышим гудящий рев самолетов, летящих бомбить выстывший Ленинград;

Мы услышим стук каблучков, когда девочки 40-х играют в классики;

Нас захватит шум, бурление университетских коридоров 50-х;

Мы воочию представим тесные, людные редакторские, услышим лязганье пишущих машинок 60-х.

Мы с вами подойдем к 70-м... Об этих годах (я родился в 74-м) у меня смутные воспоминания как о теплом, пахнущем кашей, наполненном желтой листвой (мама со мной проводила много времени в осеннем парке) времени. Это же время для нашего автора было страшным временем выживания, попыткой нащупать какие-то точки опоры в разбившейся жизни. Что я имею в виду, вы поймете, когда будете читать книгу.

В 90-е, когда я находил себя, почти потерявшегося подростка, в лабораториях Духовных Школ, Людмила Александровна нашла свой церковный путь. Он у нас с ней оказался почти параллельным: я в 99-м закончил Академию, она, в том же году, приняла Святое Крещение и... пресуществила в нем всё накопленное за свою непростую жизнь... А через два года наши пути пересеклись. Последнее время я думаю: может, наша встреча в 2001-м была неминуема?..

Книгу, которая сейчас лежит перед вами, мне хотелось бы снабдить немного другим, чем у автора, подзаголовком: «Песня покаяния и возрождения», или «Записки стоящего на пороге инобытия», или, еще точнее, «Прикосновения».

«Через века и пространства, – говорил о. Александр Шмеман, – перекликаются между собою все те, кто имеет опыт живой и очевидной встречи, этого очевидного прикосновения Бога к душе. И все же – возразят нам – это немногие, это единицы. На это ответим: многие или немногие, мы не знаем, ибо

сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте? А сколько живут им потаенно, ибо боятся, что, рассказав его, окажутся гордецами, ищущими признания».

В добрый путь, книга дорогого мне человека! И хоть почти все, что опубликовано здесь, я, в той или иной степени, слышал от автора или читал в ее записках и черновиках, я с нетерпением жду времени, когда смогу спокойно это всё перечитать.

И подумать над своей жизнью. И сделать какие-то важные для себя выводы. И стать иным, ибо хорошая книга всегда нас делает немножко иными, нежели мы были прежде.

А Вам, дорогой мой друг, матушка Людмила, здоровья и сил.

Обнимаю, и СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ.

Ваш прот. Константин Пархоменко

О чем все это...

Личное свидетельство обязывает. Когда подходишь к концу земного пути – еще немного, и восемьдесят, возраст, который Псалмопевец поставил в своем псалме пределом земной жизни, когда подходит такой возраст – естественно, оглядываешься назад, на весь пройденный путь и на то, как много довелось увидеть, пережить, создать, построить, разрушить...

Епископ Василий (Родзянко)

Однажды отец Константин Пархоменко (в дальнейшем я буду называть его просто отец К.) сказал: «Знаете, я давно собираюсь предложить вам написать книгу о вашей жизни... Не разрозненными, пусть и интересными, фрагментами, как у вас в блоге, — о том, о сем, — а о вашем *пути*».

Предложение было, прямо скажем, неожиданным. Путь моей жизни... Я сказала, что подумаю...

И стала думать: а был путь-то? Или жизнь моя бессистемно шла?

Я очень часто думаю – и даже где-то об этом уже писала, – о том, что на мое поколение, так называемых шестидесятников, выпало столько всего – столько смен общественных формаций (от сталинского феодализма через все и всяческие «измы» к нынешнему трудноопределимому status quo), столько оттепелей и заморозков, войн и замиренний, надежд и крахов и снова надежд (связанных с нынешним бытием многих моих сверстников в Церкви), — что оно, кажется мне иногда, увидит и Второе пришествие Христово... Как осознать и описать свою мелкую, частную траекторию в этом мощном потоке?.. Да и кому она интересна сегодня? На фоне всего

происходящего в мире?

И я сказала: «Нет, батюшка... Не могу. Опять о себе!». Он попросил меня все же подумать.

А вернулась домой, вошла в свою «келью»... Боже мой, ОДИГИТРИЯ же сегодня!.. Она смотрела на меня со стены, держа на левой руке Своего Божественного Младенца, а правой – указывая путь. «Путеводительница»! 10 августа... Умудриться надо именно в этот день отказаться от предложенного мне осмысления пройденного *пути*...

...Лет 10 назад мне подарили книгу архиеп. Иоанна (Шаховского) «Установление единства». Помню, прочитала ее тогда с большим интересом – и забыла, а с полгода назад, увидев знакомый бело-фиолетовый корешок, решила ее перечитать. И к концу чтения вся она оказалась в закладках и карандашных отчеркиваниях на полях. Как будто и не читала – настолько всё оказалось внове для души. С хорошими книгами часто так...

Установление единства. Да, вот и цель, и смысл, и путь: установить единство между девочкой, с рождения жившей напротив церкви Пресвятой Троицы, даже не подозревая о смысле этих слов, – и мною же, чудным Промыслом Божиим в Соборе во имя же Святой Живоначальной Троицы свою жизнь заканчивающей...

А между ними – двумя этими «я» – долгая, прямая и кривая, светлая и темная жизнь... Если бы я все еще жила, не зная и не ведая Бога, переварить эту мою жизнь мне было бы не под силу. Но, слава Богу, сегодня я – с Ним... И во Свете Его уходят тени и вспыхивают и трепещут отблески радости...

И, слава Богу, жил на свете такой мудрый человек, как писатель Сергей Фудель, который как будто специально для меня сказал когда-то такие слова:

«Вхождение в духовность дает человеку осознание условности времени. В духовности начинается тропа Вечности, где “времени больше не будет”. Снимаются какие-то стены, стена, отделяющая и закрывающая мое настоящее от моего прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ.

И еще возникает новое: возможность как-то изменить что-то в своем прошлом, в себе, давно бывшем, что-то в темном осадке падений и измен Богу. Нам сказано: “Все возможно верующему”. Старец Серафим (Батюгов), помню, говорил: “Наступит время в вашей жизни, когда вы начнете *залечивать прошлое*” (курсив мой)».

...Книга эта, по немощам телесным и отчасти, наверное, и духовным, писалась долго и с большими перерывами. И если бы не отец Константин Пархоменко, ненавязчиво взбадривавший меня, живо интересуясь время от времени, не появилось ли у меня что-то «новенькое», едва ли бы вы сейчас читали эти записки... Но вот, они перед вами...

ЧАСТЬ I. Начало...

*Никакое воображение не придумает вам того,
что дает иногда самая обыкновенная,
заурядная жизнь, уважайте жизнь!*

Федор Достоевский

Жила-была девочка...

Уже под конец того долгого дня 10 августа 2014-го, когда отец К. сделал свое неожиданное предложение, уже засыпая, я отчетливо увидела вдруг у себя перед глазами старую канцелярскую папку неопределенного цвета. Не зажигая свет, чтобы не спугнуть сон, встала, открыла дверцы старого своего секретера, не глядя протянула руку вглубь – и ухватила шершавый бок той самой папки. Зажгла на минутку лампу, развязала завязки – да... И погасила свет: начни читать – прощай, сон!..

А утром... стала листать. Тут были собраны мои первые «мемуары» – попытка осмыслить прожитые до тех пор 47 лет. Еще никак (по крайней мере, сознательно) не связанная с поисками Бога вообще и Его роли в моей жизни, в частности. Когда же, много-много позже, приняв Святое Крещение, я уже обрела способность ясными, зрячими глазами видеть свои истоки и дальнейшее течение прожитых немалых лет, я снова взяла в руки эту серую папку.

Все, о чем там речь, писалось летом 85-го, когда мой сын первый раз был в лагере и у меня вдруг появилось какое-то время, чтобы «о душе подумать». Тогда, в 85-м, я не ставила цель осмыслить свою жизнь. Мне захотелось понять свои истоки, понять, «откуда я пошла есть». А где наши истоки? В детстве, где же еще. Я ничего не стала менять в тех давних записках, не стала смотреть на них из своего сегодня. В конце концов, это подлинный документ той эпохи... О которой большинство нынешних читателей, к счастью (или к несчастью?..), уже мало что знает.

Те, кто читал мои дневники 1973-1974 годов, помнят их трагическую тональность. Из глубины души она нигде не ушла, подобные потери «не имеют срока давности», но, чтобы мой сын возрастал в благоприятном для души климате, я должна была создать такие климатические условия в самой себе. И я взяла в книгу лишь небольшую часть моих «мемуаров» 1985-го, оставив за бортом достаточно много грустного и тяжелого: ни о ком не хотелось сегодня говорить плохо, ничей прах тревожить... Но... «в сухом остатке» сколько же светлого там оказалось, как молода еще была душа...

...Был когда-то такой трогательный фильм: «Жила-была девочка». Мне очень нравится его название, оно показалось мне как нельзя более подходящим для рассказа о девочке, которая лишь в семь лет узнала, что бывает в жизни не только война, но и мир. И тишина...

Воеет сирена воздушной тревоги. Нас ведут через двор в подвал, в бомбоубежище. Наверное, я еще не знаю, что это такое – бомбежка, потому что чувства страха не помню. И вдруг совсем рядом со мной чиркает по люку, прочертив красный в темноте след, кусочек железа. Сыплются красные искры. Взрыва, грохота, вообще никаких звуков не помню. Только этот маленький красный кусочек. Он попал в люк, не в меня, и вот сейчас я о нем пишу. Это мое самое первое воспоминание.

В этом детском саду на Фонтанке заведующая воровала – у нас, у блокадной малышни. Потом ее судили... Надо было как-то меня спасти, и мама устроилась на железную дорогу проводницей. И сразу же перевела меня в железнодорожный садик на Ломанской (ныне – Комиссара Смирнова).

Ездилa мама на Лaдогу, по Дороге Жизни. Она получала рабочую карточкy, по которой полагалось, кажется, 500 граммов хлеба, сколько-то на иждивенцев (то есть на меня, старшая моя сестра была эвакуирована с детским домом в Хвойную) и еще какой-то минимум. А я была в круглосуточном садике.

В редкие свои выходные мама забирала меня «на побывку» домой. Жили мы тогда на улице Марата, второй дом от Невского. И вот через Литейный мост, по Литейному проспекту, потом по Невскому мама везла меня на санках – трамвай не ходили...

Но это было спустя какое-то время. А сначала в том садике на Ломанской меня выхаживали. И с этим временем связано мое второе воспоминание.

Первая блокадная зима, мне нет еще четырех. Я в детсадовском изоляторе. Темно. Вечер это или ночь, не знаю, но темно. Моя кровать стоит перпендикулярно стенке, слева — окно. На стене, освещенной, по всей вероятности, луной (фонари на улице в то время гореть не могли: затемнение), — тени от спинок кроватей. Мне очень легко и хорошо. Такое чувство, что стоит пошевелить рукой — и то ли уплыву, то ли улечу куда-то. Но вот как раз пошевелить рукой я и не могу. У меня, как я узнала потом от мамы, две блокадные сестры — дистрофия и цинга. Я умираю. Я еще не могу знать, что это значит — умереть, но что умираю, знаю точно. Кто-то из взрослых надо мной сказал: «Эта девочка – не жилец...».

А я – выжила...

Вот мама привезла меня на очередную побывку. Сажу в железной кроватке с веревочной сеткой-загородкой. Мама на кухне. На столе посреди комнаты лежит крохотный кусочек хлеба. Он порезан на меньшие кусочки. Я осторожно вылезаю из кровати, крадучись подхожу к столу – и долго облизываю нож, на который налипли крошки. Сам хлеб не трогаю, это нельзя. Это я знаю твердо.

В садике на Ломанской, поскольку он был ведомственным, полагалось какое-то дополнительное питание, мама по своей рабочей карточке получала чуть больше других, но и того, и другого хватало ровно настолько, чтобы не умереть. Работа у мамы была тяжелая, не только потому, что ездила она под бомбежками, но и потому, что приходилось колоть уголь для печурки, отчего на руках были незаживающие трещины, бегать за водой к паровозным колонкам, кипятить воду для пассажиров, мыть полы, да мало ли что еще... И есть нам обеим хотелось постоянно. А у нас был сосед, Иван Павлович. Он не был на фронте, по брони. Иван Павлович дружил с дворником, дядей Андреем. И однажды они с ним забили лошадь. И жена его, Наталья Ивановна, сказала маме: «Вот, Лиза, я тебе могу, если хочешь, дать это мясо, а ты будешь нам таскать воду с Фонтанки». И мама за эти полкило конины месяца два (в свои приходы домой) таскала воду – нам и Павловым... Поднимая ведра на третий этаж (а потолки у нас были четырехметровые).

...Солнечное зимнее утро. Я — в железнодорожном детском саду в Озерках. Война еще не кончилась, но дело уже к тому идет. Нам уже дают иногда шоколад. Американский. Еще — «морские камешки». До сих пор помню неземной вкус ореха, обнаруживавшегося под переливчатым разноцветным слоем сахара...

Что там со мной стряслось, кто там меня обидел, или просто домой захотелось — не помню. Но, так или иначе, одним прекрасным зимним утром я иду по дороге с подобранной где-то лыжной палкой без колечка. Я жду на кольце «двадцатку»: я знаю, что она довезет меня прямо до дома, на мою родную улицу Марата. Следующий кадр — трамвай и склонившаяся надо мной кондукторша в очках: «Девочка, ты с кем? У тебя есть деньги на билет?»

Надо понимать, что денег у меня не было. Потому что дальше я вижу себя в отделении милиции. Уже темно, тускло горит лампочка. За столом сидит женщина-милиционер и говорит по телефону. А через какое-то время вбегает мама. Мама, яростно волокущая меня за руку, —

это следующая картинка. Куда меня волокут? Обратно в детский сад? Домой? Не помню.

Уже вернулась из эвакуации тетя Дуся, мамина сестра; комнату ее в квартире ниже этажом заняли, и первое время она жила у нас. Вечерами они с мамой варят клейстер, чтобы склеить бумажными полосами еле держащиеся в рамках остатки стекол. Сварив клейстер, они садятся за стол и с хохотом говорят: «Да ну, Лизка (или: Дуська)! Давай его съедим! Людка спит, наверное». «А вот и не сплю! — говорю я и сажусь на кровати: — А мне?» — «Ты что, у тебя кишки склеятся! Спи давай!» Но, судя по тому, что назавтра повторяется тот же сценарий, клейстер опять съели...

А вскоре после возвращения тети Дуси к нам с мамой, стоящим в очереди в банях на Пушкинской, подбегает какая-то большая девочка и обнимает нас. Ей соседи сказали, что мы пошли в баню, и она сразу к нам прибежала. Это моя старшая сестра Эля, она вернулась из-под Хвойной, куда ее вывезли с одним из детских домов. Ей уже 14 лет, а мне, когда она уехала, было три с небольшим, и я ее не узнала... Слава Богу, теперь мы все вместе. Вот только папа наш там, откуда не возвращаются...

И вот — конец войне! По Невскому от Московского вокзала идут и идут колонны возвращающихся с фронта солдат, и мы с дворовыми ребятами каждый день туда бегаем. Заслышав издали звуки духового оркестра, бежим на Невский...

Семь лет после войны

«Мадам, у вас случайно нет булавки?»

«Мадам» — это моя мама. А та, кто ее так удивительно назвала, — бабушка Тани Шер. Но сейчас я этого еще не знаю. Мы все, робеющие первоклашки и наши мамы, папы (очень малочисленные — 1 сентября 1945 года...), бабушки, столпились в школьной раздевалке и ждем, пока нас разберут по классам.

И вот, наконец: «Первый “а”, ко мне, дети!» Мы собираемся возле пожилой учительницы, она выстраивает нас парами. Я в первый и в последний раз стою в первой паре: Юлия Александровна (негласно мимолетно превратившаяся в Юксанну) «раскусывает» меня, по ее собственному выражению, очень скоро. Больно держа меня за руку, Юксанна произносит загадочное: «Я!.. Дети!.. Тих!» (сколько раз еще услышим мы эти междометия за первые четыре года, прожитые под ее предводительством!..) и ведет нас наверх.

Мама привела меня в школу первый и последний раз. Показала дорогу — чего ж еще?.. Такое было время.

Наша дворовая команда — Лёха, Юрка, Валька, Вовка-Китаец, Нинка, Тамарка, Лорка, я — целеустремленно движется по Марата, не отрывая глаз от земли. Время от времени наклоняемся и что-то подбираем. Что? Абрикосовые косточки.

Какое-то повальное сумасшествие. Косточковая эпидемия.

И вот мы сидим на корточках в нашем дворе. Вся добыча честно, без утайки, сложена возле Вовки-Китайца. (Он не был китайцем. У него были миндалевидные темные глаза — и только. Но прозвище прилипло к нему прочно.) Вовка — самый старший. Камнем он раскалывает косточки и по очереди оделяет каждого белоснежными, когда спустишь с них коричневую шкуру, божественного вкуса ядрышками.

Возле них витает угрожающее по звучанию, но непонятное нам слово — сифилис. Это взрослые предостерегали от нашей пагубной страсти. Но тщетно.

Булочная на углу Невского и Восстания. Туда были прикреплены наши хлебные карточки. За хлебом ходила я. Хлеб отпускался на вес, и к пайке всегда шел довесок. Довесок — мой, по закону. Когда довесок получался большой, его хватало до самого дома. Идешь — и сосешь,

откусывая понемногу. Но если не везло и довесок был маленький — он кончался скоро, и весь оставшийся отрезок пути проходил в жестокой внутренней борьбе. Исход у нее был всегда один и тот же. На улице еще кое-как держалась, на миру и смерть красна. Но, когда входила на лестницу — над сознательностью блокадного ребенка неизменно брало верх голодное естество послевоенного времени, и, медленно поднимаясь по крутым ступенькам на наш третий этаж, я по-мышинному обгрызала пайку, сначала с уголков, а потом — по ребрышкам. Мне казалось — сработано чисто. Но мама после блокады недостачу в микрон, наверное, увидела бы.

До какого-то времени, наверное, до 47-го, когда отменили карточную систему, к праздникам «давали» муку. Насколько я помню, отпускалась она по талонам. Два, кажется, кило на взрослого работающего и сколько-то на «иждивенцев», то есть, например, на меня. О, эти мучные очереди, начинавшиеся от угла нашего дома и змеившиеся вдоль него по Стремянной, чтобы, пройдя через подворотню, завернуть обратно, уже по нашему двору, к черному входу магазина, откуда выдавалась мука. Почему «отоваривание» талонов непременно оборачивалось этим двух-трехчасовым стоянием в очереди — я не помню, может быть, их надо было реализовать в какой-то короткий срок.

Хуже всего было под Новый год, в морозы, пробивавшие насквозь не только валенки, но и несколько слоев газеты, которыми оборачивались ноги, и заставлявшие всех притоптывать, приплясывать и постукивать ногой об ногу.

Мы с мамой стояли, сменяя друг друга, бегая домой погреться. Как выдерживали те, кого сменить было некому, — сказать не берусь.

Я на кухне. Взрослых никого нет. Раздается сухой звонок — он не электрический, это вертушка, похожая на головку заводного ключика, только много больше. Я открываю дверь и вижу немца в темно-зеленом кепи с длинным козырьком, в тяжелых ботинках. «Хлеба... Дай?» — говорит он. Я бегу в комнату и выношу ему кусок хлеба и еще большой соленый огурец. Он благодарно улыбается и уходит.

Наверное, это уже 48-й, судя по тому, что я свободно, не боясь гнева мамы, отрезаю этот кусок, и вообще, хлеб от меня не спрятан. Карточки отменили в 47-м.

Немцы убрали развалины домов и строили новые. До сих пор еще стоят — возле Удельной, в районе Черной речки, за Нарвской заставой — целые кварталы аккуратных двух-трехэтажных домов, построенных немецкими военнопленными.

У нас немцы работали на углу Дмитровского и Стремянной, разбивали сквер. Мы постоянно, крутились возле них, поджидая, когда кто-нибудь, полураспрямившись и устало опершись на лопату или кирку, достанет мятую бумажку и скажет: «Девочка! Морожено. Пожалуста!». И мы пулей мчались к лотку на углу Владимирского и Невского. Никаких дивидендов мы с этих поручений не имели, но выполняли их с охотой чрезвычайной. Почему? Вряд ли это был просто интерес к иностранцам. Нам это понятие было еще незнакомо. Были русские — и были немцы. Это все, что мы знали о мире. Сейчас я думаю так — наверное, нам казалось, что не могли все эти груды развалин сделать эти вот люди, которым даже нельзя самим сходить за мороженым. Это все сделали *не наши*, какие-то другие немцы.

Чуть подальше на Дмитровском были еще не разобранные развалины дома, и зимой мы бегали туда кататься на санках. «Гора» здесь была выше и круче, чем «гора» в соседнем переулке, Поварском, но на Дмитровском был риск вылететь с санками на трамвайную линию, и надо было уметь в случае чего резко затормозить. Поэтому мы чаще ходили на Поварской. Мы принимали их, эти «горы», как некую данность, они были здесь сколько мы себя помнили (появившись в наши два-четыре года...)

Еще одно зимнее развлечение — катиться на коньках вслед за трамваем, зацепившись за «колбасу» изогнутой крючком жесткой проволокой. Как раз около нашего дома, со стороны

Стремянной, было трамвайное кольцо. Дождешься, когда трамвай тронется, зацепишься — и катишься до поворота на Дмитровский, где вагон замедляет ход, там отцепляешься. Очень удобно. У меня были огромные ржавые коньки, прикрученные к валенкам посредством веревки и палочки. Однажды веревка от правого конька лопнула, конек на полном ходу отвалился, и, не успев вовремя отцепиться, я так пропахала носом заледеневший снег, что больше к этому виду послевоенного спорта не возвращалась никогда.

Звонкий удар битой — и маленький тугой мяч взвивается в воздух.

Как умудрялись мы играть в лапту в нашем крохотном дворе-колодце с флигелем посредине и не бить — во всяком случае, практически не бить — окна?

Штандар! Прожигалы! «Краски»! Лапта! «Чижик»! «Я садовником родился»! «Казак-разбойники»!..

Мы не знали, что такое слоняться без дела по улицам, как слоняются нынешние ребята на космических просторах новостроек, как это — уныло бороздить газоны велосипедами, лениво крутя педали.

Какие велосипеды? Мопеды тем более? Единственная «машина» того времени, да и то у тех редких счастливых, у которых были отцы, — самокат. Нет, это не те сверкающие красавцы, которые можно увидеть сейчас. Что такое самокат моего детства? Некое подобие руля насажено на грубо оструганную деревянную стойку, прикрепленную к такой же занозистой подножке. Колеса — два подшипника. И едет это чудо с леденящим душу скрежетом и визгом. Но скорость на нем можно было развить неплохую, только вот свободный пробег был маловат.

У нас не было, или почти не было, игрушек. Да и зачем? Что с ними делать? Нам некогда.

«Кто будет в чирика?» — «Я! Я! Я!»

Берется плоский камень, на него кладется узкая дощечка, на нижний, упирающийся в землю конец кладется «чирик», такая маленькая палочка с заостренными кончиками, по приподнятому концу ударяют битой или просто ногой, «чирик» взлетает, и водящий его ловит — если сумеет. Не так-то это просто. Тут нужна реакция.

«Ну-ка дайте, ребята, я попробую!» — говорит тетя Зина из квартиры в подворотне и берет биты. Молодец тетя Зина! Неплохо для начала.

Ушло все это в небытие, все эти быстрые, ловкие игры, набивавшие глаз, руку, реакцию. А жаль.

...«Утиль-тррэп! Утиль-тррэп!» — раздается иногда по утрам в нашем дворе. Это старьевщик. Сбегают женщины, дети. Тащат банки-склянки, притом любые, без разбору — все годится, старую резиновую обувь, тряпье («тррэп»), медную утварь, она ценится дороже всего, даже самовары иной раз несут. Старьевщик взвешивает все это, сваливает в тележку и выдает деньги. Очень небольшие — но деньги.

«Лиза, Тулкины вернулись, видела?» — говорит маме соседка. «Видела...», — неохотно отвечает мама. Дальше идет разговор, в котором звучат страшные, непонятные слова — «враг народа». Что это?

Во дворе я вижу этих таинственных Тулкиных. Мама — «Симка», так она фигурировала в разговоре взрослых, — и две совершенно одинаковые девочки — Ира и Кира: светлые косички, круглые мордашки, вздернутые носы, ямочки на щеках. Их папа — «враг народа»? Почему? Что это?

Мама на эти мои вопросы не отвечает.

Лишь много позже, когда обо всем этом уже можно было говорить без оглядки, не боязливым шепотом, а нормальным голосом, я узнала, что раньше Тулкины жили в нашей квартире. В 38-м отец Тулкин, работавший шофером в Смольном, был оклеветан одним из соседей, арестован и... сгинул. Вспоминая потом, уже взрослой, тетю Симу с ее круглым, добрым, улыбочивым лицом, с такими же милыми, как у ее девочек, ямочками, с ее таким уютным говорком, я

неизменно думала — это неправда, что горе обязательно ожесточает. Если можно выйти из него такой вот тетей Симой — то не обязательно.

«Я, юный пионер...» — звенит под сводами фойе кинотеатра «Художественный» голос старшей пионервожатой, у нее получается «юнный пионэр». «Я, юный пионер, — повторяют за ней полторы сотни девчоночьих голосов (тогда мальчики и девочки учились отдельно), — перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...» (Точно уже не помню, в чем мы клялись, кажется, быть верными делу Ленина—Сталина...) Под барабанную дробь нам повязывают красные галстуки, прикалывают пионерские значки. Мы — пионеры!..

В тот же день приняли в пионеры и моего соседа Юру Репина, проще — Репу. И вот, по-моему, на следующий день после этого события мы с ним устроили праздник. На кухне — полный сбор. Возле своего необъятного сундука сидит на корточках, зажав в зубах незажженную папиросу, Иван Павлович, наш квартуполномоченный, дебошир и горький пьяница, нещадно колотящий под горячую руку свою тихую, изможденную жену Наталью Ивановну. Тут же их дочь Тася. Татьяна Никитична, могучая женщина деревенской закваски, Юркина мать. Две сестры — тетя Катя и тетя Даша, Евдокия Михайловна и Иван Миронович, их племянница Женя и ее муж Вася, мрачного цыганистого вида парень. Обычная коммунальная кухня, не раз слышавшая скандальные голоса усталых женщин, пьяные крики мужчин и детский плач. Но сейчас — все стоят, опершись спиной о свои столы, скрестив на груди руки, с одинаково расслабленными лицами. Мы с Репой даем концерт. На нас — красные, еще ни разу не стиранные сатиновые галстуки.

Чаще всего меня возвращают в мир детства запахи. Боже, как пах в детстве керосин! Я с ума сходила по этому запаху. Я бегала в керосиновую лавку на углу Марата и Кузнечного и стояла там, вдыхая этот божественный аромат, пока не обращала на себя внимание продавщицы. После ее недоуменного: «Девочка, тебе чего?» я поворачивалась и молча уходила. А запах новых галош? Он мог сравниться только с запахом керосина. Как они пахли, блестящие черные галоши с мягкой бархатистой подкладкой непременно малинового цвета! У нас в квартире была большая общая кладовка, и все галоши, в те сезоны, когда в них не было необходимости, хранились там. Там же хранился и керосин — пока не поставили газовые плиты. Если бы можно было — я бы в этой кладовке жила. И только совсем недавно я нашла объяснение этим странным пристрастиям. Листая журнал «Здоровье», я наткнулась на статью под названием «Железодефицитная анемия», где было, среди прочего, сказано, что дефицит железа в организме (который испытывают, в силу определенных причин, женщины, и в том числе девочки-подростки) иногда порождает извращенное восприятие некоторых запахов, например керосина, красок и т.д. Вот так все просто объяснилось. Но где-то в глубине души мне жаль, что эти мои детские вожелания лишились покрова тайны.

А запах новой клеенки!..

Всего каких-то два часа назад был обед, потом — мучительный тихий час, час полной неподвижности и тишины, за этим следили строго. Но вот, наконец, горн трубит подъем, а еще через полчаса — заветное: «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обе-е-ед!» Мы мчимся в столовую, усаживаемся с шумом и грохотом на длинные скамейки, хватаем ложки и застываем, поедая глазами куски белого хлеба, горкой лежащие на тарелках. Пока не принесут молоко или компот, хлеб брать нельзя. Мы сидим с ложками в руках, вдыхая сладкий запах только что протертой клеенки.

Не могу вспомнить такого случая, чтобы кто-то что-то не доел, чтобы кто-то сказал: «Я это не буду! Я это не люблю!» Ого-го! Только давай!

Блаженная ненасытимость послевоенного детства, часы, отщелкивающие лагерное время: завтрак! обед! полдник! ужин! и — кусок черного хлеба, тайком вынесенный из столовой и тайком же от воспитателей поедаемый под одеялом на сон грядущий...

Одним летом меня исключили из лагеря за самовольный уход купаться (я тогда, к тому же, чуть не утонула, спасли меня ребята из первого отряда, чудом увидевшие, что я тону). О лагере на следующую смену говорить не приходилось, но все решилось по-иному, еще лучше. Как это удалось маме — не помню, но оказалась я на глухом железнодорожном разъезде, недалеко от станции Кямря (сейчас это, кажется, Горьковская), у какой-то железнодорожницы. Звали ее тетя Маруся. Она по большей части молчала, но не тяжело, по-доброму. Может, в войну всех потеряла, не знаю. Помню только ее худое грустное лицо, красную косынку, повязанную так, как носили в тридцатых годах, и изумительные ржаные коржики, которыми кормила она нас с неким Генкой, тоже чьим-то городским мальчишкой, отпавившимся сосновым воздухом и молоком.

От того месяца осталось в памяти ощущение какого-то веселого покоя, тишины, нарушаемой лишь изредка шумом проходящего поезда. И запах прокаленных солнцем дочерна пропитанных смолой шпал. Еще один незабываемый запах детства...

Подходило к концу лето, и начинались разговоры о дровах. «Тетя Катя и тетя Сима уже достали дрова, и Павловы уже с дровами, а мы, как всегда: на охоту ехать — собак кормить», — говорила мама.

И вот наступал день, когда привозили дрова. Как это устраивалось — не помню, но приезжал однажды грузовик, водитель открывал борт и ссыпал на землю наши два куба. Эти березовые или еловые чурки надо было поколоть и перетаскать к нам на третий этаж. На нашей лестнице в стенах были устроены ниши с дверцами, закрывавшимися на замок. У нас тоже была такая ниша, и вот туда надо было уложить дрова. И еще торфяные брикеты — одними дровами топить было слишком дорого.

Наша коммуналка некогда была, как тогда говорили, «буржуйской» квартирой, о чем свидетельствовали двери, соединявшие все ее комнаты анфиладой (а потом заклеенные обоями), роскошная лепнина на потолках, а в нашей комнате, во время оно бывшей, по всей вероятности, гостиной, — огромная, от пола до потолка, голландская печь-камин, облицованная голубым изразцом, имевшая мраморную полку и увенчанная толстыми лепными амурами. Но мама эту «голландку» страшно не любила, потому что она «жрала» уйму дров, а «толку было мало». И я помню, что до той поры, пока это считалось удобным или, может быть, дозволялось пожарными властями, у нас топились знаменитая «буржуйка», родившаяся в годы гражданской войны и вновь вошедшая в быт в блокадную пору.

Осень. Мне лет восемь-девять, но не более, судя по тому, что я взобралась с коленками на подоконник и, уткнув нос в стекло, твержу про себя: «Мама! Приходи поскорее. Ма-ма! Ма-ма! При-хо-ди!» Я верю, что, если буду говорить так настойчиво и долго — мама услышит и придет. Но ее нет. Она ушла к тете Насте, живущей в конце нашей Марата, и, видно, заговорила там. Тетя Настя — жена маминого брата Зота («Зотьки»), погибшего на войне. Голубоглазая, с добрым, каким-то стеснительным лицом и тихим ласковым голосом...

Мамы нет и нет. Я смотрю на улицу и играю в слова-перевертыши. Вот телефонная будка. Это «нофелет-тамотва». Вот пронеслась машина. Это «анишам». Проехал велосипед. Я должна успеть перевернуть это слово, пока он не проехал. Успела — «деписолев». И автобус успевает стать «суботвой».

Темнеет, но я не спешу зажечь нашу тусклую лампочку. Чем темнее становится, тем ярче вспыхивает как раз на уровне наших окон позолота огромной иконы, изображающей святого Владимира (?), в круглой шапке, отороченной мехом, со скипетром в руке, в тяжелых длинных,

до самых носков туфель, одеждах, с огромными темными глазами и короткой округлой бородкой.

Днем во Владимире нет или почти нет ничего загадочного, но в полной тьме — от него не отвести глаз. Изображен он на стене церкви, стоящей против наших окон, на другой стороне Стремянной улицы.

Церковь не действующая, и одну часть ее занимает какой-то склад, а другую, а именно огромный зал с высоченными сводами, — спортивное общество «Спартак». Я любила заходить туда и слушать гулкие удары волейбольного мяча, звенящий стук теннисной ракетки, отбивающей мяч, глухое соударение боксерских перчаток...

...Сейчас совершенно невозможно вспомнить, что я думала в те годы об этом храме, который был предо мной буквально (буквально!) каждый Божий день, просто невозможно было видеть с уровня нашего третьего этажа (хоть и высокого) ничего другого. Если посмотреть влево, становилась видна улица Марата, машины, по ней ехавшие, пешеходы, по ней шедшие, трамвай, заворачивавший со страшным скрежетом на нашу узенькую Стремянную, где у него было кольцо... Но если смотреть прямо перед собой, то взгляд неизменно упирался в огромную мозаичную икону на фасаде...

Внимательнейшим образом обследовав старинную (и очень плохого качества) фотографию, я смогла найти именно то место, где находилась икона, напротив которой у своего окна так часто стояла я в детстве, поджидая возвращения мамы...

Это теперь я знаю, что это был за храм, а когда жила напротив него – знать не знала... Когда же пришла в Церковь, на первых же шагах воцерковления стала искать сведения о «моем» храме... И, долго ли, коротко, выяснила, что это был храм ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ Общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Строился он с 1891 по 1894 год. На освящении церкви присутствовал отец Иоанн Кронштадтский. Я не буду входить в подробности истории этого храма, она изложена мною здесь: [Под сенью Святой Троицы...](#) Упомяну лишь несколько особенно важных для меня моментов.

Ища в Интернете нужные мне сведения, я забрела на один школьный сайт, где вместо термина «Октябрьская революция» было употреблено выражение «трагические события начала двадцатого века». Меня это очень порадовало. И вот, в связи с этими трагическими событиями, в 1933 году с колокольни храма Пресвятой Троицы «были сняты колокола, их передали в Петропавловский собор для курантов и в Госфонд. В 1934 году от «Ленфильма» поступило предложение о передаче ему храма с залом для размещения в них мастерской режиссёра Сергея Юткевича. В этой просьбе было отказано. В 1938 году церковь передали райпищеторгу, здесь планировалось разместить склад продуктов. Однако всего через два месяца хозяином здания стал районный совет физкультуры».

Храм, который, по праву рождения напротив него, был бы «моим», перестал существовать ровно в год моего появления на свет Божий...

...Есть какие-то вещи, которые высвечиваются для меня прямо в процессе писания этих воспоминаний. Одна из таких вещей – короткое упоминание в одном из источников: «К церкви примыкал зал для духовных бесед. Здесь многократно выступал будущий Петроградский митрополит Вениамин».

Некая Таня Ш., дорогой мне человек, довольно часто бывает в Покровском монастыре, что в Бюсси-ан-От (Франция), и всегда привозит оттуда какие-нибудь иконочки. И вот как-то раз она вручила мне небольшую икону священномученика Вениамина Петроградского, сказав при этом: «Они там (то есть, во Франции) очень удивляются тому, что у нас практически нигде не встретишь его образ, в том числе и в Петербурге...». Я почтительно взяла икону свщмч.

Вениамина и тут же нашла для нее на своем иконостасике место, как будто специально его дожидавшееся. И, когда по утрам поклоняюсь своим «домашним» святым, непременно обращаюсь и к нему, в ряду святых мучеников.

И вот, когда сейчас я перечитала упоминание о том, что в зале для духовных бесед многократно выступал будущий Петроградский митрополит Вениамин, появление у меня в доме его иконы вдруг приобрело совершенно новый смысл. Я, может быть, единственный уже читатель этого короткого сообщения, который так часто, абсолютно не понимая, зачем и почему, смотрел на это величественное здание напротив и примыкавший к нему тот самый «зал для духовных бесед».

...Мамы все нет, и я иду на кухню, к входной двери. Их у нас две, а между ними — маленький тамбур с тремя ступеньками и огромным крюком, на который запирается наша квартира на ночь. Я затаиваюсь в этом тамбуре и прислушиваюсь к звукам лестницы. Тихо. Ни звука. Вдруг открывается внутренняя дверь, так резко, что я вздрагиваю в испуге. «Люда, ты опять здесь!? Ты же простудишься! Ну-ка, марш домой!» Это злая тетка Дашка, она всегда гоняет меня отсюда. Вот тетя Катя, сестра ее, никогда ничего мне не говорит. Она добрая! И лишь многие годы спустя я поняла, что доброй была не толстая тетя Катя, работавшая в театральном буфете и, снисходительно посмеиваясь, протягивавшая мне иногда лакомый кусочек, а худая, с тонким нервным лицом и выщипанными в ниточку бровями, «тетка Дашка», щелкавшая в какой-то конторе на счетах...

Как я уже сказала, на ночь наша квартира запиралась на огромный несокрушимый крюк. И делалось это не просто из обывательской любви к порядку. «Черная кошка» из знаменитого сериала братьев Вайнеров была жестокой реальностью послевоенной жизни. «Случай» — этот жанр незнаком сегодняшней ребятне, а тогда — Боже, как колотилось сердце, когда перед сном в лагерной спальне кто-то рассказывал таинственным шепотом очередной «случай» и ты слушала этот шепот под шелест деревьев за темными окнами...

Сейчас нет ремесленных училищ. Сейчас есть ПТУ, которыми пугают, как букой, нерадивых учеников. Но, доведись послевоенным ремесленникам увидеть нынешние дворцы, построенные для «пэтэушников», их общежития квартирному типу, с холлами, душами и лифтами, они сказали бы: «Не, не может такого быть! Так не бывает».

Проходя мимо «ремеслухи» на углу Марата и Кузнечного, мы с опасливым любопытством косились на забранные густой решеткой окна первого этажа, где они жили. Голые лампочки, по-солдатски заправленные койки, тумбочки возле них. «Ремесло», притча во языцех — карманники, безбилетники, хулиганы. Такова была их репутация. Но никакого конкретного зла, причиненного кем-либо из ремесленников мне или моим товарищам, не запомнилось, а помнится совсем иное. Девочка в серой форменной юбке, ватнике и платочке, сбита машиной на Кузнечном и, вскрикнув, как заяц, упавшая замертво. Мальчишка-ремесленник, спрыгнувший с трамвая на полном ходу, по всей видимости, спасаясь от контролера, и, неловко упав тут же, возле колес, быстро-быстро отталкивающийся от деревянной решетки, которой они были забраны, ногами. И — юноша в ремесленной форме, лежащий на траве возле железнодорожного полотна с раскрытой черепной коробкой и чем-то желто-розовым в ней, напоминающим ягоду морошку...

Бедные мальчики и девочки, пасынки огромного чужого города, оторванные от себя с мясом разоренной войной деревней, которой нечего было положить в голодные детские рты! Бедные мальчики и девочки в серой сиротской форме...

...Маленькая фотография, запечатлевшая девочку с сильно косящими глазами, тощими косичками, в школьном платье, черном переднике с крылышками, пионерском сатиновом галстуке, скрутившемся трубочкой. Это я. Мне одиннадцать лет. Фото украшено нелепой

виньеткой, внизу — надпись: «Храни и помни!» Кто же должен был хранить его и помнить? Мои дворовые друзья — Валя Соболева и Света Ложкина. Света, толстощекая белобрысая девочка с мальчишескими повадками, уезжала в санаторий (откуда, по ее словам, должна была возвратиться мальчиком), и мы решили сфотографироваться на прощанье. «Если мы расстанемся, вспомни обо мне!» — значит на виньетке, обрамляющей наши лица. Судя по моему непарадному виду, решение это пришло внезапно. Больше со Светой я никогда не урывками, больше летом, когда школьные друзья разъезжались.

Вообще лет с десяти я оставалась членом дворового сообщества, так сказать, номинально. Все чаще и чаще призывы: «Люда, выходи!», доносившиеся со дна нашего колодца, оставались безответны. Если я была не в школе или школьном дворе, то, значит, у замечательной моей подружки — однокашки Тани Головенко (о ней — ниже), или же в библиотеке – школьной мне стало мало, и я записалась еще в две — в районную, в соседнем доме, и при 206-й школе, а с седьмого класса стала завсегдатаем детско-юношеского зала Публички на Фонтанке. Если же была дома — то непременно читала, а если не читала, то только потому, что еще надо было успеть навалить уроки. В мою жизнь вошла Книга.

...Врываюсь в дом, скидываю пальтишко, хватаю с подоконника латку с макаронами, не глядя накладываю в тарелку, раскрываю свой драный портфель, достаю трясущимися от нетерпения руками книгу... и так и остаюсь до темноты. Я отрываюсь от книги только для того, чтобы перевести свой затуманенный взгляд на белую майолику (?) дверок нашего старинного буфета, на которых – удивительное совпадение: а я читаю «Серебряные коньки»! – тонкими синими штрихами изображены солидные дамы и господа, плавно скользящие по льду, взявшись под руки, шныряющие у них под ногами мальчишки, кормилицы в чепцах и пышных юбках, тоже на коньках, толкающие перед собой коляски на деревянных полозьях. Это – Голландия. Страна коньков.

Не знаю, что было бы со мной, кем бы я выросла, писала ли бы сейчас все это – если бы судьба не послала мне доброго гения со вздыбленными, штопором, волосами, безуспешно скрепляемыми шпильками, с очками на кончике ястребиного носа, с глазами-щелочками за ними и с этим знаменитым «во-пех», что означало «во-первых». Какой гимн пропеть вам, Во-Пех?

Я не знаю, не помню, было ли тогда, в 40-х годах, понятие «свободный доступ к полкам», но, как бы то ни было, изо всего нашего класса этот самый доступ имела я одна. Иногда Во-Пех говорила: «Это хорошая книга, бери!» А в другой раз: «Эту не стоит. Не трать на нее время».

Низкий вам поклон, Роза Соломоновна! Легкого вам лежанья, милая Во-Пех... Вы определили всю мою жизнь, даже не подозревая об этом. Не поучая, не шпыняя, не тыча носом в мои несовершенства. Вы просто вложили мне в руки Книгу. Спасательный круг, спасительный поплавок...

Маугли, Гаврош, Козетта, Жан-Вальжан, гнусный Жабер, Гулливер, Монтигомо – Ястребиный коготь, Том Сойер, Гек Финн, индеец Джо, дядюшка Том, Робинзон Крузо, Оливер Твист... А Принц, он же нищий... А Ванька Жуков? Тёма? Каштанка? «Военная тайна»? «Судьба барабанщика»?

Не представляю себе детства безо всех вас. Как, какими словами передать чувства, обуревавшие мою детскую душу, когда она витала над этими бессмертными страницами, разрываясь от жалости, сочувствия, негодования? Как можно вырасти без этого катарсиса, без этих очистительных, возвышающих сопереживаний?..

... Маленькая черная «тарелка» (а потом – коробочка) волшебным образом раздвигала стены нашей комнаты, заполняя ее то пением Сергея Лемешева, то детским голосом знаменитой чтицы Марии Петровой, то грудными звуками виолончели, то свистками футбольных судей и криками болельщиков...

Мама – целыми днями или даже сутками на работе, сестра Эля – в своей фельдшерской школе, и я, начитавшись вдоволь, сделал (или не сделал) уроки, коротаю долгие зимние часы наедине с репродуктором...

«Сегодня мы транслируем запись оперы Верди «Риголетто». Прослушайте либретто».

Сейчас я уже, конечно, всё забыла, но тогда я знала наизусть все эти арии Каварадосси, Тоски, Риголетто, Ленского или посадницы Марфы и все их драматические перипетии, в изложении, конечно, авторов либретто.

А Чайковский, а Бетховен, а Бах, а Григ, а Сен-Санс!..

Но столь же часты были и концерты популярных мелодий по заявкам радиослушателей. И особенно часто (говорят, ее очень любил Сталин) «заказывали» трогательную песню «Сулико». Детству еще не свойственны сентиментальные слезы, но при словах: «Соловейко вдруг замолчал, / розу клювом тронул легко. / «Ты нашел, что ищешь, – он сказал, /– сладким сном здесь спит Сулико» – что-то такое и мне сжимало горло, когда я слушала эту песню, задумчиво раскачиваясь в кресле-качалке...

(Простить себе не могу, что при переезде в другое место по причине расселения моего «родового гнезда» – дома № 3 по улице Марата – мы ее выбросили... А ведь на ней папа укачивал сначала мою старшую сестру, свою «дочурку Элюню», а потом меня... Но меня – очень недолго: месяцев до девяти, потому что потом он практически не выходил из больницы, где 31 мая 38-го, то есть в 33 года, и умер...)

По утрам (а со второго по пятый класс я училась во вторую смену), после «На зарядку, на зарядку, на зарядку становись!» и «Пионерской зорьки» я с нетерпением ждала начала литературных передач. И вот, наконец: «Дорогие ребята! Приглашаем вас послушать продолжение сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»! И комнату заполнял непередаваемо добрый голос Николая Литвинова...

При жилконторе в доме на Литейном, где жила Таня Головенко, был красный уголок. Там по воскресеньям показывали кинофильмы. Совершенно бесплатно. Вот я сижу на полу, в первом «ряду», привалившись спиной к чьим-то теплым ногам, и затаив дыхание смотрю фильм «Секретарь райкома», во второй или даже третий раз уже. Не так давно этот фильм шел на экране телевидения, но смотреть его было очень трудно — так обнажены там пружины действия, так прямолинейны и однозначны слова, жесты и поступки. Что же так зачаровывало нас, послевоенных мальчиков и девочек, в этих лапидарных кадрах? Не знаю. После Антониони, Тарковского, Михалкова и т.д. — мне не ответить на этот вопрос. Наверное, все же именно эта лапидарность. Детство ведь тоже лапидарно... И потом — это было по свежим, еще дымящимся следам войны.

...Сблизились мы с Таней, кажется, в третьем классе — именно тогда началась моя активная «книжная» жизнь, а книги-то нас и свели. У нас была редко встречающаяся среди девочек этого возраста «интеллектуальная» дружба.

Я жила на углу Марата и Невского, Таня — на Литейном, ее путь в школу пролегал мимо моего дома. Она заходила за мной, и мы шли вместе, а после школы опять шли вместе, рассказывая

друг другу только что прочитанное, и нередко мы доходили так до ее дома, а потом Таня поворачивала обратно, проводить меня, и т.д. У нас были «многосерийные» рассказы. Неделю занимал Танин «сериал», «Золотой ключик», другую неделю она, раскрыв рот, слушала какие-нибудь «Серебряные коньки».

Кажется, тихо стучит швейная машинка. А, может, шелестят страницы книги, над которой склонила свою милую головку Танина мама. Помню ощущение какого-то дружелюбного и ненавязчивого присутствия взрослого.

На большом обеденном столе, стоящем посреди комнаты, горит настольная лампа, и в ее мягком свете, высунув язык, я делаю классную стенгазету. Шуршит по ватману мое ученическое перо № 86. Таня тихо сидит рядом и смотрит на то, что рождается из-под этого вдохновенного пера. И вдруг говорит: «Что это у тебя слова какие-то деревянные?» Я озадаченно смотрю на нее — а потом смеюсь. Мы с Таней никогда не обижаемся друг на друга. Не ссоримся, не дуемся. Деревянные? Исправлюсь.

Потом Таня идет меня провожать. Мне так не хочется уходить из этого теплого, милого дома...

Путь к Таниному дому лежал через Литейный. Дойдя до дома № 51, я входила в проходной двор (где потом обосновался «Театр на Литейном») и проходила его насквозь почти до Фонтанки. Танина парадная была напротив одноэтажного желтого здания, где находился экспедиционный отдел (кажется, так) Арктического института. Он тогда располагался в Шереметьевском дворце, нынешнем Фонтанном доме, а потом переехал на Смоленку; во взрослой жизни я бывала там часто, поскольку работала в Гидрометеиздате, выпускавшем, среди прочего, и полярную литературу. С волнением входила я в этот проходной двор: здесь прошла добрая половина моего школьного детства, притом не только в переносном смысле добрая...

...Ослепительный мартовский день. Мы у Тани во дворе. Скоро идти в школу (в этот год мы учимся во вторую смену), а так не хочется! Звенит капель, синеют на изломе огромные льдины, на которые дворники уже расчленили ломами смерзшуюся за зиму в лед снежную кору, скрывающую асфальт. Между льдинами уже бегут ручейки, подмывая и подтачивая их, и вот с одной льдины на другую мы с Таней прыгаем. Мы перепрыгиваем через трещины и разводья — наше ледяное поле разломало, и мы выбираем себе обломок понадежнее. Мы играем в папанинцев!

Мы играем в папанинцев, не подозревая о том, что над одним из них, блестящим молодым генералом от метеорологии, Евгением Константиновичем Федоровым, уже нависла грозная туча и уже совсем вскоре он сдаст свое личное оружие и снимут с него генеральские погоны... «В августе 1947 г. по ложному доносу Е. К. Федоров был снят с должности, разжалован в рядовые и предан суду чести за «антипатриотические и антигосударственные поступки». Суд чести объявил Е. К. Федорову выговор за разрешение передачи за границу некоторых научных трудов и сведений и за плохой контроль иностранного отдела службы. И генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, член-корреспондент АН СССР, делегат Всемирной конференции демократической молодежи, глава советской делегации на международной метеорологической конференции в Женеве, лауреат Сталинской премии становится рядовым и заведующим лабораторией атмосферного электричества Геофизического института» (http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2014/01_Smirnova_47_2014.pdf).

Пройдут годы, и меня сведет с ним, уже снова начальником Гидрометслужбы СССР, редакторская судьба...

Но пока я ничего этого не знаю и играю с Таней Головенко в папанинцев. Возле одноэтажного флигеля Арктического института, в котором снаряжались в то время и еще долго спустя

полярные экспедиции.

...В один такой же сияющий и звенящий апрельский день я прихожу к Тане, звать ее гулять. У Тани – заплаканные, грустные глаза, покрасневший от слез нос, раскисшие губы. «Мама умерла...» – тихо отвечает она на мой безмолвный вопрос. Я еще не знаю, что делают, что говорят в таких случаях, и потому, постояв минутку, так же тихо говорю: «Ну... тогда я пойду, хорошо?..» «Не надо, подожди, я с тобой!» – быстро говорит Таня, вытирает слезы, надевает пальтишко, и мы... идем гулять. В залитый солнцем двор. Так ей легче, и я это понимаю...

...Мама у Тани была удивительно красивая, с тонким, грустным и ласковым лицом. Она редко бывала дома – работала врачом, пропадала в больнице. Еще у Тани была тетя, тетя Шура, такая же грустная и ласковая. Но и ее не стало через год. Обе сестры умерли от туберкулеза... Детей, Таню и старшую ее сестру Катю, взяла на себя их тетя, тетя Паня. Девочки ее почему-то недолюбливали – быть может, потому, что своим простецким сдобным лицом, гребенкой в забранных узлом на затылке волосах и расплывчатой фигурой она невыгодно контрастировала с их мамой и тетей Шурой, которые были (чему наверняка в немалой степени способствовала их роковая болезнь) сама одухотворенность. Но эта сугубо земная «тетка Панька», как за глаза называли ее девочки, а за ними и я, безропотно несла на себе бремя всех забот по дому, и, как бы то ни было, обе ее питомицы получили высшее образование. Таня стала инженером, Катя – как мама и тетя Шура – врачом-педиатром.

Взрослой я Таню не видела – когда, в 75-м, собирался наш класс, я не могла там быть: о чем еще мог идти разговор между бывшими одноклассниками, встретившимися через 20 лет, как не о детях? А мне тогда не о чем было сказать: одна детская жизнь... кончилась, а другая еще не началась...

...Поход в Юкки. Вечереет. Мы возвращаемся в лагерь. Позади — купанье в озере, военная игра, обед на траве, перепеты все пионерские песни, отпел свое горн, опустил палочки барабанщик, и мы тихо идем вдоль ржаного поля с ясными глазками васильков то тут, то там. Только что умчался невесть откуда налетевший ливень, радуга в полнеба, в тапках чавкает теплая вода... Хорошо!

Выйдя к лесу, затеваем костер — обсушиться и перекусить, и ты, Валя Кабанов (мальчик, от которого я впервые в жизни услышала: «Давай дружить!», по тем временам это было очень много — почти как признание в любви...), говоришь: «А кто ел печеные колоски?» Оказывается, кроме тебя (а ты был из Белоострова), никто. И вот я сижу рядом с тобой и жую теплые, еще совсем мягкие ржаные зерна, старательно выплевывая колючие остья. Пахнет потрясающе вкусным ржаным дымком, поднимающимся прямо к огромной, сверкающей, какой она может быть только в детстве, радуге.

Одним темным и теплым сентябрьским вечером мы с Таней идем по моему Стремянному переулку, такому узкому и неинтересному, что взгляд, в поисках простора, невольно упирается в небо. Оно черное-пречерное, и где-то страшно высоко дрожит и мерцает голубая звезда, вырванная из контекста городскими стенами.

И кто-то из нас говорит: «А ты можешь представить себе вечность?..» — «Нет, не могу... Ведь вечность — это без конца и без начала. Как это?.. Ты тоже не понимаешь?» — «И я тоже... Когда я об этом думаю, у меня кружится голова. Мне становится страшно. А тебе?..» — «И мне тоже...»

Тепло, тихо, темно. Две четырнадцатилетние девочки, робко коснувшиеся самого краешка завесы, скрывающей то непостижимое, о чем лучше не думать человеку, замолкают в смятении.

1985

Озерки

Той осенью мы с Таней часто ездили в Озерки, к ее старшей сестре Кате. Там тогда была так называемая Лесная школа, где жили и учились туберкулезные дети. Как я уже говорила, маму и тетю девочек унесла эта болезнь, но Таню она счастливо миновала, а вот Катю – зацепила... (К счастью, только зацепила, всё обошлось в результате.)

Помню это большое деревянное здание, стоявшее над озером, помню чистые, уютные спальни и классы внутри него. Когда, много-много лет спустя, мы с маленьким тогда сыном поселились в Озерках и часто гуляли по-над озерами, я не раз пыталась отыскать этот дом. Но тщетно – никто о Лесной школе не помнил.

...Озерки!.. «Как много в этом звуке для сердца моего слилось, // как много в нем отозвалось!» С этим северным уголком Петербурга, потом – Ленинграда и опять Петербурга, так или иначе, косвенно или прямо (прямо, то есть как место жительства, – с 80-х годов прошлого века), связана вся моя жизнь...

Когда-то, в романтический ее период, Суздальские озера, особенно второе, с обрывистыми берегами, поросшими невысокими, какими-то «кудрявыми» соснами с обнаженными голенастыми корнями, неразрывно были связаны в моем представлении с блоковской «Незнакомкой».

*И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.*

Зачарованная этими образами, сразу поселившись в моей юной памяти (отбросившей такую непоэтическую деталь, как «среди канав...»), я и сама начинала «дышать туманами»...

Размышляя сейчас надо всем этим, я решила посмотреть, когда Блок написал свою «Незнакомку». Оказалось – 24 апреля 1906 года. Это так меня поразило, что не сразу удалось управиться с нахлынувшими ассоциациями, пересечениями и т.д. Дело в том, что ровно за 13 дней до того... родилась моя мама. Трудно представить себе более отдаленные миры, чем мир этой крохотной дочки столяра Алексея с Благодатной, где он жил со своей семьей, «сам восьмой», – и уже знаменитого, в свои 26 лет, поэта.

Но можно попробовать представить себе, что однажды – на мгновение, неведомо для того и другой, – их пути пересеклись...

Одним летом школьная учительница пригласила Лизу Петрову, мою маму, вместе с еще несколькими девочками из бедных семей к себе на дачу. Возможно, это было лето 1914 года (мама, должно быть, к этому времени закончила первый класс), и надо думать, что учительница водила девочек на озёра, на те самые озёра, где так любил бывать Блок. И однажды она, возможно, даже показала им «худого, рослого, красивого человека» (так писал о Блоке того времени Алексей Толстой).

Увы, это было последнее мирное лето. 19 июля 1914-го началась Первая мировая, а уже 18 августа Санкт-Петербург стал Петроградом...

Так что, скорее всего, лето 14-го и было тем единственным летом, когда были возможны мамины каникулярные Озерки...

Мое же знакомство с Озерками произошло, как я уже говорила, в блокаду: там был круглосуточный детский сад ОкЖД, где, поочередно с садиком на Ломанской, с осени 1941-го по 1944-й, я и жила... И вот сейчас я впервые попыталась представить себе, с какими чувствами исхудалая, изможденная мама приходила, а уж потом, когда снова пошли трамваи, приезжала сюда, в Озерки (скорее всего – так было ближе – прямо с Финляндского вокзала, куда приходил ее поезд с рейса по Дороге Жизни), чтобы забрать меня на короткую «побывку» на нашу Марата. Мы садились на «двадцатку», и мама, быть может, гладила меня по голове шершавой ладонью с вьевшейся угольной пылью, а, может, сразу засыпала... Вспоминались ли ей хоть раз в эти приезды картинки курортных Озерков начала века – нарядные дамы, мужчины в щегольских белых костюмах, с тросточками в руках, волнами доносившиеся откуда-то с дальнего берега звуки духового оркестра?... Боюсь, что нет.

Но и когда закончилась война, я еще долго не расставалась с Озерками. Я приохотилась к ним своих дворовых друзей, и, семи-восьмилетняя детвора, мы ездили тайком от взрослых через весь город на озёра. Зайцем. Иногда нас высаживали (до сих пор помню, как я вжимала голову в плечи, слышав шелканье замка кондукторской сумки...), и мы дожидались следующего трамвая.

В школьные годы, начиная класса с шестого, мы каждую зиму приезжали в Озерки сдавать нормы на значок «БГТО», что значит «Будь готов к труду и обороне», а потом уже, кажется, в девятом классе, – и «ГТО», то есть «Готов к труду и обороне». Приезжали на трамвае, все на той же «двадцатке», в байковых лыжных костюмах под пальто (брюки девочки тогда еще не носили, зимних курток, насколько помню, тоже еще не было). Лыжи брали напрокат, свои были далеко не у всех. Откатавшись, счастливой гурьбой вбегали в вагон и ехали обратно, на другое кольцо. Такой был маршрут тогда у «двадцатки»: Озерки – Стремянная / угол Поварского переулка. Большинство моих одноклассниц выходило остановкой раньше, меня же моя «двадцатка» довозила до самого дома: со скрежетом свернув с улицы Марата на Стремянную, останавливалась против моей подворотни, иногда же, если путь был занят, – против библиотеки, что была в следующем доме, № 20...

И лишь много-много лет спустя, когда я занималась историей храма, стоявшего напротив моего родного дома, № 22, увидела на стене над окнами библиотеки (увы, уже бывшей) надпись: «Троицкая школа и книжный склад Общества распространения религиозно-нравственного просвещения». Вот как это могло быть, казалось бы?... А очень просто: видела – и не видела, слышала – и не слышала. И увидела лишь когда, спустя целую жизнь, «открылись уши и очи сердца моего».

...А что ж Озерки? Много-много лет спустя я вернулась туда, но уже не для романтических прогулок, столь частых в моей студенческой юности, а для жизни. Но это уже совсем другая история...

Пятьдесят третий...

«...Маленькая черная "тарелка", – писала я про свое послевоенное детство, – волшебным раздвигала стены нашей комнаты, заполняя ее то пением Сергея Лемешева, то детским голосом знаменитой чтицы Марии Петровой, то грудными звуками виолончели, то свистками футбольных судей и криками болельщиков...». То, добавлю, непередаваемо добрым и теплым голосом Николая Литвинова, который наверняка еще помнят и многие «юные слушатели» более поздних поколений, чем мое.

Однако эти более поздние поколения уже не застали с утра до вечера рефреном звучавшие песни типа:

*Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!
Нам даны сверкающие крылья...*

Ну, и так далее. Все это воспринималось как некая данность, впитанная, можно сказать, с молоком матери, почти на генетическом уровне, и никто из «рядовых» советских людей, а уж тем более мы, дети, и помыслить не мог о том, что когда-нибудь может наступить какая-то другая реальность...

Я училась в восьмом классе, когда радио донесло первое известие о серьезных проблемах со здоровьем вождя (да, так его именовали), а потом целыми днями из черных тарелок неслась классическая музыка, прерываемая лишь «бюллетенями здоровья товарища Сталина» (это теперь мы знаем, как непросто всё было в те мартовские дни в Кунцево...). А потом наступил день, когда страна узнала, что Иосиф Виссарионович Сталин скончался. И вся наша школа, когда нас созвали в актовЫй зал и директор Зинаида Степановна сообщила печальную весть, плакала. Взрослые – о том, ЧТО дальше? КАК будет дальше? КТО будет дальше? Ну, а мы... Я училась тогда в восьмом классе, уже в «старшей школе», нас уже называли на «вы», но, хотя были вещи, которые даже у нас, школьников, мягко говоря, вызывали вопросы, и лицо вождя рождало во мне (и рождает до сих пор) какой-то мистический ужас, – ничего, никого другого мы просто не представляли: мы родились и жили со Сталиным, и вот теперь его больше нет. И мы плакали вместе со всеми.

Поэтому сейчас мне крайне интересно было встретить упоминание о событиях тех дней на страницах книги митрополита [Вениамина \(Федченкова\)](#) «Записки епископа» (стр. 433). То есть не официальную позицию Церкви того времени, а что-то, записанное одним из ее иерархов лично для себя:

«И.В. Сталин

Ныне в половине девятого часов утра по радио передали, что у И.В. Сталина было кровоизлияние в мозг. Правая сторона тела поражена. Давление крови от 320 до 120. От дел отошел. Заменит его «правительство»; а лица особого не указано.

Великая утрата!

Ныне служил молебен о здравии его (в Соборе).

Да будет воля Божия!

Какое провиденциальное значение этого факта? Да еще при обострении агрессии Америки?

Не знаю.

15 марта я получил письма по поводу смерти и погребения И.В. Сталина^[1]. Выпишу:

а) Одна старушка-артистка пишет: «Большая потеря для тех, кто правильно мыслят», что «ушел от нас на вечность наш дорогой, первый вождь». «А других и касаться не надо».

б) Священник пишет:

«Приношу свое соболезнование нашей общей скорби в утрате великого нашего вождя и друга свободолюбивых братских народов, Иосифа Виссарионовича Сталина! Да помянет его Господь во Царствии небесном Своим Человеколюбием! Вечная от нас ему память».

10 марта 1953 г.

в) Одна постоянная богомолка пишет:

«Дорогой наш Владыко! Я грешила. И вот в пятницу я пришла в храм на вечернее богослужение. Когда я увидела, что Церковь молится за упокой его души, я почувствовала себя виноватой пред Богом, пред Церковью, пред Вами. Я забыла, что Господь-то ведь учит нас

любить и молиться даже за врагов; да и Вы, ведь, нас об этом учили. Простите меня, Владыко. Я тогда тоже помолилась со всеми за упокой души новопреставленного; потому что я верю в то, что «Церковь делает, то это, значит, так и надо».

з) Из Москвы пишут:

«Мы все переживали скорбные дни: смерть мудрого, доброго нашего Сталина Иосифа Виссарионовича потрясла всех нас. Все мы, вместе с А-ой, плакали горькими слезами, слушая эти скорбные сообщения.

Внук Сережа рассказал нам, что, когда ученики пришли в школу, то их всех пригласили в зал; там директор сообщил им, что скончался И.В. Сталин: он так любил детей! Он так много заботился о детях; теперь его не стало.

Все были потрясены этим горем. И все плакали в школе.

Плакал и я, слушая по радио в своей хате, как хоронили нашего мудрого Сталина; как народ провожал своего отца и учителя.

Все, от мала до велика, до старых людей, все горюют в эти траурные дни.

11 марта».

Это всё, что митрополит Вениамин счел нужным записать. Далее он переходит к рассказу об убийстве семьи одного священника, «под корень», убийстве уголовном, без политической подоплеки, и больше к теме Сталина не возвращается...

После войны маму перевели с Ладожского направления на Выборгское, и она иногда брала меня с собой в Выборг. Ездила я нелегально, в «собачнике», как в шутку именовали проводники поперечную нишу над дверью купе, куда обычно укладывали матрацы и пр. Тогда в Выборг ходил паровик, и это было целое путешествие. От этих поездок мало что осталось в памяти, кроме вокзальной площади в развалинах и неповторимого кисловатого вкуса ноздреватого выборгского хлеба....

Но с какого-то времени мама как железнодорожница получила льготу на «иждивенцев», то есть, раз в год она могла взять на меня (старшая сестра Эля уже работала) бесплатный билет на поезд дальнего следования.

И вот летом того же, 53-го, года я в первый раз отправилась в дальнее путешествие. В Молдавию! Днестр, красивейшая река, живописные гуцулы с правого берега, пирамидальные тополя, аккуратные мазанки, бархатное ночное небо, усеянное незнакомыми жителям северных широт яркими звездами, цикады, мед в «глечиках», молодые грецкие орехи, еще что-то, уж не помню. Местечко Каменка, где мы прожили недели, наверное, три, сегодня в Интернете зовется «Жемчужиной Приднестровья»...

Когда именно всё это было, я бы, конечно, не запомнила – если бы не некая «деталь», не запомнить которую было невозможно: по дороге в Молдавию на каждом полустанке висели портреты Берии, когда же ехали обратно – все они были сняты. В Интернете, как известно, можно найти всё, и я нашла там сейчас подробный рассказ о «деле Берии», об аресте, произошедшем после заседания президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года, о смещении его с постов заместителя Председателя Совета Министров СССР и министра внутренних дел СССР, о следствии и, в декабре того же года, – расстреле. (Кто хочет, может прочесть обо всем этом здесь – <http://www.famhist.ru/famhist/karpach/000699b0.htm>. Мне, правда, стало там так, мягко говоря, неуютно, что я поспешила оттуда уйти...)

Я оставляю за скобками такие темы, как «бериевская амнистия», когда на свободу было выпущено более миллиона уголовников, и то самое, печально знаменитое «холодное лето пятьдесят третьего», о котором потом был создан фильм. Как ГУЛАГ... Что-то, конечно,

доносилось до нашего отроческого сознания, но более или менее полное представление о той эпохе могло сформироваться лишь много-много позднее...

Придя в тот год после летних каникул в школу, уже в девятый класс, мы обнаружили в расписании три совершенно новых предмета: логику, психологию и стенографию! Я вспомнила об этом только недавно, когда начала обдумывать свои заметки. Зашла в Интернет, чтобы выяснить для себя историю этого прогрессивного, как я его расценила поначалу, нововведения. И оказалось, что *еще в 1946 году* ЦК ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и психологии в средней школе» (от 3 декабря) «признал совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается логика и психология, и счел необходимым ввести в течение 4 лет, начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах Советского Союза». Одним из аргументов было то, что практически все выпускники школ шли тогда в вузы, что всячески поддерживалось: надо ли объяснять, какой урон нанесла война квалифицированным кадрам...

В соответствии с этим постановлением в 1947–1949 годах преподавание психологии было введено в 598 средних школах... Тогда же, в 1947 году, был выпущен учебник Б.М. Теплова «Психология», предназначенный для старших классов средней школы, в 1953-м переиздан, а в 1954-м вышел учебник «Логика» С.Н. Виноградова и А.Ф. Кузьмина. В 1956 году появился еще один учебник для школьников, подготовленный Г.А. Фортунатовым и А.В. Петровским. «Логика хороша и по сей день, – пишет сегодня один из рецензентов. – Психология описывает уровень того времени, с тех пор наука ушла далеко вперед». И... неожиданный вывод, прописными буквами: «ВОТ ЧЕМУ НАДО УЧИТЬ: ЛОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, ВМЕСТО ДИКОСТИ “ЗАКОНА БОЖИЯ”»...

Хрущев, пришедший к власти как раз в сентябре 1953-го, вскоре отменил эти предметы, но, к счастью, я еще успела ухватить их «за хвост»: в девятом и десятом классах. Чему очень в дальнейшей своей жизни была рада – и когда «грызла гранит наук» в Университете, и когда, много-много потом, постигала «дикости Закона Божия». Предметы эти закладывали основы системного мышления, а оно оказывает себя везде – и в видимом, и в невидимом... Так мне кажется, во всяком случае.

Как я сказала, одновременно с логикой и психологией нам стали давать стенографию. Естественно, мне интересно было выяснить мотивы введения в тогдашнюю школьную программу и этого предмета. И вот что выяснилось (см.: <http://shorthand.ru/index.htm>): «Сейчас, когда наша страна уделяет огромное внимание научной организации труда (НОТ), значение стенографии как фактора, позволяющего экономить время и труд при выполнении любой письменной работы, еще более увеличивается. Учащиеся школ, изучающие стенографию, уже в процессе обучения смогут использовать ее для конспектирования уроков, а в дальнейшем, обучаясь в техникуме или вузе, — при записи лекций. Она окажет им также неоценимые услуги в любой работе, связанной с умственным трудом». У меня стенография шла хорошо, и она действительно оказала мне неоценимую услугу в Университете, при записи лекций. Правда, пользоваться этими конспектами могла только я: все они были пересыпаны стенографическими значками, обозначавшими наиболее употребительные части речи, слова и термины. (По всей видимости, в «глубинке», откуда приехали учиться многие мои сокурсники, стенография введена не была.) Сейчас, увы, я помню только значки для слов «который» и «чтобы».

Оттепель

Куда и почему деваются книги?.. Я хорошо помню выпуск «роман-газеты» (так называлась дешевая серия книг, печатавшихся на газетной бумаге и сшитых, как школьная тетрадка, только

в несколько раз большего формата), на обложке которого значилось: «Оттепель». Год издания – 1954-й. Я не запомнила из него ничего, кроме имени одного из главных героев – художника Пухова. Книга эта у нас была, да невесть куда сплыла, как и практически всё из того времени... Я зашла в Интернет.

«Мария Ильинишна волновалась, очки сползали на кончик носа, а седые кудряшки подпрыгивали.

– Слово предоставляется товарищу Брайнину. Подготовиться товарищу Коротееву. Дмитрий Сергеевич Коротеев чуть приподнял узкие темные брови – так всегда бывало, когда он удивлялся; между тем он знал, что ему придется выступить на читательской конференции – его давно об этом попросила библиотечка Мария Ильинишна, и он согласился. На заводе все относились к Коротееву с уважением. Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Коротеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал».

«Ну, и так далее...» – сказала я себе и хотела уже уйти, но решила почитать еще немного: не мог же Эренбург, написавший вот эти, например, строки:

*Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пене, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа,*

– навалить просто «производственный роман». И не ошиблась:

«Перед вами – знаменитый роман Ильи Эренбурга "Оттепель", роман, давший название целому периоду советской истории после смерти Сталина»...

«Это и оттепель всего "личного", которое так долго принято было таить от людей, не выпускать за дверь своего дома... Весна. Оттепель. Она чувствуется повсюду, ее ощущают все: и те, кто не верил в нее, и те, кто ее ждал»...

Так пишут о нем сейчас в Интернете...

Нынешний читатель, закрыв последнюю страницу, недоуменно пожал плечами: «Из чего шум?.. Всё, как в жизни, ничего особенного», оценка – 2,5 из 5. Но это нынешний. А читателю 1954 года ничего объяснять не надо было. И это неважно, что я ничего, кроме фамилии «Пухов», из этого романа не запомнила. В том-то и дело – что в романе этом всё было, «как в жизни». А не как должно, как *предписано* быть. Уже в одном этом была «оттепель».

Как ярко выразился Лев Лурье, один из участников воспоминаний о нашествии в то время студенческой постановке «Весна в ЛЭТИ» (<http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/501209/>): «Что значит в мартовскую стужу, когда отчаянье берет, Все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, вошли в такие холода, Что даже не было печали, а только гордость и беда» – это стихотворение Ильи Эренбурга середины 50-х годов. Вообще, метафора перехода от сталинской зимы к хрущевской весне, или оттепели, принадлежит именно Эренбургу. Он в это время написал, напечатал роман под названием «Оттепель». «Весна в ЛЭТИ» – это часть этого процесса. Это начало бурной, замечательной весны 50-х годов, которая сменила суровую сталинскую зиму».

Воспоминания эти полны деталей, выходящих за пределы мировосприятия и знаний школьницы о времени, в котором она жила... На самом нижнем и потому понятном и близком

подростку-школьнице уровне «оттепель» эта персонифицировалась в том, что сейчас называют словом «субкультура».

«Молодежная субкультура "стиляги" существовала с конца 40-х по начало 60-х годов и была ориентирована на образ жизни США. Достаточно жесткие советские эталоны противопоставлялись продвинутой Америке, такой свободолобивой и манящей. Сейчас прогуляться по Ленинграду 50-х можно с помощью [специальных экскурсий](#). Стоимость экскурсии 1 тыс. 600 руб.

Поездка включает в себя 3-часовую экскурсию-поездку с экскурсоводом на ретро автобусе, профессиональную фотосессию и дегустацию "Советского шампанского". Чтобы почувствовать себя одним из "тех" ленинградцев, на время этой экскурсии, гости должны были перевоплотиться в стиляг 50-х годов. Всем пассажирам раздают счастливые билетки».

Такой рассказ я встретила в Интернете, куда зашла поискать упоминание о «Броде». Да, я нашла в Сети «Брод» (как нетрудно догадаться, от слова «Бродвей»). Но «Бродом» там назывался вообще весь Невский, а я как «абориген» изначального, пра-«Брода» очень хорошо помню, что это был коротенький участок Невского от Литейного до булочной на углу Невского и Восстания, той самой, куда уже после войны мама посылала меня «отоваривать» хлебные карточки. Вечерами туда стекалась молодежь и фланировала от одного угла до другого, приветствуя друг друга, останавливаясь группками, обмениваясь новостями. Как сказали бы сейчас – «тусовалась». Юноши, те самые «стиляги», были в знаменитых «лондонках» – больших мягких кепках из серого твида с большим же козырьком, в брюках-«дудочках» и ботинках на толстой подошве, то есть, по-нынешнему, «на платформе». Но это в холодное время года. А когда было потеплее – щеголяли *коками!*

(Оказывается, и сейчас в парикмахерских заказывают стрижку с укладкой, чтобы было, «как у Элвиса Пресли». На самом же деле тогдашние коки пошли не от Пресли, он просто воспринял современную ему моду и, став «звездой», возвел ее в культ. А в те годы Элвис еще учился в школе и никто о нем еще и знать не знал.)

И я тоже по «Броду», шныряла, как же без меня, мне только дорогу перейти! «С тлетворным влиянием Запада» школа пыталась бороться: по вечерам на «Брод» высылались комсомольские «патрули» и отправляли таких, как я, «бродяг» по домам. Я думаю, «патрульным» и самим было интересно там прогуливаться.

Мода просочилась и в наш «монастырь»: на смену хлопчатобумажным чулкам начали приходиться капроновые. Эта мода школьным начальством не приветствовалась: я очень хорошо помню, как однажды мы выходили на перемену и наша литератор, Полина Георгиевна, стоя у своего учительского стола, смотрела, кто в какие чулки одет, и хвалила тех, кто был в нитяных: «Молодец!.. Молодец!..» Помню, как я досадовала, что на мне были именно нитяные чулки (капроновые были не по карману) и П.Г. похвалила и меня...

Да, с первого по десятый класс мы учились «в монастыре»: с 1943 года в школах было введено отдельное обучение мальчиков и девочек. Приведу основные резоны этого нововведения, изложенные в докладной записке «О введении отдельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах Союза ССР Отделом школ ЦК ВКП(б) и Народным комиссариатом просвещения РСФСР». По мнению авторов записки, основная задача совместного обучения, введенного в мае 1918 г., – ликвидировать дискриминацию женщин – за 25 лет советской власти была выполнена. Одним из аргументов в пользу введения отдельного обучения в 1943 г. стало утверждение о том, что природа детей в зависимости от половой принадлежности различна, поэтому девочек необходимо в школах готовить к будущей практической деятельности иначе, чем мальчиков, учитывая особенности их физиологии. Кроме того, говорилось о необходимости укрепления дисциплины в школах и устранения "не

всегда здоровых взаимоотношений, создающихся между мальчиками и девочками при совместном обучении" [3]. Здесь имелись в виду психологические особенности поведения разнополых детей и подростков, находившихся в рамках единых коллективов».

Лично я не нахожу контраргументов, не даром эта дискуссия – вместе или отдельно? – до сих пор продолжается.

В 1954-м школы опять слили, и для этого тоже нашлись непобиваемые аргументы. Слава Богу, у «лиц, принимающих решения», хватило ума не трогать выпускные, десятые, классы. Однако совершенно изолировать мальчиков от девочек никто не собирался, речь шла лишь о «чистоте учебного процесса», и, например, в Ленинграде была в ходу такая инициатива, как дружба мужских и женских школ. Наша, скажем, 212-я школа класса с девятого дружила с 222-й. Дружба эта выражалась в проведении совместных вечеров, спектаклей, «концертов художественной самодеятельности». К ним загодя готовились, их с нетерпением ждали.

Кики-Вики и другие

И тут самое время помянуть добрым словом нашего Кики-Вики.

Моя 212-я находилась на Лиговском пр., 46, рядом со знаменитым Перцовым домом, № 44, в котором училась добрая половина нашего класса, если не больше. Ну, как было не залезть сейчас в Интернет, чтобы посмотреть, что это был за дом? А это был «доходный дом, памятник архитектуры, историческое здание в стиле модерн, возведённое в Санкт-Петербурге в 1910–1912 годах». Там располагались номера гостиницы «Селект», которые в советское время были отданы под жильё и преобразованы в так называемые комнаты-квартиры, двери которых выходили в бесконечные коридоры. В конце таких коридоров находились общие кухни... Я часто бывала в Перцовом доме, то у одной, то у другой из наших девочек...

Но не об этом доме речь. А об одном небольшом открытии, которое я сделала для себя, когда решила посмотреть, что это была за школа – Мужская школа № 222, и почему для дружбы была избрана именно она? Совсем-совсем не близко расположенная к нашей?

И обнаружила, что школа эта имеет трехсотлетнюю историю, при основании получила имя «Петришуле». «1709, 27 июля – первое упоминание о Петришуле в письме Корнелиуса Крюйса к Петру I. Корнелиус Крюйс – голландец, сподвижник Петра I, вице-адмирал, один из основателей Российской империи, Санкт-Петербурга, немецкой общины в Петербурге и создатель Петришуле». Но чтобы в советское время приоритеты определяло именно это сомнительное имя «Петришуле»?..

Я стала копать дальше – и среди преподавателей «Петришуле» встретила... нашего Кики-Вики! Вот оно что!

«К.В. Архангельский родился 11 апреля 1903 под Вологдой, в семье священнослужителя. Закончил Педагогический институт им. Герцена. До Великой Отечественной войны преподавал химию в бывшей Петришуле.

После начала Великой Отечественной войны К.В. Архангельский оставался в школе, а в 1943 году был по "Дороге жизни" эвакуирован на Урал, к семье. Затем воевал на Ленинградском фронте.

После войны К.В. Архангельский вместе с семьёй вернулся в Ленинград, некоторое время работал в школе № 212, затем преподавал в Химико-технологическом техникуме.

Кирилл Викторович Архангельский скончался 20 октября 1970 года в Ленинграде».

...Из моих «мемуаров» 1985 года:

«"Ну, от... Богомолова пойдёт!.." Кики-Вики не обойдет вниманием ни одно "о". У него к ним

особое пристрастие. Может, "потому, что он с севера, что ли?" Он ведь Кирилл Викторович *Архангельский*. Он воплощение доброты, наш Кики-Вики, со своими линияло-голубыми глазами и густым приятным голосом.

"Рот-то откройте, а то оглушить может... Сейчас взрыв будет!.." – стеснительно говорит наш химик. (Он нам с самого начала объяснил, для чего надо открывать рот при взрыве – чтобы не пострадали барабанные перепонки.) Мы радостно распяливаем рты и, по миновании взрыва, дурашливо их захлопываем.

Я у Кики-Вики не блистала. Особенно же не блистала, когда началась органическая химия, а там без математики никуда, недаром же ее нарекли царицей наук... Но я не помню, чтобы Кирилл Викторович хоть раз сказал что-то резкое, обидное. Не знаю, не помню, мнусь – тихо вздохнет и отпустит с миром. Наверное, зная о благоволении ко мне гуманитариев, не хотел портить мне жизнь».

А вот – приписка, сделанная «на подступах» к этой книге:

«Когда я вспоминаю Кирилла Викторовича Архангельского сейчас, мне абсолютно ясно, что был он священником. Об этом говорит не только его фамилия, но и кроткий и добрый нрав, и красивый, "распетый" голос... В те времена многим священникам пришлось "переквалифицироваться" в школьные учителя. И учить не только химии или физике, но и добру, никогда не произнося этого слова вслух...»

Я почти угадала тогда! Не священнослужитель сам, но «из семьи священнослужителей»! Несмываемая печать чего лежала на всем его облике.

Получила объяснение и дружба таких удаленных и несхожих школ, как 222-я, даже тогда элитарная, хотя бы по своему расположению на Невском, и нашей вполне пролетарской 212-й! Вот кто «свел» эти школы! Наш Кики-Вики...

И всё это вывела «на свет Божий» коротенькая справка из архива «Петришуле». Кто бы мог подумать!..

...Прочла недавно в одной книге, что на 30-м меридиане с равным промежутком находятся Мемфис, Александрия, Константинополь, Киев и Санкт-Петербург (!), – и, конечно же, вспомнила нашу учительницу географии, Лидию Ивановну Валуцкую. Это именно она сказала нам о том, что наш город находится на пересечении 30-го градуса в.д. и 60-го градуса с.ш., прибавив при этом, что пересекаются они где-то возле Дома Книги. И, хотя сейчас я сомневаюсь, что эту воображаемую точку можно установить с такой точностью, запомнилось это на всю жизнь. (Правда, точности ради, проверила сейчас координаты Петербурга, и оказалось, что Лидия Ивановна только чуть-чуть их «округлила»: на самом деле – 59°57'00" с. ш. 30°19'00" в. д.)

Запомнился и подсказанный ею простой способ определить, в какой фазе находится луна – растущей или убывающей: если к серпику месяца можно пририсовать палочку, так что получится буква «р», – значит, растёт, если же он повернут в другую сторону, так что имеет форму буквы «с», – значит, сокращается.

Ничем не примечательная – маленькая, кругленькая, с круглым невыразительным лицом, с вечной шестимесячной завивкой, а вот предмет свой она сумела дать так, что и до сих пор не выветрился из головы.

И еще одно хранит о нашей географичке благодарная память. Каждый год, начиная с пятого класса, в конце мая, выбрав погожий солнечный денек, Лидия Ивановна вывозила нас в Саблино, на знаменитые Саблинские обнажения, наглядно демонстрирующие всю историю верхнего слоя Земли. Там были настоящие пещеры, и в те годы, когда нашим воображением владели приключения Тома Сойера и Гека Финна, в Саблино влекли именно они. Позднее, когда в наших юных душах стали бродить первые весенние соки, мы ездили туда ради купавок

– тонкого аромата цветов с золотистыми круглыми головками – и черемухова цвета. Ради первого загара, первого ласкового солнца...

Спустя годы Саблинские пещеры напомнили о себе вновь: трое моих сотоварищей по Гидрометеоздату – Тамилла Недошивина, Галя Русакова, Лида Жданова – закончившие географический факультет ЛГУ, любили вспоминать летние геологические практики в Саблино...

...А «Папа Дима», Дмитрий Степанович Трунов, наш историк? Прямая линия невысокого белого лба, подчеркнутая аккуратным боковым зачесом коротко стриженных, с проседью, волос, спокойные серые глаза под прямыми черными бровями, щеточка усов под четкой линией носа, спокойный, негромкий голос. Орденские планки на груди – память о совсем недавно отгремевшей Войне...

Вот идет подготовка к весеннему экзамену.

– Кто помнит, когда и кем была принята Хартия вольности? – спрашивает Папа Дима.

Когда я чего-то не знаю – стараюсь быть понезаметнее, наклоняюсь к парте. Но тут я сижу прямо и спокойно. Это мой звездный час. Потому что я – знаю. «Ну, спроси, спроси!» – безмолвно звучит во мне.

– Люда, и ты не знаешь?

У меня хорошая память на даты. И я смело отчеканиваю:

– В 1215 году, Иоанном Безземельным.

Не хвастовства ради. Не так уж часто выпадала мне слава☺, а когда выпадала – помнилась долго и благодарно.

...А Валентина Исааковна Хайнман, математик, заслуживающая отдельной, можно сказать, «педагогической поэмы»? Высокие скулы, узкие щелочки глаз за строгими стеклами очков. Негромкий голос. Абсолютная, ничем не тревожимая тишина на ее уроках.

Валентина Исааковна, впрочем, умеет разрядить обстановку, легонько дотронувшись до клемм, регулирующих напряжение: «Ну что ж, мы послушали оперу "Пи", а теперь давайте станцуем балет "Неравенство"». Этой маленькой интермедии достаточно, чтобы разрядить напряжение...

Я всегда буду ей благодарна за то, что она сказала мне вскоре после того, как пришла к нам в восьмом классе: «Девочка моя, кто же это вас так запустил? У вас же светлая головка!»

Половина вины была на мне самой, запойной чтице, но другая половина – на учительнице математики в младших классах, особе взбалмошной и нервной, которой я панически боялась. И не одна я. Мы ее не любили. А следующая математичка, особо не задумываясь, приняла от нее по эстафете ярлык троечницы.

И вдруг услышать, что у тебя «светлая головка»!.. Я потом у Валентины Исааковны так старалась, так дорожила редкими четверками, но было уже поздно, с бою математику не возьмешь...

...Но особое место принадлежит в моей памяти Ревекке Григорьевне Кацнельсон. (Интернет упорно убирает в этом имени второе «к», но я его так же упорно восстанавливаю, потому что все звали ее именно Ревекка!) Она вела у нас литературу и русский язык в пятом-седьмом

классах.

Однажды кто-то из учителей отобрал у меня книгу, которую я читала в щелочку парты, и я сказала что-то дерзкое. Созвали педсовет, вызвали маму, сказали, что будут решать вопрос о моем исключении из школы. И вот, в ожидании решения своей участи, я стояла в школьном коридоре, уставясь в окно, и вдруг кто-то тронул меня сзади за плечо. Это была Ревекка Григорьевна, на минутку вышедшая из учительской, чтобы сказать мне, очень серьезно: «Люся, тебе надо поступать в Университет. Только в Университет. Ты слышишь?» Так что всё было решено за меня еще в седьмом классе...

В восьмом классе у нас появилась другая словесница, но с Ревеккой Григорьевной мы тесно соприкасались и дальше, уже в другой ее «ипостаси» – старшей пионервожатой. (Каково же было мое удивление, когда, зайдя в Интернет, чтобы понять, *что* в те годы под этим званием подразумевалось, я обнаружила, что такая должность существует и сегодня: пионеров – ну, это, конечно, насколько *мне* известно, – нет, а пионервожатые есть!)

Не помню ее в состоянии покоя, не вижу ее иначе, чем несущейся куда-то крупным, размашистым и вместе удивительно женственным шагом. И не вспоминаю ее иначе, чем улыбающейся – сияюще, ослепительно, заразительно. Я в те годы пропадала в школе целыми днями – вечно готовились какие-то сборы, делались стенгазеты, потом – радиогазеты. Ревекка Григорьевна часто брала меня в свои «походы» – то в ДПШ (Дом пионеров и школьников), то во Дворец Пионеров (находившийся в здании Аничкова дворца), то в 206-ю школу, где, уже после слияния школ (до того она была мужской), училась ее дочка. Ее звали – Вика, и именно в ее честь я потом назвала свою дочку.

Ревекка – у меня в синодике. Правда, в самом конце – в столбике имен «непросвещенных знаемых моих по жизни их земной»...

Лавра...

И вот – выпускной вечер, устроенный в Доме Работников искусств на Невском. А после выпускного вечера, по традиции, которая жива в нашем городе и до сих пор, для нас была устроена речная прогулка. На одном теплоходе с мальчиками из 207-й школы, что была во дворе за моим «придворным» кинотеатром «Колизей», через Невский. Но про этих мальчиков я ничего не помню, а вот встреча, случившаяся той белой ночью на Тучковом мосту, мне запомнилась...

Почему я оказалась на этом мосту одна, куда делись мои одноклассницы – этого я не помню, помню только, как стою на мосту, а рядом со мной – какой-то славный юноша в светлой рубашке, и мы вместе смотрим вниз, на катящую свои воды Малую Неву. Не помню о нем ничего, кроме одного – что он учился в Техникуме трудовых резервов, расположенном в Лавре. «Не знаешь, что это за Лавра? – сказал мой спутник. – Давай вечером встретимся, и я тебе покажу».

И мы встретились. Я ничего не помню о своем первом посещении Александро-Невской лавры назавтра после выпускной ночи, никаких зрительных образов память не сохранила. Зато помню толпы оживленных, радостных людей, стекавшихся однажды вечером к стенам Свято-Троицкого собора, что в Лавре. Среди них была и я, вместе со старшей сестрой Элей. Много лет спустя, уже в бытность мою в Церкви, до меня дошли из того времени слова нашего с ней двоюродного брата, Юры: «Эллка-то совсем с ума сошла! Крестилась!» Но тогда я об этом ее «сумасшествии» ничего не знала и была с ней просто «за компанию»... (К слову: это «сумасшествие» не миновало и его. Только под старость лет уже...)

Размышляя сейчас, что это мог быть за вечер, я зашла, как всегда, в Интернет и просто набрала: «Алекса́ндро-Невская Лавра, 1955», в надежде, что, увидев там фотографии, что-то вспомню. И Сеть услужливо выдала мне статью «Борьба митрополита Григория за возвращение Церкви храмов Алекса́ндро-Невской Лавры в 1945-1955 гг.» (Одна моя добрая знакомая, которой я дала прочесть свои заметки, сказала, что всё очень интересно, только слишком много исторических вставок, это отвлекает. Ну, если и отвлечет от моей персоны, то невелика беда, а если не давать такие вот «вставки», то просто невозможно будет представить, в какое время мы жили...)

Статья эта, в числе прочих исторических материалов, готовилась к 300-летнему юбилею Лавры, торжественно праздновавшемуся недавно. Прочтите ее... Погрузитесь в драматические перипетии означенной в заголовке статьи Борьбы...

Вот один только ее штрих: «В то же время на весь комплекс зданий Лавры претендовали Музей истории Ленинграда и *Центральный исторический архив НКВД (1944)*» (курсив мой. – Л.Н.)

...И вот, читая статью, я дошла до того, что искала. Не могу не привести один фрагмент:

«Развернувшийся к 1955 году процесс либерализации благоприятно сказался на положении Церкви. В 1955-1956 гг. в стране было разрешено открыть несколько десятков новых храмов. Митрополит Григорий активизировал свои усилия по возвращению Свято-Троицкого собора. 15 июля 1955 г. он подал Патриарху докладную записку, в которой просил содействия “по вопросу о разрешении открытия собора” и его ремонта на средства епархии и Патриархии, изложив ряд доводов в пользу нового ходатайства:

1. Троицкий собор расположен на территории Государственного Заповедника и до своего закрытия являлся центром религиозной жизни г. Ленинграда.
2. В настоящее время собор разрушается. Внутри он пустует...
3. Целый ряд иностранных делегаций при их визите к Ленинградскому митрополиту заостряли свое внимание на столь печальное состояние лаврского собора (он помещается вблизи покоев Митрополита) и высказывали открытое изумление, в особенности в связи с той информацией о внутренней свободе церкви и благожелательном к ней отношении Советского правительства, каковая неизменно предлагалась гостям Ленинградским митрополитом... Открытие Лаврского собора не должно встретить препятствий со стороны властей. Он находится в стороне от городской жизни и не помешает демонстрациям.
4. На очень большом расстоянии в этой части города нет действующих церквей.
5. Собор окружен кладбищем. При его ликвидации в собор можно перенести останки иерархов.
6. Перед фасадом Лавры расположена площадь Александра Невского. Самое название площади связывает все это место с именем благоверного князя, не только святого, но и великого государственного деятеля русской истории и принципиально требует наличия собора, где было бы возможно почитание Его светлого имени....

...“Открыть собор – и умирать можно спокойно...”, – сказал как-то владыка своей внучке, когда они вместе гуляли по лаврскому саду.

Для возвращения Свято-Троицкого собора верующим митрополит Григорий сделал все возможное и полностью подготовил почву для его открытия, но долгожданного события владыка не увидел.

5 ноября 1955 г. приснопоминаемый митрополит Григорий отошел ко Господу. 11 ноября его прах был торжественно погребен в Крестовой церкви св. блгв. кн. Александра Невского в Духовском корпусе Лавры.

Открытие Свято-Троицкого собора произошло через год после блаженной кончины преосвященного митрополита Григория, когда правящим архиереем епархии стал митрополит Ленинградский и Новгородский Елевферий (Воронцов)».

Так что – возвращаясь к началу этого моего рассказа – тот праздник, ради которого сестра привела меня с собой в Лавру, не мог происходить ранее 1956 года, когда Собор наконец-то

был возвращен верующим, но более вероятно, что торжество это было связано с освящением Собора, приуроченным к 12 сентября 1957 года!

...К тому времени был уже проведен хотя бы «первоочередной ремонт» Собора, а когда, в июне 1955-го, учащийся Техникума физической культуры Трудовых резервов (имя его я начисто забыла...) привел меня в Лавру, этот прекрасный храм, израненный бомбежками и просто временем – с 1920 года он стоял закрытым, – был, наверное, слишком мрачен для моей юной беспечальной души, и я поспешила его забыть...

Тогда юный физкультурник показал мне и здание, где размещался его техникум, а изначально – Духовная Академия...

«И вот сын мой, – писала я почти полвека спустя в своей первой книге, «Прощай... – И здравствуй!..», – закончил девять классов, и надо было определяться с дальнейшим. Неисповедимыми путями Своими Господь привел его в школу при Институте богословия и философии. Закончив же ее, он поступил в сам институт. Институт ютился в нескольких комнатах на втором этаже, «из милости» переданных ему в аренду «физкультурниками». Я помню высокие своды огромного «вестибюля», а на деле – храма, скрип рассохшихся паркетных полов под ногами, окна в мелкой голландской расстекловке...

Институт был светский, но многие предметы вели священники, а начало учебного года и крупные события школьной и институтской жизни ознаменовывались молебнами. На втором курсе сын принял Православие.

И вскоре же не где-нибудь, а в Богословском храме Духовной Академии, приняла Святое Крещение и я...

Потом Институт «попросили»: бывший простецкий Техникум стал уже Колледжем физкультуры и спорта, экономики и технологии и по-прежнему был единоличным хозяином отнятого когда-то у Церкви здания. Как будто и не было никакой оттепели, не говоря уж о весне. Время от времени я наводила в Интернете справки – не переехал ли. Нет, не переехал. И лишь совсем недавно, когда уже взялась за эту книгу, к великой радости, обнаружила в Сети такое сообщение:

«Санкт-Петербургской православной духовной академии полностью возвращён исторический комплекс зданий на набережной Обводного канала. Впервые после 1918 года 29 ноября 2013 года в домовом храме Двенадцати апостолов, где находился спортзал (Sic!.. – Л.Н.) Колледжа физкультуры и спорта, экономики и технологии, было совершено Богослужение»...

Университет

Экзамен по географии

Итак, летом 1955-го я поступала на филфак ЛГУ. Сдать надо было 5 экзаменов и набрать не менее 24 баллов из 25-ти. На последний экзамен, по географии, я пришла уже с одной четверкой, как ни странно, по сочинению. И меньше, чем с пятеркой, я отсюда не должна была уйти. Географию я любила и хорошо знала, однако понадеялась на свою память и, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, пропадала на даче у своей одноклассницы. И вот – результат: когда экзаменатор предложил взять билет, оказалось, что из трех вопросов на «отлично» я смогу ответить только на один. То есть, в лучшем случае получу тройку. Бессмысленно позориться я не захотела. И – молча положив билет на стол и оставив на нем свою ненужную

теперь ведомость, ушла.

Геофак тогда располагался в старинном здании на улице Красной (ныне – снова Галерная), при нем был прекрасный сад. Я пошла в этот сад, села на скамейку – и сидела там в некой прострации, с одной-единственной мыслью: «Что скажет мама?..» Так я сидела минут, наверное, пятнадцать, как вдруг увидела двух бегущих по саду девочек, выкликая: «Никеева! Никеева!» Ушам своим не веря, я поднялась и шагнула им навстречу. «Это ты?! Иди скорее! Тебя экзаменатор зовет!»

Я пошла, как заколдованная. Вошла в аудиторию. «Никеева?» – спросил сидевший за столом немолодой человек. Я только кивнула. Какое-то время он молча оглядывал меня – девочку с косичками, в позаимствованном у старшей сестры зеленом шерстяном платье, в белых парусиновых тапочках, начищенных зубным порошком. Потом спросил: «Отец есть?» – «Нет. Умер еще до войны». – «А мать кем работает?» – «Проводницей на железной дороге...» Помолчал, задумчиво глядя на мою ведомость, и неожиданно сказал: «Бери билет». Я взяла. Первый вопрос был о полезных ископаемых Казахстана. Помню, что указка моя так и летала по карте. Джезказган... Караганда... «Достаточно», – остановил он меня. Подвинул к себе ведомость и вывел: «отлично».

Я потом рассказала эту историю маме... Она тогда ездила в Симферополь, привозила из своих поездок фрукты, баснословно еще в те времена дешевые. Их по всему пути подносили на стоянках к вагонам местные жительницы. Корзинами. И вот мама сказала: «Какой человек!.. Надо его отблагодарить. Снеси ему корзину фруктов!» Это я помню. А вот снесла ли – не помню... Наверное, нет, иначе какие-то подробности запомнились бы. Скорее всего, по дикой тогдашней стеснительности не пошла...

...Что за Милость Божия... Он ведь даже еще не знал меня. То есть, это я Его не знала: у меня даже еще не было святого имени. Мое имя, записанное в гражданской метрике, было освящено лишь 44 года спустя...

Сейчас вот записала и этого человека в синодик. Так и поминаю его: «Воронов (*имя его, Господи, Ты веси*)». В бытность мою в издательстве среди наших авторов был Воронов Павел Стефанович, полярный геолог, доктор наук, но тогда, в 55-м, ему было всего 35 лет, а «мой» Воронов запомнился мне как человек уже немолодой...

Тридцать первая!

Та учительница, что сказала мне когда-то: «Люся, тебе обязательно нужно идти в Университет!», очень удивилась бы, если бы в ответ я спросила: «А в какой?» Это сейчас у нас в городе несколько десятков университетов... А тогда такой вопрос просто не мог бы и возникнуть. Как в какой? Слово «универ» в мои времена еще, к счастью, не придумали, не было тогда и понятия «Большой университет», по той простой причине, что еще не было «малых». ☺

Откуда начати университетское мое житие?.. Ну, конечно, с Alma Mater (Матери Кормилицы)... Набрала это – и впервые (впервые!..) увидела в этом столь примелькавшемся за многие годы «устойчивом фразеологизме»... слово Mater, в христианском сознании имеющее один-единственный смысл... Стала разбираться – и, конечно, так и оказалось...

Стоял август месяц, и цвела медуница, белые цветки которой, довольно невзрачные на вид, заливали своим медвяным ароматом всю Менделеевскую линию, где собрали нас, новоиспеченных студентов, по какому-то организационному поводу, кажется, по поводу отправки в «колхоз»... Первый поток (поступали в два потока) ехал на месяц в колхоз им. Арикайнена (до сих пор почему-то помню), и я, будучи во втором потоке, тем, из первого,

страшно завидовала...

Девушка, стоявшая рядом, задала мне какой-то вопрос, я ей, и меня сразу взяли в плен эти ее кудряшки на висках, огромные серые глаза, чистый лоб с характерным «зализом» волос, ломкий голос. Что ее взяло в плен во мне – не помню, да, скорее всего, она об этом и не говорила. Так же, кстати, как и я ей об ее кудряшках.

Она приехала из Севастополя, где служил тогда ее отец, военный моряк-гидрограф, бредила этим городом и долго не могла привыкнуть к нашей Северной Пальмире... На этих страницах не один раз я вспомню Антонину, искреннюю мою (Царство ей Небесное!), на долгие годы ставшую моим «alter ego».

А недели через три после того я впервые вошла в здание на Университетской набережной, 11, уже как полноправная универсантка. И впервые вошла уже в этом своем новом качестве в Тридцать первую, где еще недавно писала, вместе со всеми остальными абитуриентами, вступительное сочинение!

Тридцать первая... Актовый зал... Целых пять лет жизни в ошеломительном пейзаже, вставленном в огромные окна: «Невы державное течение», а через Неву – Исаакиевский собор с Медным всадником пред ним!

Здесь, в этой аудитории, читались общекурсовые лекции, проводились общефакультетские, а иногда даже и общеуниверситетские собрания... Здесь нам зачитывали «Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 г. "О культе личности и его последствиях"». Здесь проходило обсуждение книги Владимира Дудинцева «Не хлебом единым»... (Но к этим событиям я еще вернусь...)

В двух соседних аудиториях, там же, на втором этаже, но чуть поменьше, читались лекции для русистов и спецкурсы. На первом этаже восточного флигеля находилась так называемая «школа», там проходили групповые семинарские занятия.

В моих любимых «Прогулках по Петербургу», где здание филфака значится как «Дворец Петра II (Университетская набережная, 11)», среди множества любопытных сведений я увидела и ответ на вопрос о том, что это была за «школа»:

«В 1867 году здесь открылся Императорский историко-филологический институт, готовивший учителей для гимназий и реальных училищ. Для новых целей здание переоборудовали архитекторы В. И. Соболевский и Р. Б. Бернгард. Во дворце Петра II находились квартиры преподавателей и комнаты студентов. В 1870 году в восточном флигеле открылась филологическая гимназия.

В 1918 году институт был преобразован в Педагогический. При нём продолжала работать школа для студенческой практики».

Вот откуда «школа»! Но тогда мы этого не знали: ну, школа и школа!.. Но этот полутемный коридор, куда выходили двери классов-аудиторий, бывший немым свидетелем и, на современном жаргоне, студенческого «стёба», и... азартных турниров в коробок (обыкновенный спичечный коробок, который клался на край стола и подбрасывался снизу ладонью, так, чтобы он не упал плашмя, а встал на то или иное «ребро» и принес то или иное количество очков), и потаенных откровений, – был больше, чем просто «школа»...

Кстати о коробке – не так давно я встретилась в гостях с одним человеком, учившимся на филфаке (на журналистском отделении) лет на 15 позже меня, и, среди прочего, я спросила его,

застал ли он еще игру в коробок. «Как же! – ответил он. – Сам играл!»

В этих же «Прогулках» встретились любопытные детали из «новой истории» филфака:

«Достопримечательностью двора филологического факультета Петербургского университета является "парк современной скульптуры", созданный здесь по инициативе декана факультета С. И. Богданова. В 2000-2002 годах в парке были установлены скульптуры "Размышление о Маленьком принце", стела с изображающим Ксению Петербургскую барельефом. Позже здесь появились памятники архитектору Д. А. Трезини, поэтессе А. Ахматовой, писателю Антиоху Кантемиру. На дворовом фасаде здания укреплена металлическая плита "Спираль развития", на стене у ворот – солнечные часы. В мае 2003 года к 300-летию юбилею Петербурга во дворе здания филологического факультета был открыт памятник "Лабиринт"».

Но это всё, повторяю, – из «новой истории». А в мои времена, в 50-х, это был скромный, ничем не примечательный закрытый дворик, где находилось одно из студенческих общежитий (помимо тех, что были на ул. Стахановцев и на Мытнинской набережной) и студенческая столовая – «восьмерка», самая скромная и непритязательная, зато и самая дешевая. И там были какие-то фантастически дешевые, даже по тем временам, и вкусные пирожки с капустой. Они заслуживают отдельной новеллы:).

Пирожки

На первых курсах мне выдавалось на день, сколько помню, 50 копеек. 10 из них – на автобус (троллейбус), остальное – на обед в столовой.

До того у меня практически никогда не было своих денег, ну, если не считать дававшихся с собой в школу на те же пирожки. А тут – сказочное богатство, которым можно было распоряжаться с умом, то есть, за вычетом двух-трех пирожков, пускать его на книги! Вместе с деньгами, сэкономленными на транспортных расходах: когда только позволяла погода, я ходила в Университет пешком.

...Пройдя всего два дома по своей Марата, я заворачивала за угол – и выходила на Невский!

Девушка я была спортивная, вечно занималась в каких-то кружках, и путь этот, не близкий, но прекрасный, вспоминаю как одну из неотъемлемых радостей своей юности, а потом – и молодости... Не перегороженный и не обуженный безобразными рекламными транспарантами, закрывающими великолепную перспективу, увенчанную Адмиралтейской иглой, Невский в сияющих струях утренних поливальных машин был «чист и свеж, как поцелуй ребенка»...

Литейный – Аничков мост – Аничков дворец – Сад отдыха – Екатерининский сквер – Дума – канал Грибоедова – Казанский собор – Строгановский дворец – Мойка – проспекты Герцена и Гоголя, и вот, наконец, – Адмиралтейство! А там – мимо Дворцовой площади и Зимнего, что по правую руку, Дворцовый мост – и вот я уже на Университетской набережной, и еще метров через 600-700 – торец здания Двенадцати коллегий, Главного здания ЛГУ, с висячими часами, и вот уже родной филфак. Путь этот, почти в четыре километра, был мне в радость...

С обратной дорогой, то есть, с дорогой домой, связана главная радость молодых моих дней: обход всех книжных магазинов, от начала Невского до угла улицы Маяковского, где был последний из них! Только сейчас, мысленно вновь проходя Невский, я отметила, что путь туда пролегал по нечетной его стороне, обратно же – по четной, и не только для разнообразия, а потому главным образом, что все книжные магазины почему-то находились именно на той

стороне.

Всего на моем пути, если не изменяет память, было девять книжных магазинов, но главными, но *столами* были Дом Книги, Книжная лавка писателей и «Академкнига» (немного в стороне от Невского, на Литейном, 57). В этих магазинах (к счастью, переживших все ветры времени) я первым делом просматривала список новых поступлений, и, хотя нужная сумма на новую книгу набиралась не всегда, но, по крайней мере, я знала, *что* нужно «ловить».

А «ловить» надо было, кроме того, что попадетса само, книги начинавшейся тогда серии «Зарубежный роман XX века», в бумажных обложках, в бумажных же суперобложках, по тем временам – очень стильных. Что-то из них сохранилось – «Морской орел» Джеймса Олдриджа, «Город привычных лиц» Генриха Бёлля, «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен» Эриха-Марии Ремарка... Навсегда впечаталась в память первая же фраза книги «На Западном фронте без перемен»: «Смерть в России пахла иначе, чем в Африке»...

И вот однажды, зайдя в Книжную лавку писателей, что возле Аничкова моста, я увидела в руках у людей... двухтомник легендарного Хемингуэя. Целый двухтомник! И он еще был! А мне не хватало целых двух рублей! Не нынешних!..

Я вышла на Невский – и стала ждать, в безумной надежде: *вдруг* пройдет кто-то знакомый?.. И *вдруг* – увидела нашего студента, Виктора Смирнова, с пятого курса. Я его знала как солиста Университетского хора, он же обо мне не имел понятия. Но я подошла к нему – и попросила эти два рубля. Он удивился, но дал.

Вот такие пирожки!..

На старших курсах мы были уже на почти свободном расписании – общих, курсовых, лекций и обязательных семинарских занятий было уже гораздо меньше, чем на первых трех, и на факультете я бывала «по потребности», а основное время проводила в «Публичке», теперь уже не в детско-юношеском филиале, что на Фонтанке, а во «взрослой», для научных работников, на Садовой, или в БАНе (Библиотеке Академии наук), готовя курсовую (на 4-м курсе), а потом дипломную. («Горьковка» – о ней речь будет особая – уже не могла удовлетворить мои «взросшие потребности».) И в это мое «новое время» «восьмерка» иногда уже уступала место «академичке», что находилась в сводчатом полуподвале старинного здания на углу Таможенного переуллка и Биржевого проезда; там столовались и почтенные мужи из Академии наук, и университетские – и преподаватели, и аспиранты, и простые смертные, то есть, мы, студенты.

В эти годы пирожками было уже не обойтись☺. Да и жить нам стало полегче: и мама стала получать побольше, и стипендия на старших курсах подросла, и сестра моя уже работала, так что теперь выдавалось мне на день больше, чем раньше, и, за вычетом «книжного налога», оставалось не только на пирожки, но и на обед как таковой.

А «книжный налог», соответственно, тоже вырос: теперь он шел еще и на подписные издания... Бывая в гостях у людей моего поколения, я с улыбкой отмечаю про себя, что книжные полки заставлены знакомыми томиками... Джек Лондон... Шекспир... Франс... Диккенс... Паустовский...

«Горьковка»

«Более всего замечательна в университете галерея. Ее большие венецианские окна, блестящий паркет, чистота и вкус мебели, бесконечная протяженность представляют из нее что-то

единственное в своем роде. Еще не было ни в одном публичном заведении Европы такого украшения храма наук!»

Так писал в 1838 году журнал «Современник».

Коридор Главного здания СПбГУ и сейчас считают самым длинным университетским коридором в мире. 383 метра – такова его длина! Правда, сегодня он отгорожен в конце, и используемая длина составляет менее 270 метров, но и это, согласитесь, более чем...

Сколько раз входила я в этот коридор, направляясь в «Горьковку»! (Официально – Научная библиотека им. М. Горького ЛГУ, сегодня – СПбГУ.) И долго-долго шла по нему, имея по левую руку те самые венецианские окна, а по правую – старинные шкафы, от пола до потолка, где хранятся книги и образцы геологической коллекции...

...На каком-то сайте я прочла о том, что у студентов Санкт-Петербургского Государственного университета есть примета: чтобы хорошо сдать зачет или экзамен, необходимо использовать для подготовки к нему не только литературу из своей факультетской библиотеки, но еще хотя бы одну книгу из основного фонда «Горьковки». «Эту книгу обязательно надо использовать при подготовке к экзамену, даже если в ней найдется ответ только на один из вопросов. Так что во время сессии в Горьковской библиотеке всегда бывает много посетителей: за книгами туда приезжают даже студенты, обучающиеся в Петродворце. Верят в эту примету и некоторые учащиеся других вузов, записывающиеся перед экзаменами в читальный зал Горьковской библиотеки...»

Для нас же, студентов филфака, примыкающего к Главному зданию, было естественно, как дыхание, пасть на здешних тучных пажитях, даже не задумываясь о том, какое это счастье...

...Вообще-то я подавала на классическое отделение: античная история давно пленяла мое воображение, еще с «Мифов Древней Греции» в пятом классе. Но там было всего пять (кажется) мест. И мои документы перенаправили на отделение русского языка и литературы. Однако куда же без античной истории! Первые полгода, то есть, первый в моей жизни семестр, сменивший школьные четверти, нам начали давать два тесно связанных между собой предмета: историю античной литературы и историю древней философии. А после общих лекционных и семинарских занятий я практически не вылезала из «Горьковки». Потому что в зимнюю сессию предстоял коллоквиум по античной литературе, и после дневных лекций я допоздна сидела при свете классической зеленой лампы над Гомером, Эсхилом, Софоклом, Эврипидом, Аристофаном...

Одиссей... Аякс Великий... Деметра... Орест... Медея... Ифигения... Электра... Антигона... Орфей и Эвридика... Давно забытые прекрасные имена эти одно за другим всплывали сейчас в моей памяти, и вдруг каким-то Промыслом Божиим, иначе не скажешь, мне прилетела от одной старинной знакомой (которая и знать не знала о том, чем я в те дни занималась) ссылка на дивный ресурс классической музыки: РАДИО «КЛАССИК-ОНЛАЙН. И на первом же месте я увидела каталог «Музыка Древнего мира» (5-е тысячелетие до н.э. – 476)!

А там – каталог «Анонимные древнегреческие композиторы (IV–V)», где воспроизведены дошедшие до нас на папирусах фрагменты музыки к тем самым произведениям, о которых я веду речь, начиная от Гомера!

И, что уж совсем было неожиданно и интересно для меня сегодняшней, – это встреченные там музыкальные произведения святителей Амвросия Медиоланского и Григория Богослова!..

Не могу не поделиться потрясающим рассказом одного из слушателей Радио «Классик-Онлайн»:

«В 1893 г. французские археологи, делавшие раскопки в Дельфах, священном городе бога Аполлона, обнаружили две любопытные каменные пластинки. На них обычным греческим алфавитом конца II в. до н. э. были записаны гимны в честь Аполлона. Но от других греческих манускриптов, найденных ранее, их отличали бросающиеся в глаза дополнительные знаки, вырезанные между строками гимнов. К большому удовольствию археологов, оказалось, что это частично уцелевшие музыкальные партитуры, которые являются самыми ранними образцами музыки Древней Греции.

Оказалось, что эта поразительная находка и множество других фрагментов греческих музыкальных партитур относятся к периоду с середины III в. до н. э. до III в. н. э. Большинство из них записано на папирусах, часто очень маленьких бесформенных кусочках, которых, впрочем, достаточно, чтобы понять, что они в основном являются отрывками из музыкальных композиций для сопровождения таких пьес, как знаменитая драма «Орест», написанная Эврипидом около 450 г. до н. э. Эти редкие археологические находки определяют как древнегреческие нотные записи. Некто Алипий в III или IV в. н. э. создал довольно удобную нотную систему, ставшую классической для греческой музыки. Он составил список используемых символов (смесь алфавитных и псевдоалфавитных знаков) и дал подробное объяснение их значений. К счастью, его работа сохранилась благодаря усиленному копированию, распространенному в средние века. Знание древнегреческой системы нотной записи никогда не терялось — фактически наша современная система нот, начавшая развиваться в средние века и выкристаллизовавшаяся окончательно в XVII в., основана на греческом образце». (IQ coaching. Образовательный портал)

И древняя музыка, открывшаяся сейчас моей душе, уже зрячей, так промыслительно, прозвучала заключительным аккордом к тому катарсису, который я испытывала в читальном зале «Горьковки» над страницами античных трагедий...

Так натянулась, крепко, как струна кифары, еще одна сквозная нить моей жизни...

...Помимо коллоквиума по античной литературе, нам предстоял экзамен по истории античной философии. Историю античной литературы мы изучали по прекрасному учебнику И.М. Тронского (мы еще застали его живую...). Историю философии же – по книге английского философа Бертрانا Рассела «История западной философии». Да, как ни странно для тех времен, учиться по книге «буржуазного философа» нам не возбранялось – отечественных аналогов этого блестящего труда в то время, насколько я знаю, не было; как сейчас, сказать не могу.

Досократики – Гераклит, Эмпедокл, Пифагор, Анаксагор, – и Сократ, Платон, Аристотель... Подробности их школ и учений я, конечно, не помню, но имена память сохранила.

И Кант! «Критика чистого разума», категорический императив – об этом я вспомнила только сейчас. А вот слова: «Две вещи на свете удивляют меня больше всего – звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас», – я запомнила сразу и навсегда. И, конечно, не могла не вспомнить, много-много лет спустя прочитав у Иеремии: «Но вот завет, который Я заключу, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом».

А к тому, что сказано было у Канта еще, тогда я осталась глуха: «Всем людям свойственно нравственное чувство, категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, должно существовать

некоторое основание, некоторая мотивация нравственного поведения, лежащие вне этого мира. Всё это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога».

До понимания сказанного я доросла, милостью Божьей, лишь чуть ли не полвека спустя.

Потом был Гегель!

Потом – Карл Маркс. Странно звучит здесь, казалось бы, это имя, а уж, тем более, странно слышать о марксизме из уст человека, никогда не состоявшего не только в партии, но даже и в комсомоле. Но я очень хорошо помню увесистый том в темно-синем ледериновом переплете с вытисненным на нем словом «Капитал», который я прочла в той же «Горьковке» от корки до корки! Было в нем, наверное, какое-то обаяние логики...

Зачем, казалось бы, все это вчерашним школьникам? Что мы могли во всем этом понимать? А вот понимали, свежими своими мозгами самое-то главное ухватывали, но прежде всего – на этом непростом материале учились учиться и работать с источниками. Как же потом, в дальнейшей жизни, которая все время предлагала новые предметы и ставила новые задачи и задачки, часто весьма далекие от научных материй, – эти университетские навыки пригодились!

В «Горьковке» я чаще всего сидела вместе с Антониной, бок о бок. Засиживались допоздна, и отец ее, кавторанг Абаев, часто заходил за дочкой (он учился тогда на курсах в Военно-Морской академии им. Крылова).

«Я сейчас пишу про то, как мы с Тонечкой допоздна сидели в “Горьковке” и как ваш папа часто заходил за ней вечерами, красивый, молодой, в форме, он тогда в Академии учился...» – писала я сейчас в скайпе ее младшей сестре Оле, живущей ныне в Греции. (Когда я впервые пришла к ним в дом, навстречу мне вышла глазастая девочка с косичками. Ей тогда было 8 лет, нам – по 17. Это сейчас мы с ней практически ровесницы, в наши годы это не разница. А тогда – это была непроходимая пропасть, мы для нее долго были высшими существами☺.)

«Ваш труд не пропал даром, такие прекрасные знания ваше поколение получило!...» – ответила она. «Да... – написала я в ответ. – Как бы это передать, так, чтобы абстрагироваться от себя... Это самое сложное. Все время, все время надо помнить, что все это было – величайшим даром Божьим... Неосознаваемым тогда и неоцененным. Тогда – но не теперь».

И тех, кто давал нам эти «прекрасные знания», хочу назвать не просто преподавателями (или, уж тем более, на современном студенческом сленге, «преподами»), но *Учителями Культуры*.

Но о них – речь впереди...

Малый коридор

Звенел звонок, двери аудиторий распахивались, и все высыпали в коридор. Там всегда былолюдно – и не только в перерывах между лекциями, но и во время лекций. Наш коридор был не такой, конечно, длинный, как в Главном здании, но всё же немал. Говорю – «был», потому что, когда, лет десять назад, мне довелось побывать там по одному делу, я наш коридор не узнала – какие-то фанерные перегородки, выгородки... Единое пространство, где издалека можно было увидеть кого-то знакомого и радостно помахать ему рукой, перестало существовать...

По столь памятному мне коридору толпами бродили будущие поэты, литературные критики и писатели☺. Все они собирались на заседания ЛИТО (Литературного объединения). Несколько раз и я там была, и даже лицезрела будущего Иосифа Бродского, тогда – Осю и даже «Оську

Рыжего», над которым прочие поэты беззлобно посмеивались: он не был «своим», универсантом. А ведь уже в 1958-м были написаны знаменитые «Пилигримы»... (Правда, позднего Бродского я не слишком люблю, но *это* было прекрасно!)

Время размыло имена и лица и моих «сокоридорников», и моих согруппников: после Университета я никогда больше с ними не встречалась (кроме моей Антонины), но, когда села за эти заметки и добралась до филфаковского коридора, в памяти моей неожиданно ожили несколько лиц... Я никогда не перемолвилась с их «обладателями» (кроме Гоши Терацуянца) и словом, и они, как и многие, о ком я здесь вспоминаю, понятия обо мне не имели, так что хвастаться знакомством с ними мне не приходится☺, а вот вспомнились же именно они...

Борис Спасский

В школьные годы я увлекалась шахматами. Занималась в кружке, который вел наш учитель логики и психологии. В те времена шахматы не уступали в популярности футболу, и у всех на слуху были имена Михаила Ботвинника, Михаила Таля, Тиграна Петросяна, Марка Тайманова, Юрия Авербаха, Бориса Бронштейна... И Бориса Спасского. Как раз в 1955-м, когда я пришла в Университет, он стал международным гроссмейстером! В 18 лет! Он тогда учился уже на втором курсе филфака, на журналистике. Конечно, мне страшно хотелось увидеть его «живьем»! И однажды увидела (однажды, потому что любой спортсмен такого ранга не сидит на месте, а вечно ездит по матчам и турнирам). Увидела юношу с красивой волнистой шевелюрой, по-европейски одетого, в «заграничной» обуви. Это всё, что я могу о нем сказать: за те 4 года, что мы с Борисом входили в одно и то же здание, пути наши не то что ни разу не пересеклись, но он даже не подозревал о моем существовании. Но я продолжала следить за его «карьерой»: три года в звании чемпиона мира, драматические перипетии матча с Бобби Фишером, проигрыш... Этот матч был в конце лета 1972-го, а вскоре в моей жизни произошли события, надолго отбившие интерес к происходившему за пределами моей личной судьбы...

И вот сейчас я решила посмотреть в Интернете, а что сегодня с Борисом Спасским, жив ли он? (Этот мой труд подвигался бы гораздо быстрее, если бы я то и дело не лазала в Интернет: а что сейчас с тем-то, тем-то, той-то?..)

И увидела фотографию Бориса 1956 года (как раз таким он мне и запомнился) и множество, множество отпечатков жизни, в которой поменялось всё – за исключением все той же волнистой шевелюры... И в итоге: «Советский и французский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам. Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Двукратный чемпион СССР, десятикратный участник шахматных олимпиад».

Как-то радостно, при том, что мы никогда не знали друг друга лично, видеть в датах жизни Бори Спасского лишь первую составляющую. *До тире...*

Саша Панченко

«Кто это, ты не знаешь?» – спросила я у Али Ч. из моей группы, которая всех уже успела узнать, увидев в нашем коридоре высокого, красивого юношу с дружелюбной улыбкой. «А, так это Саша Панченко!» – сказала она.

Когда я поступила в Университет, он был уже на третьем курсе и, как я узнала уже сейчас, зайдя на сайт Пушкинского Дома (<http://panchenko.pushkinskiydom.ru/>), «одновременно изучал богемистику на славянском отделении и русистику на кафедре истории русской литературы. ... В 1958 г., после окончания Карлова университета в Праге, где А. М. Панченко продолжил изучение богемистики, и одновременно Ленинградского университета, он поступил в

аспирантуру Пушкинского Дома, где и работал до конца своих дней».

... Много-много лет спустя после эпизодических пересечений в филфаковском коридоре я увидела Панченко на экране телевизора. Это был уже академик Панченко. «Телефильмы и телепрограммы акад. А. М. Панченко, – читала я далее на том же сайте, – доставили ему славу, славу замечательного просветителя и мыслителя вслух, были удостоены, помимо широкого зрительского признания, Государственной премии России. ... Научный текст, в известном значении эзотерический текст специалиста, оказывался воспринят огромной аудиторией российского культурного сословия. Словом А. М. Панченко гуманитарная наука, не переставая быть академической и высокой, смогла добиться внимания общества. И это не просто вдохновляющий пример, это надежда нашей профессии».

Прожил он недолгую жизнь: 1937–2002; 65 лет – сегодня не возраст. Я рада, что застала, пусть и по касательной, зарю этой жизни...

Дима Набирухин

Лет десять назад редакторская судьба привела меня в «Лениздат». Там проходила одна «сторонняя» книга, коей я была редактором. Подписать договор от лица «Лениздата» должен был, как и в прежние времена, директор. Директором же оказался... Вадим Набирухин! Совпадения быть не могло: фамилия достаточно редкая. Да и когда он вышел в приемную, где я его ждала, последние сомнения отпали: да, тот самый, все еще, в свои немалые годы, узнаваемый, Дима Набирухин...

«Вадим Павлович, – сказала я, когда, подписав договор, он прощался со мной, – вы меня вряд ли помните, но я вас помню очень хорошо: мы с вами вместе учились... В Университете».

... На факультете он был комсомольским вожаком и естественным путем попал в «номенклатурную обойму»: работа в каком-то из отделов Ленинградского горкома КПСС, директорство в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель», в «Лениздате»... Даром для человека пребывание на «переднем крае идеологического фронта», да еще в такое «полосатое» время, не проходит. Он... закаляется.

И вдруг в своей директорской приемной услышать: «Мы вместе учились!..» И качнуться к незнакомой немолодой женщине всем своим солидным корпусом и расслабленным, растроганным эхом повторять в ответ: «Мы вместе учились!..»

Гоша Терацунц

В первые студенческие каникулы, после первой в жизни сессии, в составе факультетского хора я отправилась... в агитпоход.

Я очень любила петь. И, когда поступила на филфак, вскоре же узнала, что там есть хор. Был Большой хор, Университетский, а это – факультетский.

Руководителем его был Георгий Терацунц. Георгий Ервандович. А в те времена – попросту Гоша. Это не означало панибратства в отношениях – этот невысокий человек с энергичным, четко скроенным лицом, с усами под внушительным по-кавказски носом был основательно старше (27 лет) многих из нас, и мы его не просто любили, но и уважали, а вот так и запомнилось: Гоша.

Помню, как, ужасно стесняясь, я подошла к нему и сказала, что хочу петь в хоре. «Ну, давай послушаю». И, задав на проверку две-три музыкальные фразы, сказал: «Хорошо. Будешь во

вторых альтах».

Бывать на спевках мне страшно нравилось. Прежде я никогда не вдумывалась, из чего складывается слитное звучание хора, а теперь стала слышать и вычленять в этом как бы едином звучании сложение и наложение разных голосовых партий. Особенно я любила, когда хор, как говорил Гоша, «органил».

И вот наш хор отправился в агитпоход.

Что такое «агитпоход»? «Поход агитколлектива, совершаемый на лыжах, пешком и т. п. с целью проведения агитационной работы среди населения», – такое определение нашла я сейчас в Сети. Насколько мне удалось выяснить, это движение зародилось как раз в 1955-м, то есть, наш поход был в ряду первых.

Я не помню, чтобы мы за что-то именно агитировали. Нашей агитацией были хоровые выступления в дальних деревнях Новгородчины, «куда неженки-артисты не добираются», как сказано в одном из рассказов о подобных походах. Из той поездки больше всего запомнились почему-то впервые увиденные не на страницах классической русской литературы, а в реальности наши русские розвальни – широкие, низкие сани без сидения, на которые мы ложились вповалку и так и ехали под морозным небом с редкими звездами...

...А что же сегодня с нашим хормейстером?

«Википедия: **Георгий Ервандович Терацуйнц** (15 июня 1929, Ленинград — 23 августа 2007, Петрозаводск) — российский дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог, профессор, Заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1967)».

И увидела такую ссылку: [III хоровой фестиваль имени Г.Е. Терацуйнца](#) ... Теперь уже – имени...

Целина

– «Ошкуривание» я за свою долгую жизнь, не мытьем, так катаньем, по-моему, уже почти прошла, теперь – черед рубанка... – сказала я отцу К., сидя с ним на «лавочке» почти полвека спустя; это была одна из наших первых бесед. Он даже вздрогнул:

– Как это – ошкуривание?.. И при чем рубанок?

– В первое мое студенческое лето, перед тем как поехать на целину, мы месяц работали на колхозной стройке. И вот там мы ошкуривали бревна для колхозного коровника. Дело в том, что, если не снять с бревна кору, под ней будут жить всякие короеды и портить дерево. Сдирали мы кору то ли топором, то ли лопатой, уж не помню. А потом начиналась шлифовка. Сначала – рубанком, им стесывают всякие сучки, потом – грубым наждаком, потом – более и более мелким, а потом уже – стеклышком. Это всё я рассказываю, чтобы вы представляли себе, с каким «человеческим материалом» будете иметь дело. Ну, а дойдет ли когда до стеклышка – уж и не знаю...

Отец К. молчал, глядя на свою новую «пациентку» с задумчивым интересом...

Передо мной – фотографии шестидесятилетней (!) почти давности: провода первого студенческого университетского целинного отряда. И – стопка рукописных страниц самых первых моих «мемуаров», писанных весной 1978-го, на сороковом, знаменательном (после тяжелых лет материнского одиночества во мне снова зрела жизнь...) году моей жизни... Сейчас я описывала бы те далекие события в иной, не столь эмоциональной, тональности, но тогда,

сорок лет назад, я, что ни говори, была гораздо ближе к героям этих страниц, чем сегодня...

Но вернусь на «машине времени» в 1956-й...

...У входа в Главное здание Университета со стороны Менделеевской линии, там, где решетка, ограждающая старинный тенистый сад, делает мягкий полукруг, собралась толпа счастливых, смеющихся мальчиков и девочек в ковбойках и шароварах, в которую вкраплены грустно и неуверенно улыбающиеся мамы. На мне – такая же ковбойка, как и на всех, черные сатиновые шаровары...

И вот – краткий митинг, а потом вслед за оркестром мы шагаем по Университетской набережной, через Дворцовый мост, через весь Невский к Московскому вокзалу, разбираемся по расписанным лозунгами, разукрашенным цветами и зелеными веточками теплушкам – и едем через всю страну в целинную ойкумену. Впервые так далеко от дома, совсем одни, на серьезную, настоящую работу: убирать ХЛЕБ. Это вам не бревна для колхозного коровника ошкуривать!

...Празднично уезжали – и празднично ехали. Целых две недели – подолгу стояли, пропуская более срочные и важные эшелоны. Сидели бок о бок, как воробушки на жердочке, в широченных дверных проемах, свесив ноги, глядя на проносившуюся мимо неведомую Родину, а когда темнело – укладывались на нары и заводили песни. Начинали с торжественного университетского гимна «Caudeamus igitur», потом шли шутейные:

*Соловей, соловей, пташечка,
кенареечка жалобно поет!
Р-р-раз, и два,
и горе не беда,
кенареечка
съела верблюда!*

Или:

*Там, где Крюков канал
и Фонтанка-река,
словно брат и сестра,
обнимаются...*

Но чем темнее делалось, тем больше тянуло на лирику... «Сиреневый туман»...

(Ах, как всколыхнулось ретивое, когда, целую жизнь спустя, услышала я эту мелодию, без слов, в исполнении маленького оркестра по-осеннему мокрым декабрьским вечером... и, придя домой, о ней написала – [«Надежды маленький оркестрик...»](#):

...Одним мокрым вечером начала декабря я пошла кое-что купить и, возвращаясь домой, услышала, а потом и увидела духовой оркестрик... Четверо или пятеро немолодых музыкантов, в черных кожаных куртках и кепках, негромко и сдержанно вели какую-то странно знакомую мелодию, в таком же стиле «ретро», как и их одеяние... Вспомнился Окуджава: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»...

Придя домой, я сняла свой черный берет и, положив его на столик, увидела, что он весь в серебряных капельках мороси... Да ведь это же «Серебряный туман», конечно же, как это я забыла! Села к компьютеру, набрала эти два слова – и вместо них он тут же выдал: «Сиреневый туман». Ну да. Никакой не серебряный. Сиреневый...

Это я забыла, а в Интернете песня эта продолжает жить, во множестве вариантов и исполнений. Но мы, в середине 50-х, пели вот этот, который так и назван: «*Вариант (изначальный) Ю. Липатова, 1946 г.*» Правда, он значился под другим названием: «Дорожное танго. Прощание».

*Сиреневый туман
над нами проплывает.
Над тамбуром горит
полночная звезда.
Кондуктор не спешит,
кондуктор понимает,
что с девушкою я
прощаюсь навсегда.
Я помню те слова,
что ты тогда сказала,
Улыбку милых губ,
ресниц твоих полёт.
Ещё один звонок...
и смолкнет шум вокзала,
ещё один звонок –
и поезд отойдёт.*

Вроде ничего особенного: мило, грустно, лирично, но не более того. Но это если не слышать мелодию и не видеть семнадцати-двадцатилетних студентиков, лежащих в темноте на нарах в вагоне-теплушке и негромко поющих под стук колес товарного поезда, несущего их в неведомые казахстанские степи... А потом – их же, с этой же «культовой» песней на устах, уже в этих степях, сидящих на «завалинке», после долгого рабочего дня, под бескрайним казахским небом, задумчиво уставясь на огромный, красный, невероятно низко висящий Марс (был год «великого противостояния»).

...В нашей теплушке, кроме нас, филологов, были и матмеховцы, и они научили нас своей «Матмеховской лирической»:

*Полночь близится,
луна льет тихий свет,
Тени резкие ложатся на паркет...
Час пошел не ранний,
И в ночном тумане
Дремлет опустевший факультет...
Вспомни ночи,
когда так хотелось спать,
Когда было на науку наплевать,*

*Вспомни голубые,
Самые родные
Ласковые девичьи глаза...*

Напевшись, затихали, и вагон погружался в молодой крепкий сон...)

Празднично ехали – и празднично работали. Девственная земля принесла в тот год чудовищный урожай, и работали мы по восемнадцать часов в сутки – не просто от зари до зари, как исстари работают на Руси в страду, но и во тьме кромешной, при свете фар тракторов и комбайнов. Ложились в два, а то и в три ночи, вставали в шесть. Стояли у штурвала комбайна, копнили, разгружали машины с зерном, приходившие с поля, потом перелопачивали его (если этого не делать – оно будет «гореть», в буквальном смысле: в глубине бурта настолько горячо, что руку обжигает), веяли, сушили, готовое зерно грузили на машины, теперь уже для отправки на элеватор.

Иногда выпадало быть «сопровождающим». Забудешь ли, как лежишь себе в самосвале прямо на зерне, мягко покачиваясь на ухабах, устремив взор в небо, и время от времени бросая в рот горсть золотистых пшеничных зерен?.. Ехать – километров 300, да кто их считал? «С гаком!» «Триста с гаком» – это могли быть и все пятьсот. На элеваторе – первым делом на весы, потом разгрузка, потом оформление накладных, и часа через три обратного пути – «дома»!

Не помню, каких марок были тогдашние грузовики: может быть, «ЗИЛы». Но зато очень хорошо запомнился «студебеккер» – знаменитая американская машина. На ее огромных прямоугольных крыльях и ступеньках можно было вытянуться и замечательно отдохнуть, пока привезут и заменят на комбайне или тракторе «звездочку»: эти «звездочки» почему-то постоянно «летели». И даже спеть-прокричать невесть как дошедшее с первой мировой:

Ко мне подходит санитарка!!!

Звать Тамарка!!!

«Давай я раны перевяжу!

И в са-нитарную машину!

«Студебеккер»!!!

С собою рядом положу!!!»

Жили мы в доме из камышовых матов, сквозь которые пыль от проходивших по «хлебной» трассе машин, а к исходу сентября – и снег, проникала абсолютно беспрепятственно. Отработав, камнем падали в койки, стоявшие впритык друг к другу, мальчики – вдоль одной стены, девочки – вдоль другой.

В единственный за все три месяца выходной ездили купаться в солончаковом степном озере, а на обратном пути – завернули «в кино»: не помню уж, каким чудом дошел слух, что привезли... «Чайки умирают в гавани» (!), и мы смотрели этот фильм под открытым небом, под огромной рыжей луной...

(...«Чайки умирают в гавани», 1955, – прочитала сейчас в «Кинопоиске». – Пессимистичная драма об отчаянном человеке, пытающемся спастись от грозной судьбы в урбанистическом, холодном пейзаже портового города Антверпен»... Трудно себе представить больший контраст, чем тот, что являли собой эти пейзажи – «урбанистический, холодный» и дикий степной... И миры, в которых жили мы, советские, – и этот странный человек в пальто с поднятым

воротником, от кого-то прятаящийся, приходивший на пустырь поиграть в мяч с какой-то маленькой девочкой, а к концу фильма бежавший от преследовавших его по пятам стражей закона по каким-то бесконечным крышам и железным лестницам, грохочущим под ногами. Я пересмотрела сейчас этот «культовый» в те годы фильм и могла бы рассказать о нем более связно, но я рассказываю так, как запомнился мне этот завораживающий своей непривычной (еще не пришло время «Зеркала») размытой сюжетностью фильм...

А однажды над степью взошла огромная кроваво-красная планета. Это был день «Великого противостояния Марса». Будь мы в тот день в городе, мы вообще могли бы его не ощутить, по крайней мере, во всем величии. Но в степи – ты всегда в центре огромного круга, и воздух там чист и прозрачен, не то, что в городе. Весь день над землей грозно нависал неправдоподобно огромный Марс... Постепенно он опускался все ниже, а к вечеру разлился на горизонте расплавленной красной лавой и потом, наконец, уступил место огромной же луне...

(...В какой именно день это было – я не записала, но Интернет, куда я зашла сейчас, с готовностью сообщил, что «великие противостояния Марса» происходят каждые 15-17 лет, а в 1956 году очередное «великое противостояние» Марса произошло 10 сентября. «В этот день Марс подошел к Земле на кратчайшее из возможных расстояний – 56,68 млн. км». В астрономии все цифры головокружительны, даже астрономические «минимумы». Всего... 56,68 млн. км...

(...Вспомнилось уже сейчас:

Редкими свободными вечерами шли на бревнышки (или доски, не помню, в общем, на что-то такое, на чем можно было сидеть) – и пели. Просто пели, гитары еще не вошли тогда в молодежную «субкультуру» так плотно, как уже спустя недолгое время. А тогда время Окуджавы, Висбора, Городецкого еще не наступило. И «камерные» песни у костра – «По тундре, по железной дороге, где мчится скорый «Воркута-Ленинград» – пришли попозже. А тогда чаще всего мы, ленинградские, перепев свой студенческий репертуар, слушали ребят-латышей. Их было несколько в нашем отряде. Работали они отменно, пели – тоже, держались же особняком, что и понятно...

И еще всплыли в памяти картинками-слайдами: Санчос-испанец, из выселенных сюда, в Казахстанские степи, испанских детей (вот в такой стране мы тогда жили...), казахи в войлочных шляпах, кумыс, освежаванные барашки, подвешенные над входом в жилища, киргизы, узбеки с красивыми лицами, солдаты-срочники в диковинной тогда для нас тропической форме – хабэшных рубашках с короткими рукавами и в ботинках типа американских, вместо классических кирзовых сапог с портянками...)

...И вот прошел год. И снова захотелось ощутить, что Земля кругла – а нигде так, как в море или в степи, этого не ощутишь: как ни встань, как ни повернись, ты всегда, как я уже сказала, в центре огромного круга, замыкаемого четкой линией горизонта, – услышать тихий посвист сусликов, увидеть тушканчиков, столбиками стоящих вдоль дорог у входа в свои норки, вдохнуть запах солянки и половы, почувствовать на губах вкус твердых пшеничных зерен... Забылась моя дизентерия, местная больничка, переполненная настолько, что поступившую назавтра после меня девушку положили на койку рядом со мной, забылся даже... мертвый комбайнер, сутки лежавший за занавеской в нескольких шагах от нас.

Всё это забылось. И снова захотелось испытать счастливую ломоту в костях, постоянное, предельное напряжение своих молодых мышц и удивительное чувство, что ты можешь всё.

...Риторика? Нет. Это писалось для себя, не на публику, и потому абсолютно искренне... Просто другое было время. Лучше, хуже – не в том дело. Просто ДРУГОЕ. Я не была даже в

комсомоле, ни, тем более, уже потом, в партии, но гражданственность наше поколение впитало с молоком матери.

Суток через семь пути, снова в теплушках, через всю страну добрались мы до Петропавловска (города почти на границе с Сибирью). Оттуда нас должны были отправить на станцию с таинственным названием Таинча. Стоянка была долгой, и мы с Тоней и еще с кем-то, не помню, погуляли по городку, а потом зашли в магазин, купили колбасы, несколько батонов, бутылку вина – ехать нам предстояло всю ночь – и пошли на станцию. Когда же пришли, то увидели с виадука ползший по путям наш разукрашенный кумачовыми полотнищами с лозунгами типа «Даешь Казахстанский миллиард!» эшелон...

Долго смотрели мы ему вслед, вместе с еще одной группкой ленинградских студентов, а потом стали думать, что же делать. Кто-то, самый умный из нас, предложил идти к начальнику станции. Пошли. Бредя по путанице путей, мы неожиданно увидели лохматого парня... со значком ЛГУ на лацкане пиджака! Радости нашей при виде этого посланца Небес не было предела. И его радости тоже – увидеть здесь, за тысячи километров от дома (а он послан был сюда после журфака по распределению), своих земляков, да еще университетских!..

Начальник станции, к которому он нас привел, долго думал, что с нами делать, советовался с кем-то по диспетчерской связи, и через какое-то время нам было предложено погрузиться в открытый грузовой вагон с сельхозтехникой. Выбора у нас не было...

Сельхозтехника эта оказалась триером – огромной железной конструкцией, занимавшей по длине весь вагон и оставлявшей по ширине узкое пространство между собою и бортом вагона. В нем мы и расположились, в затылок друг другу.

На эшелон наш уже легла непроглядная азиатская ночь. Очень скоро стало ощутимо прохладно. И мы обнялись друг друга, как стояли, «составчиком». Было в нем «вагонов» пятнадцать. Вспомнили о еде. И пошли по рукам батоны, колбаса, бутылка вина, из которой каждый делал по глотку: глотнул сам – передай товарищу...

Потом пошли студенческие песни. Но скоро смолкли: уж очень не шли они к этому черному небу, сплошь унизанному звездами. Невиданно огромные и яркие, они падали и падали, оставляя за собой призрачный след. Вспыхивали на немыслимо далеком горизонте зарницы и, отпыхав, гасли, и вспыхивали все новые и новые...

И стих наш «состав», и молчал до света.

(Записала уже сейчас: «Нелишне заметить, что, при столь тесном телесном контакте с противоположным полом, для меня, например, вообще первом в жизни, не помню никаких эротических ощущений и смущений. Ощущение мощного, надежного тепла было, это помню... Быть может, само это простиравшееся над нами небо, жившее своей таинственной и прекрасной жизнью, сообщало нам ощущение некоего сокровенного Присутствия, в котором ни о чем ином не думалось и не чувствовалось...»)

...Но первое есть первое. Во второй раз все было не так и не то. И не потому, что стерлась новизна, что все уже было привычно, знакомо, обыденно. А потому, что урожай был, против прошлого года, невелик, и часто шли дожди, а в дождь хлеб не убирают, и отвратительно кормили: на первой целине мы всё делали сами, а тут условий для этого не было, и готовила выданная совхозным начальством повариха, небрежная и вороватая. И да простит меня будущий читатель этих строк, но основное, преобладающее, подавляющее большинство впечатлений от того, 1957-го, целинного года – постоянная озабоченность проблемой еды. Наш старший, С., интеллигентный юноша в очках, увы, не нашел путей ни к сердцу местной администрации, ни к сердцу, вернее, совести, нашей поварихи...

18-20 лет – самый прожорливый возраст! А мы ведь еще и работали, пусть не так много и подолгу, как в прошлом году, но работали! И нами постоянно владели гастрономические грезы. Приходя в нашу саманную (на этот раз мы жили в доме из саманного кирпича) хибару из

столовой с плескавшейся в животах подозрительной бурдой, мы сразу начинали думать, где бы и чем разжиться.

В магазинчике здешнего аула все яства мира были представлены двумя постоянными, как наше светило, продуктами: халвой и конфетами-подушечками. Халва неизменно находилась в магматическом состоянии, а подушечки, в прочем подлунном мире твердые, здесь предпочитали жидкую фазу. Подушечки эти ложкой наливались в кусок газеты, и делом чести было донести их до дома, не пролив; а там они немедленно намазывались на хлеб, если таковой имелся.

А улегшись вечером в койки, мы как лучом прожектора высвечивали всю Невскую перспективу – от Адмиралтейской иглы до Лавры, одним вечером – по одной стороне, другим – по другой, – в поисках нарпитовских точек, и запальчиво обвиняли тех, кого подводила память, в том, что они «заелись».

И вот однажды кто-то ворвался в наш дом с воплем: «Ребята! В Мамоновке – сала навалом!!!» То был выходной день, и мы сразу сорвались с места, и попутка нашлась.

Тридцать километров – и вдруг «середь степу широкого» откуда ни возьмись возникли березки, лужайки, белые (а не саманные, грязновато-желтые, как у нас) мазанки, заборчики, цветы в палисадниках, запах парного молока и навоза, и такое милое и родное «му-у-уу!», и украинский говорок. Здесь, в этой Мамоновке, волшебным образом кончался Казахстан и начиналась Сибирь.

Мамоновка – сала и хлеба «навалом», и малосольных огурчиков, и масла, и меда!

Отведавши всех этих благословенных яств, сидели мы на травке, привалившись к какому-то заборчику, не в силах пошевелиться. А уже стремительно надвигались августовские степные сумерки, и уже пора было «подумать о ночлеге». Это значило – выйти на дорогу и искать попутку.

О, целинные попутки! Забуду ли вас? Поднимаешь руку. Машина тормозит. «Куда?» – «А на Кудыкину гору!» – весело бросаешь ты, уже залезая в кабину. И пусть гора эта – за синими лесами, за высокими горами, тебе все равно скажут: «Давай, залезай!» И тебя везут, и с тобой дружески разговаривают, и делятся с тобой заботами своими, и когда ты спрыгиваешь с подножки, просто говоришь «Спасибо!», и тебе машут рукой, и дарят тебе на прощанье широкую улыбку...

Вот такую попутку пошли мы ловить. Но ни одна машина не сворачивала на нашу дорогу. Уже тьма сгустилась кромешная, а мы всё стояли на дороге и с надеждой смотрели на дальний взгорок, где то и дело возникали огни фар, бесшумно мигали – и исчезали в ночи.

Шофер, пути которого, наконец, пересеклись с нашими, был радушен, сговорчив и весел: «Давай, ребята, грузись!» И когда загрузились и машина рванулась с места, дико и весело запрыгав по ухабам, мы поняли, отчего так хорошо нашему ангелу-спасителю: он был здорово под газом, наш ангел! Но мы были сыты – впервые за полтора месяца! – и оттого счастливы и бесшабашны, и оттого уверены, что просто не может с нами случиться ничего худого.

Спидометр упрямо показывал «100», мы стояли в кузове, вцепившись в борта и друг в друга, и подпрыгивали вместе с машиной, и ухали вместе с ней в пустоту. Ветер отчаянно свистел в ушах и рвал рот, фары беспощадно высвечивали каждый кустик полыни, каждый бугорок, каждую выбоину, каждого тушканчика, одиноко стоявшего столбиком у входа в свою норку, и мы мчались прямо на неправдоподобно огромную рыже-красную луну, а она все уходила и

уходила от нас...

...В один знойный, безоблачный день на стан ворвалась грузовая машина, и из нее выскочил какой-то механизатор: «Пожар! Ребята, хлеб горит!» Мы все были на току, перелопачивали и веяли зерно. «Быстро! Хватайте лопаты, ватники, у кого что есть!»

Хлеб горит!

В считанные минуты похватили свои ватники, лопаты, запрыгнули в бортовую машину – и помчались...

Кто не видел его, тот не знает, что такое степной пожар!.. Вернее, кто не слышал! А это – прежде всего, рёв! Ревущая стена огня, почти белого на ярком степном солнце, быстро двигалась к нам... Никому из нас не приходилось дотоле тушить степной пожар, но сама ситуация подсказывала, что надо делать. Растянувшись цепочкой по всему фронту огня, мы били по пламени ватниками и куртками, у кого что было, кто-то бил по земле лопатой или вскапывал и переворачивал огнем вниз комья земли, а потом их прибивал. День был жаркий, но ветреный, и с каждым новым порывом ветра стена огня стремительно подступала к нам вплотную, неся с собой запах горелого хлеба... С грохотом описывал круги раскаленный трактор, перепахивая вслед за нами землю...

Через какое-то время – кто знает, через какое? – вдруг раздался рев пожарной сирены!

Мы устало распрямились и посмотрели друг на друга, чумазых с ног до головы. И наш Д. утер свое доброе лицо щегольской фуражкой, еще час тому назад белоснежной...

А однажды ночью кто-то вбежал в наш дом с криком: «Ребята, выходите скорее, там – северное сияние!!!» Мы выскочили. На черном небе далеко-далеко колыхался и переливался яркими (как помнится, в основном зелеными) красками величественный занавес...

...Через несколько лет, осенью 63-го, у меня обнаружили множественное увеличение лимфатических узлов и положили на обследование в ЦНИРРИ (Рентгено-Радиологический институт; теперь он в Песочной, а тогда находился в городе, на улице Рентгена). И вот там, подробно расспрашивая о предшествующих заболеваниях и условиях жизни, то есть, собирая анамнез, врачи набрали на это «северное сияние». И сказали, что оно вполне-вполне могло быть толчком к моему заболеванию крови. Я, честно говоря, не очень верила в эту гипотезу: никто ведь не заболел, кроме меня. Но сейчас думаю, что не верила напрасно. Вспомнился и рассказ одного из героев моего очерка «[Семеро Николаев](#)» о том, как во время пребывания на острове, где до недавних пор располагался испытательный полигон, он облучился, тоже единственный из всей экспедиции. Да и неизвестны мне дальнейшие судьбы моих «соцелинников»...

А в пользу этой гипотезы говорит то, что я узнала, изучая этот вопрос уже сейчас:

«С [1949](#) по [1989 год](#) на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468[1] ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Были проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний (т. н. «НЦР» — неполные цепные реакции). Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в период с 1949 по 1963 годы на Семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на [Хиросиму](#) [1]. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиационное загрязнение всей восточной части территории Казахстана».

Уезжали мы домой 4 октября 57-го, а как раз незадолго до того, 27 сентября, был произведен особенно мощный взрыв. Так что теперь я знаю, чем мы любовались...

...В ЦНИРРИ мне назначили очень серьезный курс химиотерапии... Через несколько лет меня и мои медицинские справки посмотрела старый, опытный военврач (первая женщина – выпускница Военно-Медицинской академии), которую я знаю как «тетю Соню», из рода Абаевых, и сказала: «Хорошая ремиссия. Оч-чень хорошая ремиссия!» «Ремиссия» оказалась настолько хорошей, что вы вот даже читаете эти строки.)

...Итак, со «второй целины», 1957-го, мы уезжали 4 октября, ровно в тот день, когда был произведен «первый в истории человечества запуск искусственного спутника Земли» и началась «космическая эра». Но радость наша омрачена была мелкими житейскими огорчениями, как то, например, что мы ждали и так и не дождались бригадира, передовика труда, комбайнера Ш., который должен был подписать ведомость в бухгалтерии, и уехали, несолоно хлебавши, то есть не получив причитавшегося нам, пусть и копеечного, но вознаграждения за два с лишним месяца страды. И как то, что уже выпал снег, а нам предстояло ехать до железнодорожной станции 400 км в открытых машинах.

«Возможно, я неправа, – написала мне одна хорошая знакомая (поколением младше), которой я кое-что посылала в начале работы над этой книгой, – но мне бы хотелось, чтобы Ваше повествование шло оттуда. Не с высоты сегодняшних прожитых лет и сегодняшнего знания. А оттуда, изнутри. Но это Вам решать. Про пыльные бури я знаю. И Юрия Черниченко читала в Литературке. Но энтузиазм был. Радость была».

...Лишь много позже стали ясны последствия, к которым привела «целинная эпопея», – когда, впервые вспахав и засеяв богатейший чернозем, стали сеять пшеницу по пшенице, не давая землям отдохнуть «под паром», что истошило их и породило в итоге ветровую эрозию и зловещие «черные бури»... И энтузиазм был, и радость была, и ими пронизана вся моя целинная «баллада», идущая именно «оттуда, изнутри»... Но было бы безответственным романтизмом об этом умолчать. Как и о том, что всего несколько лет спустя случился в стране хлебный кризис...

Что же до «энтузиазма»... Мы, первые студотрядовцы, еще были одеты кто во что – ковбойки, сатиновые шаровары, кеды, ватники. Да, шаровары: женские брюки тогда еще не родились на свет, и я очень хорошо помню, как дивились на наши шаровары обитательницы то ли Кунгура, то ли Кургана, где сделал остановку наш эшелон. Это потом появилась военизированная форма, с нашивками, значками и прочими прибабасами. Это потом студотрядовцы ехали заработать. А мы работали... ну, не скажешь ведь – «во славу Божию», но и не считать же заработком те гроши, которые мы привезли с первой целины. Со второй – вообще ничего.

Уже сейчас, ища очерк Юрия Черниченко о «черных бурях», наткнулась на такой фрагмент одной его, давней уже, статьи:

«Мягко подошел московский состав — специальный поезд студенческого стройотряда. На одном из вагонов тянулось: “Курс — планета Целина!” Перрон заполнили высокие парни и девушки в зеленых целинках — племя младое и незнакомое. Не побежали к буфету и кранам, вообще не спешили, мороженое не заинтересовало их — большая очередь. Не было тут ни бород, ни гитар, ни битл-музыки, но появление этого племени принесло на вокзал чувство какого-то стеснения. Я было стал спрашивать — куда, зачем? Сдержанно, с превосходством живущих своим миром людей ответили: едут за Бийск. Что строить? Там скажут. Заработки? Видно будет.

Обычно это прекрасные работники, дисциплинированные и спаянные, и в совхозах им тем

охотнее сдают на аккорд объекты, что с ними никаких хлопот: автономны, как инопланетяне. Свои поварахи, свои бригады, свои певцы, а мороженое всех цветов, цен и вкусов их ожидает дома даже зимой. Но они тоже были целинниками, и подступало суетное желание что-то объяснить им насчет этой вот “планеты”, чтобы правильно поняли и не ставили в строку подгоравшие хлеба, людей с тюками (явно уезжавших) и томительный “хвост” у лотка с жидким фруктово-ягодным.

Особого любопытства, однако, с их стороны не было; нужное себе они видели. Прогулялись, посадили подружек, встали у открытых дверей — поехали. Подумать только, что выросли они после целины, что передача земли новому поколению людей (а передавать, по Марксу, нужно непременно “улучшенной”) нами уже осуществлена!»

...Одни мои давние друзья, можно сказать, друзья всей моей жизни, живут нынче на Яхтенной, недалеко от взморья. Когда Оля Абаева приезжает, повидать отца и дочь, из своей Греции, я у них бываю. Так вот, подходя к их дому, я издали вижу вывеску на углу: «Булка хлеба». И неизменно вспоминаю Петропавловск, где мы, уезжая домой, купили в дорогу белых пшеничных кирпичиков с неземного вкуса корочкой. Подойдя к продавщице, мы услышали, как кто-то сказал ей: «Мне булку хлеба!» Для ленинградского уха это был очевидный оксюморон: «Мне белый батон черного хлеба!»

Неожиданную переключку с этой темой я встретила в замечательной книге о Георгия Мицова «Зачем ты есть?» «Мы с матушкой, — пишет он, — застали еще это дореволюционное поколение, для которого хождение в церковь было так же естественно, как белый хлеб называть батонем. Ведь раньше хлеб был всегда черным хлебом, а батон — всегда белым».

Мое поколение ленинградцев-петербуржцев еще сохраняет эту традицию. Как и особое отношение к хлебу, пусть и не все из нас слышали о его сокровенном смысле... «Я долго не понимал, — читаю все у того же о. Георгия, — почему хлеб имеет приоритет перед вином и всем остальным. И не только потому, что сам голода не испытывал и не знаю, что это такое. Когда священник призывает Духа Святого, чтобы освятить Дары, они не сами собой освящаются, не его текстом. Это Дух Святой нисходит и Сам оживляет эти хлеб и вино. Этого нет в западной мессе. В “Дидахэ” очень хорошо было сказано: “Как вот этот хлеб, рассеянный по полям, был собран, перемолот и испечен, так и Ты, Господи, собери церковь Твою, единоверцев, здесь”. И тогда начинаешь понимать, что этот хлеб — не пища и не только символ. “Хлеб наш насущный даждь нам днесь...” Некоторые говорят: “Хлеб наш надсущный...” То есть, хлеб, который сверху сошел, хлеб, сошедший с небес».

А Кто сошел с Небес?..

У меня в доме икона Божией Матери «Хлебная» («Хлебенная») — на почетном месте, перед нею я принимаю по утрам святую воду с просфорой. И хотя бы ради нее я не могу оставить последнее слово за «новым поколением людей», которые «едут за Бийск», зачем — «там видно будет». А я, когда прохожу мимо этой забавной украинско-южнорусской «Булки хлеба», явственно ощущаю вкус пшеничных зерен, запах половы и солярки — и радуюсь, что всё это в моей жизни было. И что «с молодых ногтей», еще даже не подозревая, от Кого она изошла (сошла), впитала ту истину, что «не хлебом единым» жив человек.

Не хлебом единым...

Эта истина громко заявила о себе, едва мы вернулись с первой «битвы за хлеб»: уже 10 ноября 1956-го в Тридцать первой состоялось обсуждение только что опубликованной в «Новом мире» книги Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», с участием ректора ЛГУ, член-корр. АН

СССР Александра Даниловича Александрова, и автора романа, Владимира Дудинцева.

Но прежде произошли события, без упоминания о которых трудно понять, чем эта книга заслужила такое пристальное внимание.

Пишу я свое повествование с большими перерывами. «Совсем вскоре после возвращения из агитпохода (зимой 56-го) произошло без преувеличения эпохальное событие: публичное чтение закрытого письма ЦК КПСС», – записала я где-то осенью 2015-го и надолго отвлеклась на другие дела. А снова взялась за свой рассказ 25 февраля 2016-го, на Иверскую, это мне запомнилось. И вот – открываю давно заготовленную ссылку:

<http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt>. И читаю: «Доклад «О культе личности и его последствиях» (также известен как «секретный доклад Хрущёва на XX съезде КПСС»[1]) был зачитан Первым секретарём Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым на закрытом заседании XX съезда КПСС, состоявшемся 25 февраля 1956 года».

Ровно 60 лет назад, в совершенно другой системе координат, – и тоже на Иверскую! И в очередной раз – четкое до головокружения ощущение, что находишься в едином, живом, самодвижном потоке!.. Где времени нет.

С документом предполагалось «ознакомить всех коммунистов и комсомольцев».

Я не была ни коммунистом, ни комсомольцем, но университетские власти руководились несколько другими приоритетами, и к слушанию были допущены все. В какой именно день читалось это письмо у нас на факультете, не помню, но хорошо помню, что было это в солнечный морозный день и за окнами нашей Тридцать первой сверкала замерзшая Нева...

Как вспоминал один из очевидцев доклада на XX съезде КПСС, А. Н. Яковлев, «в зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шёпота. Никто не смотрел друг на друга – то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким. После окончания выступления председательствовавший на заседании Н. А. Булганин предложил прений по докладу не открывать и вопросов не задавать. Делегаты съезда приняли два постановления – с одобрением положений доклада и о его рассылке партийным организациям без опубликования в открытой печати».

Так было в гораздо более «высокой» аудитории, чем наша 31-я... Что уж говорить о нас... А потом мы с Тоней в ошарашенном молчании шли вдоль по заиндеветшей набережной...

Потом была колхозная стройка, потом – первая целина, а вернулись мы с нее... к Венгерским событиям...

Будапештское восстание, или, по другим источникам, фашистский мятеж, началось 23 октября 1956 г., закончилось – 9 ноября.

«Личное свидетельство обязывает», – говорил епископ Василий (Родзянко). Память 18-летней девочки сохранила лишь некие смутные картинки, но на них, без сомнения, наложились какие-то более поздние оценки, и я не рискую выдавать их именно за свидетельства. Но за одно свидетельство – ручаюсь. Совсем недавно В., человек, которому я доверяю абсолютно, рассказала о своем отчине, отбывавшем в то время срочную службу и командированном как раз в Будапешт. Бывший детдомовец, человек отнюдь не сентиментальный, он до сих пор иногда просыпается в кошмаре, вспоминая, как стрелял в безоружных людей...

В том же октябре разразился Суэцкий кризис, и до марта 1957-го мир жил на грани...

Маршал Булганин, Энтони Иден, Ги Молле, Моше Даян, Даг Хаммаршельд, Гамаль

Абдель Насер... Кто сейчас помнит имена этих людей, не сходившие в те дни со страниц газет? А ведь в их руках были судьбы человечества. Sic transit gloria mundi... Только и скажешь сейчас.

И на этом общем тревожном фоне 10 ноября 1956-го – обсуждение книги Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» на филфаке ЛГУ с участием ректора А.Д. Александрова и автора книги.

Но прежде чем о нем говорить, не могу не поделиться фрагментом речи бесконечно мною почитаемого Константина Паустовского на обсуждении книги в Центральном Доме литераторов:

«Совесь писателя должна быть в полной мере совестью народа. Дудинцев вызвал огромную тревогу, которая существует в каждом из нас. Тревогу за моральный облик человека, за его чистоту, за нашу культуру. Чем же было вызвано такое неоднозначное отношение к роману? Само по себе необычно уже название романа. “Не хлебом единым” – библейское выражение, которое встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит: “Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (гл. 4). Тем самым провозглашается духовная составляющая человеческой жизни. Недосказанность в названии “Не хлебом единым» позволяет читателю самостоятельно домыслить, чем же еще жив человек» (http://www.cult-and-art.net/prose/70635-o_romane_vladimira_dudinceva_ne_hlebom_edinyim).

С удивлением прочитала в Интернете, что многие «шестидесятники» ведут отсчет «оттепели» с романа Дудинцева. Да разве возможна была бы подобная речь, если бы «оттепель» уже не началась, и задолго до Дудинцева?.. Как и та атмосфера, в которой проходило обсуждение романа 10 ноября 56-го?..

Мы, филфаковские, имея уже опыт подобных собраний, заняли места заранее. Зал был переполнен, и выступления транслировали по радио в коридор, битком набитый публикой. Шло обсуждение семь часов, закончилось в 00.30!

«Публика свистит, топает ногами, кричит Александрову "долгой!"

— О какой демократии мечтаете вы, новгородская чернь, которая, как на вече, умеет только ногами и свистом заглушить оратора?

Свист и шум возрастают так, что никто, кроме вблизи сидящих, не слышит уже Александрова»

(<http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3644>.)

Как всё это выдержал ректор? У меня до сих пор стоит перед глазами его лицо, багрово-красное на фоне белоснежной шевелюры и белоснежных манжет на гневно взлетающих руках...

(Но к Александрову я еще вернусь...)

...«Оттепель» набирала обороты... 28 июля 57-го, перед самым отъездом на вторую целину, состоялся шестой по счету, но первый проведенный в СССР Всемирный Фестиваль молодежи и студентов. Я на нем не была, но мне взахлеб рассказывал о нем Юра А., журфаковец, там побывавший. И было от чего «захлебнуться»...

«На Московский фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи гостей из 131 страны, в пресс-центре были аккредитованы две тысячи журналистов. В то время в СССР слово «иностранец» было синонимом слов «враг», «шпион», за исключением разве что

представителей стран соцлагеря, но даже и к ним относились с подозрением. Любой иностранец сразу становился экзотикой. И вдруг на улицах Москвы появились тысячи людей со всех концов света, всех цветов и оттенков.

...Фестиваль состоял из огромного числа запланированных мероприятий и неорганизованного и неподконтрольного общения людей. В особом фаворе была черная Африка. Благодаря фестивалю возник КВН, трансформировавшись из специально придуманной передачи «Вечер веселых вопросов ТВ-редакции «Фестивальная». Дискутировали о еще недавно запрещенных импрессионистах, о Чюрленисе, Хемингуэе и Ремарке, Есенине и Зощенко, о входившем в моду Илье Глазунове с его иллюстрациями к произведениям не совсем желательного в СССР Достоевского. Фестиваль перевернул взгляды советских людей на моду, манеру поведения, образ жизни и ускорил ход перемен. Хрущевская «оттепель», диссидентское движение, прорыв в литературе и живописи – все это началось вскоре после фестиваля» (<http://www.opocuu.com/280711.htm>).

В последнюю фразу я бы внесла поправку – не «началось», а «углубилось и расширилось». Прорыв в литературе начался с романа Эренбурга... А еще раньше, в 53-м, была «Весна в ЛЭТИ»! Диссидентское же движение существовало задолго до фестиваля, и на обсуждении книги Дудинцева именно оно задавало тон...

А летом 1959-го открылась Американская выставка в Москве (<http://back-in-ussr.com/2014/02/amerikanskaya-vystavka-v-moskve-1959god.html>). Вот на ней я была! В тот год я вышла замуж, и мы ездили в Москву вместе с мужем. Из всего увиденного там больше всего запомнился... если можно так выразиться, незнакомый дотол «человеческий материал»: все как на подбор рослые, подтянутые, американцы выделялись какой-то непривычной пластикой и даже грацией, особенно негры. Скорее всего, они прошли особый отбор, но впечатление было сильное. Это потом уже понималось, что ведь Америка никогда не знала войн на своей территории, не знала голода и репрессий, вырубивших у нас «золотой запас» нации...

Сайт «Назад в СССР» (есть и такой!..) так оценил эти события:

«Американская Национальная Выставка в Москве 1959 года — второй шаг морального разложения строителей коммунизма, — первым можно считать Международный Фестиваль Молодежи и Студентов 1957 года» (<http://freedomcars.ru/wri/ussr.shtml>).

Не знают, куда зовут. Вот сейчас у них сайт... А, вернись время назад, назавтра же будут слушать на кухне «вести из-за бугра» сквозь радиопомехи, как слушало их некогда мое поколение... Потому что не будет никакой иной возможности знать, что на самом деле происходит не то что в мире, но даже в своей собственной стране... Равенство и братство только «силою берутся».

Vivant professores!

И теперь, закончив с «реальной жизнью», с поэзией и прозой студенческих лет, – самое время обратиться к нашим *Учителям Культуры*.

«Да здравствуют профессора!» Это строка из знаменитого университетского гимна, из которого теперь помню только самое начало:

Gaudeamus igitur,

*Juvenes dum sumus!*¹

– и еще какие-то строки, а когда-то знала если и не весь, то уж добрую половину точно. И именно знала: благодаря нашей латинистке «мертвый язык», вышедший из разговорного употребления еще в шестом веке, был наполнен для нас живым смыслом.

София Викторовна Полякова (1914 – 1994)

Ее имя естественным образом пришло на память после рассказа об «античных бдениях» в «Горьковке», прежде всех наших «корифеев». «София Викторовна Полякова (1914–1994), – как представляет ее «Википедия», – советский и российский филолог, византист, переводчик на русский ряда сочинений древнегреческих и византийских авторов».

Кажется, латынь у нас была первые два семестра (к сожалению, «река времени» поглотила, среди прочего, и мой вкладыш к диплому, где были поименованы все пройденные нами курсы и спецкурсы...).

Небольшой экскурс в историю:

«Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков индоевропейской системы. ...Исключительно велика роль латинского языка как языка народа большой и богатой культурной традиции в истории европейской и мировой культуры. ...Латинский язык претендует на универсальность. Языки мира «пестрят» латинизмами, любая научная терминология строится на основе латино-греческих терминоэлементов...».

В дальнейшей своей профессиональной жизни мне не раз приходилось иметь дело с терминологией самых различных научных дисциплин, и я могу «под присягой» подтвердить справедливость этих слов...

Но это теперь, с высоты своих седин, а в тот первый семестр мы были еще детьми и иногда и вели себя, как дети: шушукались, хихикали, и тогда, не меняя интонации, абсолютно невозмутимо Софья Викторовна роняла, как междометие: «Т-щ такая-то (такой-то), выйдите вон», и продолжала прерванную на полуслове мысль. Так было раз, и два, и, может быть, даже три, но не больше, потому что очень скоро стало ясно, что латынь, с ее плюсквамперфектом, герундиями, причастиями, падежами, склонениями, голыми руками не возьмешь. И это тем более стало ясно, когда дело дошло до переводов текстов из Юлия Цезаря, Августа, Вергилия, Горация, Овидия. Пришлось братья за ум – и не только из опасения тройки по предмету, лишавшей права на стипендию, но и из огромного уважения к нашей латинистке. И, когда в конце семестра я сдавала зачет, – услышала то, что меньше всего ожидала услышать из этих рафинированных уст: «Т-щ Н., где это вы так *насобачились*?!» («*Номо sum, humani nihil a me alienum puto*» – «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»☺.)

Не помню, в первом семестре или во втором, С.В. заболела: гуляла со своей собакой по замерзшей Неве и провалилась в воду. И вот мы решили ее навестить. Взяли в деканате адрес. Жила она где-то в районе Сенной, то есть, почти напротив филфака, и мы пошли прямо по льду: зачем обходить, когда можно просто перейти Неву? Такова молодость...

Надо было видеть ее всегда такое невозмутимое и несколько отстраненное лицо, когда, открыв дверь, она увидела нас...

«Софья Викторовна, – читаю в некрологе («Византийский Временник» за1994), – была

¹ Будем веселиться,

пока мы молоды!

прекрасным педагогом, процесс ее учительства не кончился в учебных аудиториях, а часто затягивался на долгие годы и продолжался у нее дома за вечерними чаями, собиравшими общество способных и заинтересованных студентов и выпускников». А мы, в 55-м, были еще слишком скованны, чтобы входить в личное, дружеское общение с преподавателями, как более поздние студенты.

Георгий Пантелеимонович Макогоненко (1912 – 1986)

Википедия: Видный советский литературовед, критик. Член [Союза писателей СССР](#) (с 1943). В 1934 году поступил в [ЛИФЛИ](#), через год — [филологический факультет Ленинградского государственного университета](#)), русское отделение которого окончил в 1939 году. С университетом же оказалась связанной вся его дальнейшая научная биография.

В 1939—1940 был участником [советско-финляндской войны](#), а затем и Великой Отечественной, в 1941—1942 работал редактором и начальником Литературного отдела Ленинградского радиокомитета. В сентябре 1944 поступил в аспирантуру ЛГУ и в январе 1946 там же защитил кандидатскую диссертацию «*Московский период деятельности Николая Новикова*». С января 1946 по 1983 работал на филологическом факультете ЛГУ. В 1955-м защитил докторскую диссертацию «*Радищев и его время*». С 1957 — профессором на кафедре русской литературы.

А вот другой, менее официальный, портрет:

«Макогоненко был красив, – читаю в статье «Витязь литературоведения» (http://www.ng.ru/subject/2012-04-12/1_makogonenko.html). И я могу это подтвердить! – Он умел приковать к себе взгляд собеседника самой своей «фактурой», осанкой, манерой говорить и одеваться (добавлю – белоснежными манжетами!), изяществом жестов. И это было всегда, постоянно, неизменно». Влюбленные студентки называли его «Левко Макогоненко», это прозвище приходило к нему с каждым курсом...

...Один из его коллег однажды парадоксально заметил: «Если вы хотите понравиться Георгию Пантелеймоновичу, то попросите его что-нибудь сделать для вас. Он это сделает и будет всю жизнь хорошо к вам относиться».

...Макогоненко был славен не только своими застольями «в мирное время» и тем, что постоянно подкармливал студентов, одалживал им деньги. Во время блокады, вспоминает Лидия Лотман, возвращаясь в Ленинград из фронтовых командировок, он «привозил микроскопические подарки женщинам-сотрудникам (сухарь, кусочек хлеба, конфету)». Словом, всегда и всюду помогал окружающим, чем мог».

Слава Богу, у меня хватило ума не влюбиться в блистательного Макогоненко (хотя бы потому, что меня никогда не привлекали красивые мужчины), но на третьем курсе, в 57-м, я записалась именно к нему в спецкурс. И выбрала (или она была предложена, не помню) тему «Пушкин и Батюшков».

Весной подошло время сдавать курсовую. Со страхом и трепетом шла я к дому на набережной Карповки, где жил Макогоненко... Подробностей никаких не помню, кроме одной: зачитывая ему свою работу, я произнесла слова, при воспоминании о которых филолог во мне до сих пор краснеет: «Так *выковывался* характер Татьяны». «Ну уж... выковывался!..» – ласково-снисходительно улыбувшись, сказал он. Так мне был преподан первый урок стилистики☺.

...А дом, где жил Макогоненко, стоял напротив, чуть наискосок, ...Иоанновского монастыря, для меня в ту пору – «терра инкогнита»... И я могу только гадать, что он думал, глядя на своего

величественного «визави»...

...С этих двух имен – С.В. Поляковой и Г.П. Макогоненко – я начала по той простой причине, что с ними у меня произошло хоть какое-то личное общение. Всех остальных, насколько помню, я видела лишь за кафедрой или за экзаменаторским столом. И лишь когда, уже сейчас, стала набирать в поиске, одно за другим, их имена, передо мной «открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна» (М.В. Ломоносов). Труднее всего оказалось сделать «выжимку» изо всего того, что в изобилии явил Интернет...

Из воспоминаний о все той же Софии Викторовне Поляковой:

«...она принадлежала к, увы, ныне поредевшему поколению начинавших перед самой войной петербургских филологов, отличительной чертой большинства которых было сочетание европейской образованности с поиском новых форм и методологий в науке, антиинтеллектуализм и примитивная ксенофобия ждановских постановлений застали многих из них уже сформировавшимися учеными и не смогли искалечить профессионально и нравственно».

Ни я, только что обрезавшая школьные косички, ни мои сокурсники ничего или почти ничего об этом, я думаю, не знали, но просто не могли не ощущать цельность и ...масштаб этих личностей.

Особенно потрясло меня одно небольшое самостоятельное «открытие»: Г.П. Макогоненко в 1912 году еще только родился (!), а два других «корифея» – Борис Викторович Томашевский и Виктор Максимович Жирмунский – в том же 1912 году уже закончили университеты: Томашевский – Льежский, Жирмунский – Санкт-Петербургский!

И я, рождения 1938-го, их еще застала, и не только застала, но и слушала! Дивны дела Твои, Господи!

Борис Викторович Томашевский (1890 – 1957)

«Он был историком литературы и лингвистом, теоретиком стиха и текстологом. В круг его научных интересов входили французская литература XVII — начала XIX века, русская литература XVIII века, новая русская литература, поэзия начала XX века и прежде всего Пушкин».

Не могу позволить себе ограничиться этой короткой справкой и не прибавить к ней вот что:

«Своеобразие Томашевского как ученого заключалось в том, что в нем соединялись филолог и математик. У него не было филологического диплома (степень доктора филологических наук он получил по совокупности работ только в 1941 году), но именно филология стала его основной специальностью. При этом математика помогла ему выработать метод исследования русского стиха, она же была его увлечением. Он любил музыку, увлекался и балетом, но часто отдыхал в мире цифр и формул. На письменном столе Томашевского рядом с рукописью монографии о Пушкине можно было увидеть листочки со сложными математическими вычислениями. «Это я определял координаты луны на сегодня», — несколько смущенно объяснял он. Математической точностью и ясностью мысли отличаются его текстологические и историко-литературные работы («ясность мысли» — эти слова в его устах были всегда высшей похвалой ученому). Ни одного положения он не высказал без аргументации, и если для этого приходилось вторгнуться в незнакомую ему область — делал это. Когда в 1953 году Пушкинский дом получил новые работы румынских исследователей о Пушкине, Томашевскому понадобилось две недели, чтобы сказать: «Интересные работы. Пришлось выучить румынский

язык». (Из статьи Я. Левковича. По изд.: Борис Викторович Томашевский. 1890–1957. К 100-летию со дня рождения. М., 1991. С. 5-16.)

Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971)

Как утверждают все источники, он был филологом необъятной, почти универсальной образованности: лингвист и литературовед... Обладая широкой эрудицией, академик Жирмунский стал одним из основателей отечественной школы сравнительно-исторического исследования мировой культуры.

Окончил Тенишевское училище и Петербургский университет (1912). Частным домашним учителем Жирмунского в школьные годы был историк Г. Я. Красный-Адмони. Преподавал в Саратовском и Петербургском университетах, Педагогическом институте им. А. И. Герцена и др. Работал в Институте языка и мышления им. Марра, Институте литературы АН СССР (Пушкинском доме), где руководил отделом западных литератур. Профессор кафедры германской филологии Ленинградского университета (с 1956 года). Трижды подвергался арестам (1933, 1935, 1941). В ходе кампании по борьбе с космополитизмом в 1949 году обвинён в еврейском буржуазном национализме и уволен из ЛГУ.

В 1949, во время кампании «по борьбе с космополитизмом», Жирмунский вместе с другими выдающимися учеными (Эйхенбаум, М. Азадовский, Г. Гуковский) был обвинен в пропаганде буржуазно-либеральных воззрений и изгнан из Ленинградского университета. Вернулся в университет только в 1956.

Павел Намович Берков (1896 – 1969)

Советский литературовед, библиограф, книговед, источниковед, историк литературы. Видный специалист в области русской литературы XVIII века. Член-корреспондент Академии наук СССР, иностранный член Академии наук ГДР. Так представляет его Википедия.

У нас читал XVIII – начало XIX века. А. П. Сумарокову, М. М. Хераскову, Д. И. Фонвизину, А. Н. Радищеву, Н. М. Карамзину, а также «малым деятелям» русской культуры того времени посвятил он всю свою жизнь как ученого. От всего его облика веяло академизмом, отчего запомнился он мне как маститый старец, хотя в годы моей учебы едва перевалил за 60.

Владимир Яковлевич Пропп (1895 – 1970)

Википедия: Русский и советский учёный, филолог-фольклорист. Получил мировое признание, является основоположником сравнительно-типологического метода в фольклористике, одним из основоположников современной теории текста.

...Одна приятельница моего сына, причастная к фольклористике, как-то с величайшим пиэтетом упомянула о Проппе. «Мы по его методике работаем». «А я у него *училась!*...» – сказала я. «О!.. У самого Проппа!»

Очень хорошо помню какой-то удивительно благолепный его облик и мягкий, спокойный тембр голоса. Седую бородку с чуть зеленоватым почему-то отливом (Википедия дает его без бороды, но я ее помню!..)

«Время еще отделило нам, – пишет учившийся на 10 лет позже меня Михаил Веллер ([Моё дело](#)), – яств с пиршества русской филологии. Мы узнали о масштабе и существовании Проппа, и одновременно узнали, что легендарный Пропп еще жив, и седенький гном с горящими глазами еще прочитал нам в первом семестре треть курса по русскому фольклору».

Григорий Абрамович Бялый (1905 – 1987)

Советский литературовед, литературный критик, специалист по истории русской литературы 19-го века. Автор книг о творчестве Короленко, Тургенева, Гаршина.

Университетские конспекты, к сожалению, у меня не сохранились, за одним исключением: общей тетради, которая открывается красивой надписью: «ДОСТОЕВСКИЙ (спецкурс)».

В большинстве своем наши преподаватели читали с кафедр, возвышавшихся над нами, простыми смертными. А профессор Бялый читал свои лекции, расхаживая взад и вперед по проходу между двумя рядами столов, не помню уж, что это была за аудитория, кажется, 12-я.

Поэтому он и запомнился очень ярко – стройный, невысокий, какой-то легкий, с волнистыми седыми волосами, говоривший негромким, но чрезвычайно выразительно интонированным голосом. До сих пор слышу его: «Кто я? ПРАВО имею – или я ТВАРЬ дрожащая?» Это о Раскольникове, замыслившем свое «арифметическое» убийство...

На этот спецкурс, да и вообще на лекции Бялого (он ведь читал конец 19-го века, в том числе и Льва Толстого, с его «ролью личности в истории», о чем тогда, во второй половине 50-х, уже (но и пока...) можно было говорить без опасений), толпами приходили с других факультетов, особенно с истфака. Они выстраивались вдоль стены и даже усаживались на подоконниках...

За минувшие десятилетия не раз я брала в руки эту тетрадь и всё думала: «Надо бы это перепечатать!..» Но так и не собралась, а теперь уж – ни сил, ни времени. Одно место, заложенное когда-то, все же приведу:

«“Ко всему-то подлец человек привыкает!” Он двояко реагирует на страдание – сострадание и такое же безграничное презрение, в неизреченной подлости переносящее свою нищету.

Это один из главных аргументов Достоевского. Самый высокий гуманизм, доведенный до психологической крайности, может превратиться в полную противоположность.

Человеколюбие, доведенное до безграничности, может и должно переродиться в презрение к тем людям, ради которых он идет на борьбу с кровавым строем».

Борис Иванович Бурсов (1905–1997)

Доктор филологических наук (1951), профессор Ленинградского университета (1948–1966) и Ленинградского педагогического института им. Герцена (1966–1997). Основные работы посвящены творчеству А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М. Горького.

Автор сенсационного романа-исследования «Личность Достоевского», ставшего интеллектуальным бестселлером в 80-х годах.

На четвертом курсе под впечатлением недавно прослушанного спецкурса Бялого я записалась в спецкурс Б.И. Бурсова под названием: «Портрет молодого человека 19-го века». Каждый волен был нарисовать этот портрет на примере того или иного литературного героя. Я выбрала Родиона Раскольникова, и на два года погрузилась в мир Достоевского: я и диплом по Достоевскому писала, только в другом ракурсе. Тема была такова: «Город и люди. Фон романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”».

Я не была примерной и особо выдающейся студенткой. Позволить себе не получать стипендию, то есть, идти на троечках, я не могла, но во многом выезжала просто на своей памяти, позволявшей наспех прочитать какие-то конспекты за ночь перед экзаменом и получить четверку, а то и пятерку. Не то было с дипломом. С уважением смотрю я сейчас на общую

тетрадь в клеточку образца 50-х годов, плотно исписанную на каждой строчке... На список использованной литературы – это ж надо было столько пропахать! В «Горьковке», в «Публичке» на Садовой, в БАНе...

...В Рождественские дни 2014 года я получила удивительное письмо от некоей Лидии Готовой, прочитавшей мой очерк [«Надежды маленький оркестрик...»](#): «Здравствуйте, Людмила! Я – сельская учительница. Работаю в Озерской школе Бутурлиновского района Воронежской области. Собираю материал о жизни своего земляка Бориса Ивановича Бурсова. К сожалению, в Воронеже не было издано ни одной книги по литературному краеведению, где бы упоминалось его имя. Это несправедливо. Исчезла с лица земли и деревня, где он родился. ...Пишу Вам, потому что Вы посвятили одну из своих статей ([Свете Тихий](#). – она помещена во второй части этой книги) его светлой памяти. Может быть, Вы сможете мне помочь. Я буду рада любой информации».

«К сожалению, – написала я ей, – о Борисе Ивановиче Бурсове сказать, в дополнение к тому, что Вы и так знаете из Интернета, мне практически нечего. Он был руководителем моей курсовой работы на тему "Портрет молодого человека в литературе 19-го века" (4-й курс) и дипломной работы на тему "Город и люди в произведениях Достоевского". Мое взаимодействие с ним память почти не сохранила (более полувека уж прошло), помню только общее светлое впечатление от этого умного и деликатного человека с простым крестьянским лицом...» Но кое-чем я ей все же помогла: когда я писала диплом, дважды была у Бориса Ивановича на консультации: в «писательском доме», что в Конюшенном переулке, где он жил, и на даче, в Комарово (на Комаровском кладбище он и покоится...). Дала ей некоторые ссылки...

И получила в ответ некоторые сведения, которые, быть может, неизвестны официальным биографам проф. Б.И. Бурсова: «Людмила! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Ваше письмо убедило меня, что имя Бориса Ивановича не должно быть забыто на его родине. Он был из обедневшей семьи, его родители не умели читать. В Новоселовке жил солдат, который имел небольшую библиотеку, он давал книги будущему литературоведу. Борис зачитывался Пушкиным. Так книги изменили судьбу крестьянского мальчика. Об этом я рассказываю своим ученикам».

Еще одна сквозная нить, так неожиданно протянувшаяся от весны моей жизни к поздней осени...

Игорь Петрович Еремин (1904 –1963)

Советский литературовед, исследователь древнерусской и украинской литературы.

С 1938 – профессор ЛГУ. В 1957 – 1963 был заведующим кафедрой русской литературы филологического факультета ЛГУ. Известен как исследователь [«Слова о полку Игореве»](#).

«Невысокого роста, неброской внешности, с темноватым, как на иконах, лицом и светлыми серо-голубыми глазами», – пишет о нем одна из его учениц. Да, всё так, сразу вспоминается это лицо, хоть и виденное в последний раз более полувека назад.

А было это на защите дипломной работы... Игорь Петрович сидел за председательским столом, спиной к окну, и, читая свои тезисы, время от времени я вскидывала глаза на катившую за ним свои глубокие воды Неву...

Лучшее послесловие к университетской главе моей жизни, чем вот этот, в хорошем смысле, пассаж из книги Михаила Веллера «Мое дело» (о нем я поминала чуть выше), трудно и представить:

«Коллеги, – с тонированной академичностью обращались к нам профессора. С самого первого курса...

Невозможно вообразить, чтобы преподаватель обратился к студенту на «ты», или повысил голос, или сказал что-то грубое.

...В дверях седой профессор пропускал семнадцатилетнюю студентку вперед, и это было нормально.

Невозможно вообразить, чтоб даже старшекурсник обратился к преподавателю-аспиранту на пару лет старше себя не по имени-отчеству. Невозможно вообразить, чтобы в присутствии студентов, в официальной обстановке, сто лет как приятели профессора обращались друг к другу по имени и на «ты»: такое было только вне службы, вне публики.

...С восемнадцати лет я не ходил ни на одну демонстрацию, ни на одно публичное собрание и шествие. Ленинград был, конечно, люлькой трех революций, но Гвардии Санкт-Петербургский Университет (в Ленинграде это звучало не то что сейчас!) эти мероприятия мягко игнорировал. Ректором был академик Александров, и его оборонная значимость охраняла его старую академическую демократичность. Желающие — пусть идут, а гнать — никогда! (Прочие вузы шли сквозь город полдня приказными колоннами!)

(...Прочитав это, я как-то совсем по-новому увидела багрово-красное на фоне белоснежной шевелюры лицо ректора и его гневную отповедь разбушевавшейся публике на обсуждении книги Дудинцева: «О какой демократии мечтаете вы, новгородская чернь, которая, как на вече, умеет только ногами и свистом заглушить оратора?»...)

«В факультетской читалке и университетской библиотеке (четвертое хранилище страны) давали Ницше! Шопенгауэра! И Спенсера! В то время!!!

Если ты самостоятельной точкой зрения возражал преподавателю — он расплывался: это был комплимент — его студент думал! его студент интересовался и въезжал в предмет!

Вольнодумство поощрялось. Разномыслие поощрялось. Любые выходы за пределы и границы программы вызывали у преподавателей вздох: можно погулять за забором, отвести душу и поточить лясы на любимые темы.

Советские литературно-идеологические догмы не оспаривались — игнорировались.

Это был — оазис. Академия в платоновском смысле».

Было время...

*...прошлое как прошлое — то есть непонимаемое,
абсолютизированное, не претворяемое в настоящее,
— только груз, только идол, яд, отравляющий организм
своим собственным разложением*

*Мы очень часто идем во тьме, и тьма эта является
результатом помрачения нашего ума, помраченности
нашего сердца, помраченности наших очей,
и только когда Сам Господь прольет Свой свет
в нашу душу, в нашу жизнь, мы можем вдруг
увидеть, что в ней дурно и что правильно*

Митрополит Сурожский Антоний

Пишется все это, повторяюсь, с большими перерывами, три года! Не раз я отступалась: то ли сил нет, то ли воли Божьей?.. Но сейчас отступить уже некуда: слишком далеко зашла, чтобы бросить. В то же время дошла я до той «главы» своей жизни, жизни «плохого хорошего человека, без Бога, а, значит, и без царя в голове», которую так хотелось бы переписать заново, начать ее «с чистого листа»! Детство, отрочество, юность – тут еще светло, и так хочется сразу, *минуя взрослую жизнь*, перейти к очерку «Свете Тихий», написанному в первые же дни после Крещения. Как бы перекинуть мостик от «я» молодых дней, еще не помраченного грехом, от чистого горения тех дней, когда я писала диплом по Достоевскому, – ко мне, обновившей потемненную за взрослую жизнь душу в Крещении!..

Увы. Так не бывает.

Я плохо прожила свою жизнь, то, что называется «личной жизнью». Так жить не надо. Но об этом будет разговор дальше, здесь же я постараюсь «увидеть то, что было правильно», то есть то, чем жила не в личной, потаенной тьме, а как «член общества». И сразу, с уверенностью, скажу: не хлебом единым. Не мещанским уютom – да у меня на него никогда и денег-то не было. Читала, смотрела и слушала то, что читал, смотрел и слушал весь «мыслящий тростник» моего времени. Работать умела и любила.

Кто-то должен!..

В моем дипломе об окончании филфака Ленинградского Университета в строке «специальность» написано: «филолог, учитель русского языка и литературы». Под конец обучения мы даже проходили педагогическую практику (хотя, насколько я помню, предмет «педагогика» как таковой мы не изучали), а по окончании нас ждало распределение в средние школы по всему Советскому Союзу. Я же к тому времени (еще на четвертом курсе) вышла замуж, мужу, хотя он и был старше на два года, еще год предстояло учиться в Технологическом институте, так у него сложилось, и мне был предоставлен свободный диплом.

Мой свекор-журналист, имевший, в силу своей профессии, широкий круг друзей и знакомых, составил мне протекцию в одно научно-техническое издательство, где я и проработала следующие 29 лет.

И сейчас я вижу за этим явный Промысл Божий, тайную заботу обо мне: хорошо зная меня (то, что я Его еще не знала, совершенно неважно) как создание Свое, Он знал и то, что меня необходимо поставить в какие-то внешние, дисциплинарные рамки. Я ничуть не сожалею о том, что прожила свою профессиональную жизнь так, как прожила (да и живу по сей час),

но сегодня очень хорошо вижу, что отпущенное мне Богом реализовала не более чем на две трети. Не думаю, чтобы в этом кто-нибудь был виноват, кроме меня самой: слишком часто и многое я делала с наскоку, на авось, слишком полагаясь на свою память, тогда и в самом деле хорошую: то, что мне было интересно, делала быстро и хорошо, а неинтересное – часто кое-как... Мама за моими уроками не следила, только «по факту» двойки или замечания в дневнике принимала крутые меры... «Способна, но неусидчива», – такой вердикт вынесла мне в характеристике по окончании школы классный руководитель Елена Дмитриевна Нырковская, и, хотя тогда я на нее обиделась, но это была чистая правда.

Все это я говорю исключительно ради того, чтобы было понятнее, в чем же заключался Промысл, определивший меня в издательские работники. Дело в том, что издательство – это не только нечто творческое, это производственная организация, с договорными, редакционными и производственными портфелями, жесткими графиками чтения рукописей и корректур, с годовыми и месячными планами выпуска, тиражей в миллионах листов-оттисков, с книжной экспедицией, складами, типографскими базами и т.д. Каждый месяц я обязана была сдать в плановый отдел так называемую рапортничку, отразив там время, потраченное на рецензирование рукописей, плановых или самотечных, редактирование, корректуру, сверку, сигнальные экземпляры и т.д. Работа моя мне нравилась, и я дорожила своим добрым именем.

Эти производственно-дисциплинарные навыки очень пригодились мне и дальше, чем бы я потом в своей жизни ни занималась, а занималась я, уйдя в перестроечное время из издательства, многим и совсем не всегда творческим. Так что Господь наш Иисус Христос знал, что делал, определив меня не в Пушкинский дом, хотя была и такая перспектива, через того же свекра, а в издательство.

Но и это еще не всё. Хотя было оно (оно живо и сейчас, но совсем в другом качестве, чем когда-то...) научно-техническим, но в целях популяризации знаний была создана редакция научно-популярной и научно-художественной литературы, где я и подвизалась. Поскольку предметом изучения были природные стихии, то и авторы в большинстве своем изучали их не в кабинетах, а в экспедициях, о чем и рассказывали потом в своих книгах. И знакомство со всеми этими людьми, людьми дела и мужества, – как личное, так и опосредованное, через книги, отечественные и переводные, – оказалось для меня еще одним благодеянием Божиим, особенно в 70-е – 80-е годы, период безвременья, когда художественную литературу заполнил расслабленный, рефлектирующий герой...

А как раз в те годы был бум интереса к арктическим и антарктическим экспедициям, истории покорения полюсов Земли, географических открытий, изучению Мирового океана и «пятого океана» – воздушного, теориям дрейфа континентов и т.д. Как я услышала позже от одной своей знакомой, психолога по профессии, для многих эти наши книги были источником «кислорода»... И, как выяснилось уже совсем недавно, отец моего батюшки (тоже, кстати, учившийся, хоть и много позднее, чем я, на филфаке, только на отделении журналистики) собрал целую библиотечку наших книг, и я рада была пополнить ее книжкой «Королевство приливов», бывшей у меня в двух экземплярах.

Кстати об Университете... Первые полтора года я исполняла обязанности секретаря редакционного отдела. Потом ушла в декрет, а когда вернулась, на моем месте был уже другой человек, и меня «повысили», переведя на должность младшего редактора. Сейчас, в компьютерный век, сложно даже объяснить, что это была за должность. Ну, самое понятное – сличать перепечатанную после редакторской правки рукопись с оригиналом, готовить т.н. «дубликаты заголовков», обращать внимание редактора на пропущенные ошибки. Этим я занималась с год. А потом случился неожиданный «карьерный взлет». Наш новый директор, человек творческий, любил организовывать доклады. И однажды мне было поручено сделать доклад по книге немецкого ученого Ф. Бааде «Соревнование к 2000 году» (1960), где он

утверждал, что к 2000 году население Земли возрастет до 6 млрд. (с 2, 5 млрд.). Сегодня оно, кстати, превысило 7 млрд. У меня до сих пор сохранилась школьная тетрадка с этим докладом. Доклад мой произвел на директора столь сильное впечатление, что он, не скрою, к удивлению многих, перевел меня из младших редакторов сразу в старшие, минуя должность просто «редактора». Вот что такое умение работать с источниками! Не мне *vivat*, не мне: *vivant professores!*

Редакционный отдел располагался в трех комнатах, довольно больших, но заставленных столами: в каждой сидело по 10-12 человек, включая заведующих редакциями, кои принимали авторов прямо здесь; здесь же редакторы работали с авторами, когда все три стола, стоявшие для этой цели в коридоре, были заняты. Прибавим еще бесконечные телефонные звонки, и деловые, и «по личным вопросам»: в те времена еще мало у кого дома были телефоны, и все «личные вопросы» решались у всех на слуху, так что все жили одной большой семьей☺ Зато в такой обстановке вырабатывалось умение отключаться от внешних шумов. Другой вопрос – какой ценой.

Совсем недавно вспомнился один эпизод из тех времен. Раз в год собирался Редсовет, на котором утверждался т. н. темплан, то есть, тематический план изданий на год. Из разных городов и институтов съезжались ведущие специалисты и утверждали или, наоборот, отклоняли заявки на те или иные книги. Нас, редакторов, тоже туда приглашали. И как-то раз на обсуждение была вынесена заявка на издание монографии под названием «Снежность земного шара». Предложенный термин вызвал дискуссию: а что это вообще такое – «снежность»? И тут встал Д., климатолог мирового уровня, и сказал: «А я знаю, что такое снежность! Это “с” плюс “нежность”!»

По всему своему облику старый холостяк, он один миг нашел ответ. Снежность – это «с» плюс нежность... Всё, и боле ничего.

«Сегодня сделала для себя маленькое открытие, – записала я несколько лет назад: – Как утверждает сайт “Вера, Надежда, Любовь”, апостол Иоанн – “покровитель авторов, редакторов и издателей”... Неужто он покровительствовал мне и в далекие мои издательские времена, когда я о нем только слышала, и не более того?.. Сейчас, когда мне известно понятие врученной каждому из нас харизмы, я могу привести эти слова, не опасаясь упреков в нескромности».

«Ничего себе, харизма! – скажет кто-то. – Всю жизнь редактировать чужие книги!..» Но, как сказал когда-то Вольтер, «прекрасная мысль теряет всю свою ценность, если она дурно выражена». Если в художественном произведении это эстетическая потеря, то в научно-популярном жанре на первом месте – смысл, и нечеткость формулировок сводит на нет усилия автора донести свои мысли. Кроме того, авторы наши, в отличие от профессиональных литераторов, писали свои книги урывками, в редкое свободное время, а иногда и что называется «на коленке», прямо в поле, в палатке, чаще всего не имея возможности дать своим запискам отлежаться перед сдачей в издательство и выловить неточности, повторы, длинноты, перепроверить даты, имена и т.д. Это всё было на нас, редакторах.

«Кто-то должен!» – так назвал одну из своих книг Даниил Гранин, скончавшийся, на 99-м году жизни, как раз в те дни, когда я размышляла обо всем об этом...

Кто-то должен!

«Здравствуй, это я!»

«Было время, проводили ночь в очереди у дверей книжного магазина, чтобы подписаться на собрание сочинений Чехова, а теперь мало кому нужные книги устаревают, не успев выйти в

свет; было время, сходились на площади слушать поэтов, а не попсовых идиологов; было время, выстаивали часы на морозе, чтобы попасть на выставку живописи; было время, писатели только намекали на важные вещи, не сомневаясь, что читатель-единомышленник умеет читать между строк и восполнять недоговоренное». Так пишет игумения Феофила (кстати, моя ровесница, всего на год младше) в своей книге «Рифмуется с радостью» (http://www.feofila.ru/books/rifm_s_radost_ws.htm#_Toc307899176).

И бегали, добавлю, по задворкам, прослышав, что где-то, в каком-то ДК, «дают» «Мольбу» (1967) Тенгиза Абуладзе или... «Тридцать три» (1965): даже этот невинный, казалось бы, фильм не пускали первым экраном.

Кто-то хочет «назад, в СССР», кто-то – как, например, автор статьи «Доброе, злое советское кино» (<https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/dobroe-zloe-sovetskoe-kino.2218/>) – снисходительно, с непонятной высоты называет *советским* все, что выходило на экраны в советское время. Прекрасно ответил на это в своем комментарии некий Василий К.:

«Хочется заметить, что мы любим шедевры советского кинематографа именно потому, что они по сути НЕ СОВЕТСКИЕ. И весьма странно тосковать по советской эпохе, ссылаясь на эти фильмы. Все равно, что тосковать по эпидемии чумы, вспоминая подвиг врачей, пытавшихся спасти хотя бы кого-то. Простите за цитату из неприятной нам всем советской школьной программы, но она в данном случае наиболее точна: эти фильмы были не ОТРАЖЕНИЕМ и не ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЕНИЕМ советской эпохи, они были ЛУЧОМ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ победившей безбожной идеологии. И за это мы их любим. И ищем в них крупинцы той правды, которой нам так не хватало, когда все вокруг было пропитано ложью, а осмелившегося открыть рот ожидала жалкая участь. В лучшем случае – изгнание. В худшем – постоянные преследования, голодная смерть или тюрьма».

«Баллада о солдате» (1959)

«Друг мой Колька» (1961)

«А если это любовь» (1961)

«Девять дней одного года» (1961)

«Здравствуй, это я!» (1965)

«Айболит-66» (1966)

«Доживем до понедельника» (1968)

«Андрей Рублев» (в 1969-м – на Каннском фестивале, а у нас в прокате появился лишь в декабре 1971-го)

«Белорусский вокзал» (1971)

Ни один из этих фильмов я сейчас не пересматривала и не знаю, как оценила бы их сегодня, но вряд ли случайно именно они «нарисовались» в моей памяти по прочтении той статьи (сейчас я только нашла и проставила даты их создания, это важно) под объединяющей рубрикой – «Здравствуй, это я!» В том и была их пленительная новизна, что, наконец-то, экран обращался не к советскому народу, а *лично к тебе*. «Здравствуй!» – «Ну, здравствуй, здравствуй! Это ты?» – «Да, здравствуй, это я!»

...Было время, когда, при не весьма высоких зарплатах, интеллигенция солидную их часть

отдавала на журнальные подписки. «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Октябрь», «Иностранная литература», позднее – «Век XX и мир»... Это был хлеб наш насущный... У меня до сих пор хранятся так называемые «вырывки», то есть, наиболее интересные публикации, вынутые из журнального блока... Но один номер, в серо-голубоватом картонном переплете, я сохранила целиком. Номер 11 за 1962-й «Нового мира», а в нем – «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Прочитав эту повесть, Анна Ахматова сказала Лидии Корнеевне Чуковской: ««Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть – каждый гражданин из всех двухсот миллионов граждан Советского Союза». Зайдите в Википедию, выберите там статью «Один день Ивана Денисовича», окунитесь в то непредставимое уже сейчас время...

...Было время, когда собирали огромные аудитории «властители дум»: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, «божественный кореш»...

Однажды я попала на поэтический вечер Андрея Вознесенского... «Под распарившимся Парижем // Ленин р-режется в городки!» Это было у него абсолютно искренне, так же, как и вот это: «Я прошу вас, товарищ ЦК, я не знаю, как это сделать – если память вождя горяча – уберите Ленина с денег!»... (Сейчас зашла в Интернет, чтобы проверить свою память, а там – «Я не знаю, как это сделать, Но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег, так цена его высока!» Возможно, это какой-то переработанный автором вариант, но мне запомнилось именно так, как я сказала. Это гораздо энергичнее. Не говорю о содержании – сейчас, когда мы столько узнали, трудно «себя под Лениным чистить», – только о форме.)

На тогдашних советских дензнаках, кажется, сторублевках, был изображен Ильич... Это было время, когда Ленин олицетворял все то хорошее, что было в советской власти и было искажено Сталиным и иже с ним.

А в 1981-м тот же Вознесенский молился вместе с Марком Захаровым перед показом рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова... Пройдя за минувшее время, вместе со всеми нами, непростой путь.

«Недавно по ТВ – Окуджава, одна из последних записей, – записала я в своем дневнике «Приветствовать восход» (<https://azbyka.ru/parkhomenko/privetstvovat-vosxod.html>) – Вспомнилось вдруг, с каким раздражением в тяжелейшие постперестроечные годы, когда не каждое утро знала, чем буду кормить подростка-сына, воспринимала я и этого человека, и всех “иже с ним”, кто приохотил нас когда-то ездить на синих троллейбусах за туманом и за запахом тайги. А теперь смотришь записи тех лет – и видишь святые лица слушателей... Кто-то из поэтов сказал про Ахматову что-то вроде: “В России Бога не было. Ахматова была”. Может быть, и так. Но с 60-х годов эта Богозаместительная миссия безраздельно перешла к Окуджаве. Когда сейчас я смотрела на этого старого, печального человека, уже занесшего душу на порог (“Скоро увижу маму свою, красивую, гордую и молодую...”), – так явственно ощущалась в нем исполненность предназначения, и его самого, и его поколения. И святое Крещение, принятое на одре смертельной болезни и перенарекшее Булата в Иоанна, подвело под этой миссией прекрасную черту...»

Сейчас многое из того ниспровергающего времени видится по-другому, все чаще сегодня, на достаточно высоком, и мирском, и церковном уровне, звучит слово «очернение». Не буду искать свои слова несогласия с этим словом. Зачем, если до последней буквы согласна с игуменией Феофилой (Лепешинской), тоже «человеком Церкви»:

«Соввласть, старательно и беспощадно пропалывая дореволюционную историю, вымела мыслителей, сгубила духовную, религиозную культуру, уничтожила цвет нации, насадила хамское презрение к прошлому. Б. Васильев в итоговой книге, анализируя большевистскую эпоху, делает несколько неожиданный вывод: нами 70 лет правили оккупанты. В пору

работы над романом «Были и небыли» он задался целью выделить характерные явления, сопровождающие иноземное иго; специально созданный в Болгарии, стране, пережившей кровавый опыт турецкого владычества, семинар историков сформулировал эти признаки: 1) геноцид против коренного населения, 2) поголовное уничтожение национальной элиты (дворянства) и 3) унижение основной религии, церквей, монастырей и священников. Татаро-монгольское иго, в отличие от турецкого, этим приметам не соответствует, а вот коммунисты вполне преуспели в покорении и истреблении собственного народа.

Нынешние 70 – 75-летние, конечно те, кто *мыслил и страдал*, не сподобились «посетить сей мир в его минуты роковые»: трагедии, равные революции, великой войне и массовым репрессиям, их миновали: «какая у меня биография, – пишет С. Говорухин, – я не воевал, не сидел в сталинских лагерях, не покорял Джомолунгму, не был героем труда»; из дальних событий людям этого поколения вспоминается разве что смерть тирана, разоблачение *культы*, полет Гагарина, танки в Праге, а из ближних ГКЧП и баррикады у Белого дома в 1990* году. Но, как граждане СССР, они стояли перед проблемами, которых совсем не знали на Западе: под гнетом тотальной лжи не поддаваться массовому оглушению и сохранить внутреннюю свободу; испытывая давление всеобщего парализующего страха, противостоять душевной деформации, отказаться быть по-волчьи и, по выражению О. Табакова, не стать Молчалиным: «знать больше многих и не иметь возможности сказать об этом открыто – тяжкая душевная ноша».

На противном ветру...

Не могу сказать, чтобы какие-то особо «глухие тайны [были] мне поручены», но как «работник идеологического фронта» я была обязана не допускать идеологически невыдержанных высказываний и хранить верность «Перечню сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати».

Каждый месяц к нам в издательство приходил цензор, знакомил нас, редакторов, с новыми пунктами Перечня и устраивал «разбор полетов», то есть, допущенных ошибок.

Один только факт из моего опыта общения с цензурой:

Три года спустя после первого Дня космонавтики (12 апреля 1962-го) я редактировала перевод книги польского писателя Ольгерда Волчека «Тайны, похищенные у неба». В Перечне, среди прочего, был строго оговорен порядок получения разрешений на ту или иную книгу в том или ином ведомстве соответствующего профиля. И вот верстка книги Волчека была послана в Москву, в... не помню уже, как называлось это «соответствующее» ведомство. И вдруг меня вызывают в Горлит (он тогда находился в Доме Книги), и цензор М. говорит: «В Москве держат. Не знаю пока, почему. А у вас там ничего нет про погибших космонавтов?» ... Как говорится, минута молчания. И, про себя: «Спасибо, что сказали. Не знала...»

Цензоры – знали. Это мы, «простые советские люди», знали только то, что нам давали знать: Комаров, Волков, Добровольский, Пацаев... И вот сейчас я вдруг решила узнать, что же было на самом-то деле. И просто набрала: «погибшие советские космонавты». И выпала мне ссылка на большую статью, опубликованную совсем недавно, к 52-й годовщине первого полета человека в космос (<http://uvlecheniehobby.ru/viewtopic.php?f=16&t=88...>)

«К сожалению, – читала я, – мертвых героев-космонавтов гораздо больше, чем хотелось бы... И. к еще большему сожалению, имена их человечеству неизвестны. Почему? Потому что большинство их было ДО Гагарина. Советское правительство умалчивало о подвиге этих людей — дабы быть первыми в благополучном отправлении космонавта на орбиту. Сейчас, когда

* Правильно – в 1991-м.

открываются архивы и независимые исследователи делают свое благородное дело в возвращении засекреченных имен, мы можем потихонечку узнавать правду. Вот несколько историй, связанных с погибшими, но неизвестными космонавтами (всего погибших — по разным данным — насчитывается около сорока человек)». Далее следуют эти истории...

...Я не была близка к диссидентским кругам, но Университет вложил способность к анализу и свободному суждению, а одного этого было достаточно, чтобы видеть ложь и фальшь Системы, особенно на моем, редакторском, месте. Я привела здесь только один, казавшийся мне наиболее красноречивым, пример тому — запрет на какое-либо упоминание о гибели почти сорока человек!.. И, многолетним кляпом во рту, — «подписка о неразглашении», взятая с членов их семей...

Одна моя близкая знакомая, по разнице лет не заставшая это время в сознательном возрасте и потому судящая о нем больше по хорошему (которого и в нем все же было немало), прочитав эту статью, очень огорчилась и не советовала ее помещать: стоит ли бросать тень на этот всеми любимый праздник — День космонавтики?.. Тень бросать, именно из соображений тени, может быть, и не стоит, но... закрывая глаза на такие неудобные факты, мы перестаем понимать, почему же все-таки советской власти история указала на дверь...

И когда для всех нас началась другая, неслыханная ранее жизнь: броские статьи на неприкасаемые до тех пор темы, оглушительные разоблачительные выступления, встречи с публицистами и целыми редакциями газет и журналов — меня подхватило т.н. ветром перестройки. Впервые за всю предшествующую жизнь мне показалось, что что-то от меня, наконец, зависит. И я ушла, с распухшей от благодарностей трудовой книжкой, из своего издательства, этого недавно еще родного дома, с его профкомом, партбюро, СТК, досками почета, собраниями, перекурами, чаепитиями, — чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Система лишилась одного из своих винтиков, а я прыгнула с поезда в чисто поле...

С головой уйдя в демократическое движение (это теперь понимаешь, до чего же все мы были наивны!..), я оказалась в гуще совершенно новых для меня людей, идей и интересов. Ровно год я отработала помощником НД СССР, а потом ушла от всех этих дел, поняв, что политика — это человеческая пустыня, где я теряю, теряю себя, а я нужна своему сыну-подростку как мать, а не как придаток безжалостной политической машины...

Если бы я ставила перед собой задачу дать развернутый рассказ о моем житье-бытье в годы перестройки, я рассказала бы о том, например, как весной-летом рано утром садилась на велосипед и, пока сын спал, объезжала ближние парки и пляжи в поисках бутылок, а потом стояла в очередях в пункты приема стеклотары. Как работала няней у «кооператора». Как работала диспетчером в одной фирме, занимавшейся грузоперевозками (и, кстати, однажды, среди прочего, приняла заказ на перевозку в Москву подвесок к колоколу для строившегося тогда Храма Христа Спасителя!..). Как потом уже, работая в одном медицинском журнале, получила однажды в виде премии три (!) картонных упаковки, по три десятка, яиц (!), и, когда несла их от метро домой в солнечный морозный день, **не было человека**, независимо от возраста, пола и образовательного ценза, который не спросил бы: «Простите, а где вы яйца брали?» (Я их потом раздаривала друзьям...)

Но это был бы рассказ — о внешнем. Книга же моя имеет подзаголовок «Записки одной души...». Поэтому внешнему — внешнее, а Богови — Богово... К Нему и перейдем.

...Сегодня мне очень часто вспоминается тот декабрьский вечер 88-го, когда я уходила из издательства, уже навсегда. Едва я вышла на улицу, меня развернуло ветром с залива. Он был

такой силы, что, казалось, можно было лечь на него и не упасть. Я шла, а он всё разворачивал и разворачивал меня обратно...

В то время мне еще незнаком был язык знаков Божиих. Теперь-то я понимаю, *что* мне тщился сказать этот противный, на морском языке, ветер... «Безумная, куда же ты?!.. От добра добра не ищут!..»

И сейчас, тридцать лет спустя, прошу прощения у дорогих моих гимизовцев, у всех, кто, как мог, поддерживал меня в той лютой беде, о которой поведу речь дальше... Кто еще жив и кому, Милостью Божией, попадутся на глаза эти строки...

ЧАСТЬ II. Приветствовать восход...

*Поклоняюсь Тебе, Боже Отче, ибо Ты из небытия привел меня к бытию и украсил Твоим Божественным образом. Поклоняюсь Тебе, Боже Сыне, ибо Ты Честной Кровью приобрел меня, от законной клятвы искупил меня и Крещением Святым просветил меня. Поклоняюсь Тебе, Боже Душе Святой, ибо Ты оживил меня, вразумил меня и облистал меня светом веры
Поклонение Святой Троице святителя Димитрия Ростовского*

Однажды я позвонила с работы мужу и услышала в трубке ликующий голос свекра: «Человек в космосе!!!» Это было 12 апреля 1961 года. Вечером весь Невский был запружен народом, не ходил транспорт, как бывало тогда только в дни 1 мая, 7 ноября и в День Победы. Но, в отличие от официальных праздничных демонстраций, 12 апреля люди вышли на улицы стихийно – разделить радость со всеми. Я тогда жила у самого Невского и, конечно, сразу оказалась среди этих всех...

Это был День космонавтики «по факту», а официально этот праздник был внесен в календари на следующий год. Но как проходил этот праздник в 1962-м, я сказать не могу, потому что в тот день я была в доме отдыха под Приозерском, отправленная туда по соцстраховской путевке, и больше всего на свете меня интересовала одна крохотная пятючка... «Погода стояла почти летняя, – писала я когда-то в своем дневнике, – и я лежала среди сосен на раскладушке, читая какую-то книгу. Время от времени я клала ее на живот, и книга прыгала под ударами пятючки, которую я пыталась ухватить. Кто-то очень маленький, еще никогда не видевший этого бездонного весеннего неба, уже ошутимо жил у меня под рукой... Сейчас гражданственные чувства, связанные с годовщиной полета Гагарина, то есть, с первым официальным Днем космонавтики, возродить трудно, а вот пятючка и прыгающая на животе книжка – со мною, во всей своей полноте...

У нас с мамой была одна большая комната, разменять ее мы так и не смогли, муж тоже жил в одной комнате с родителями, так что он у меня был «приходящий», то есть приходил ко мне на те дни, что мама уезжала в рейс: «характерами не сошлись». Ровно в 55 мама закончила свою трудовую жизнь, вышла на пенсию и больше никуда не ездила. Но, как говорится, «жили врозь, а дети были» – дважды я могла стать мамой, но муж говорил, что, конечно, ребенок – это хорошо, но было бы в миллион раз лучше, если бы его не было. И его не было: дважды я поддалась на уговоры. Но на третий – твердо сказала: «Нет». И эта пятючка была особенно мне дорога, потому что я ее – отстояла. А муж так и не стал ни мужем, ни отцом. Не без моей вины: хорошая и очень порядочная, но слишком прямолинейная и угловатая мама не научила меня женской мудрости и искусству компромиссов...

Мы очень хорошо и дружно с Викой (так я назвала свою доченьку) жили. Много читали, много смеялись и дурачились. Любили «путешествовать», все равно куда – в Михайловский сад, в Летний, на Острова, в Петергоф, в Эстонию. Кататься на лыжах, на санках. Собирали грибы, жуков, шишки, желуди...

А в 70-м наш дом на Марата пошел на капремонт, и нас переселили. В Ульяновку, на улицу Стойкости, в квартиру с «подселенкой». Сень «Пресвятой Троицы» больше нас не покрывала. Старинный буфет с голландскими пейзажами остался в прошлом. Изразцовый камин – тоже.

Через два года исчезла из видимого пространства и моя Вика... Об этом – следующая страница моей жизни. Самая печальная, но я не могу ее просто пролистнуть, *аки не бывшую...*

Придется и ее прочитать, но зная уже, что со следующей страницы начнется... совсем новая глава...

Епископ Каллист (Уэр): «Как говорит св. [Иоанн Лествичник](#), “покаяние есть дочь надежды и отвержение отчаяния”. Это не упадок духа, но *энергичное ожидание*; это не значит, что ты

оказался в тупике, но что ты обретаешь выход. Это не ненависть к себе, но утверждение своего истинного “я” как созданного по образу Божию. Каяться — значит смотреть не вниз на свои собственные недостатки, но вверх — на любовь Божию; не назад, упрекая себя, но вперед — с доверием и надеждой. Это значит видеть не то, чем я не смог быть, но то, чем я еще, по благодати Христовой, могу стать. ... Покаяние... есть просвещение, переход из тьмы в свет; покаяться — значит открыть свой взор божественному сиянию, не печально сидеть в сумерках, но *приветствовать восход* (курсив мой)».

Прощай... — И здравствуй! 1973-1974

Свящ. Константину Пархоменко – с любовью и благодарением

30 октября 1972 года в 16.29 одна пригородная электричка подходила к станции Д., другая – тоже в 16.29 отправлялась с нее. По причинам, навсегда оставшимся неизвестными, между этими двумя составами оказалась девочка. Завихрением воздуха ее швырнуло о рельсы затылком.

Уже в 16.52 она была доставлена «скорой помощью» в больницу Эрисмана. Однако сделать что-либо оказалось невозможно: врачи констатировали мгновенную смерть.

Эта десятилетняя девочка – моя дочка.

...В то невообразимо далекое теперь уже время, которое сегодня представляется мне временем какого-то «космического одиночества», моим единственным другом, молчаливым, но безотказным, стал дневник. Он принял на себя первый шквал потери. А потом – на долгие годы эта школьная тетрадь легла в укромную глубину книжного шкафа: надо было как-то жить дальше. А еще долгие годы спустя... я приняла Святое Крещение. И лишь через два года после этого набралась мужества снова взять в руки ту тетрадь... А спустя какое-то время... попросила прочесть ее недавно обретенного духовника, отца К. Он прочел. И возложил на меня своего рода послушание: я должна была сделать свой опыт «изживания горя» доступным другим. «Но это же антиопыт, – возразила я по некотором раздумьи, – это опыт человека, надеявшегося только на свои силы, на других людей, не знавшего, что “без Него творити не можете ничесоже”». «А вы напишите своего рода постскриптум, взгляд из сегодня», – ответил он.

...Когда я перепечатывала (и чего же мне это стоило!..) свой дневник тридцатилетней давности, так хотелось иногда что-то подправить (например, написание слов «Бог», «Боже» с маленькой буквы) или убрать: так иногда было стыдно – за то, какое тяжелое и неудобноносимое бремя представляла я тогда для окружающих, за свою неблагодарность людям, наконец, за упорное нежелание впрямую сформулировать свою вину, не прикрывая ее «словесами лукавствия». И, однако, я оставила в неприкосновенности всё...

Написать «постскриптум» оказалось еще труднее, хотя и по другим причинам. Но я помню, как жадно выискивала по свежим следам трагедии в любом попадавшемся мне под руку чтении хоть что-то, что дало бы хоть какой-то ответ на мучившие меня вопросы, вопросы, вопросы, а особенно такие: куда девается после смерти человека все то, чем жила его душа, сердце, разум? неужели в никуда? и какой тогда во всем этом смысл?.. И я искренне надеялась, что хотя бы кто-то, мучающийся подобными же вопросами, найдет здесь для себя утешительный ответ.

*Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши,
и обратитесь к Господу Богу вашему;
ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив
и сожалеет о бедствии.*

Вот уже ровно месяц живу я здесь, на Васильевском острове, – живу совсем одна, потому что осиротела. Я – осиротевшая мама. Глубину этого сиротства не измерить, хотя, как бы велика она ни была, наверное, она все же меньше, чем несостоявшееся Викино сиротство. В этом – горькое и странное утешение. Хотя если бы мне предоставили выбирать – уйти отсюда мне или ей, ответ мог бы быть только один: мне. Грустная диалектика.

Смотрела «Солярис» и думала: окажись я там – материализовался ли бы Викин дух? Говоря точнее – виновна я перед нею или нет?

А. как-то сказала мне: «Мы всегда виноваты перед ушедшими». Да, это так. Она всегда считала меня идеальной матерью, но я-то знаю, что это не так. Но я была права и тогда, когда говорила: «Я была Вике хорошей матерью». Не для себя – для нее. Это могу понять и знать только я одна. Долго я еще буду находить *pro et contra* своей вины перед этой девочкой. Я знаю: ближе и любимее меня у нее никого не было. Но вот *она* стала по-настоящему нужна мне совсем незадолго до своего внезапного ухода.

Я любила гвоздики. Теперь их никогда не будет у меня в доме. Этого символа трагически оборвавшейся, незавершенной любви. Поймет ли кто-нибудь, что это такое – незавершенная любовь к своему ребенку? Наверное, если быть честной, это от комплекса вины. Я виновата перед нею не в большей степени, даже, наверное, в гораздо меньшей, чем многие другие матери, но, на их счастье, им не дано ощутить свою вину, ибо дети их вырастают и уходят отсюда тогда, когда этому положено свершаться, то есть после своих родителей.

Милая моя девочка, как хорошо, что так дружно прошло наше последнее утро – то единственное, первое и последнее в твоей школьной жизни, когда я специально осталась, чтобы самой собрать тебя в школу. В последнюю неделю у нас с тобой был один не очень хороший вечер, но я сгладила его, взяв тебя на ночь к себе в постель. Не зная еще тогда, что в последний раз буду ощущать рядом твое горячее, худенькое тельце. Тельце лягушонка, жеребенка... И когда в свой последний час ты шла одна в свой последний путь – я знаю, ты не думала обо мне плохо. У тебя была перед тем тяжелая неделя – плохо с ребятами, плохо с бабушкой, но со мной все было хорошо. Ведь правда, Витулик?

Ты помнишь, как нравился тебе фильм «Он пошел один»? Ты тоже пошла одна, бедная моя Девочка, ты была слишком умной для своих ребят, а люди вообще этого не любят. И если можно ставить это в вину, то я, без сомнения, виновата в том, что развила твой интеллект до такой степени.

Ты не была не от мира сего, но жизнь духа всегда преобладала в тебе над прочими человеческими началами. А духовным людям жить всегда тяжело. И если можно искать в этом утешение (и для тебя, и для меня) – то будем утешаться тем, что жизнь твоя не могла бы быть легкой. Ты не была совсем лишена кожи, но и толстокожей тебя ни в коей мере не назовешь.

Здесь, в этой комнате, ты везде. И, наверное, именно поэтому я не люблю уходить отсюда – уходить от тебя. Ты со мной здесь, а я с тобой. Там, на Южном, – твоя вещная оболочка, в твоей любимой пионерской форме, к которой ты еще не успела охладеть, в твоей любимой красной пилотке – но там только твоя оболочка, не более. А здесь, со мной, – вся твоя маленькая,

вернее, короткая, внутренняя жизнь. И со мною она пребудет – пока буду я.

Никто больше не назовет меня мамой. Это монопольное право всегда останется за тобой. Я была, есть и останусь Викиной мамой. Я буду верна твоей памяти. И, что бы кто бы ни говорил, – если для кого-то (кого никогда не будет) я стану лучшей мамой, чем была тебе, моя Девочка, это будет обидно. Нас будет только двое. Ни в ком ты не повторишься, и я не хочу искать этого повторения. Это было бы сделано только для меня самой, не для тебя, а то, что мне еще суждено сделать в своей жизни, мы будем делать вдвоем. Не для меня – для тебя.

Теперь я знаю, что буду жить, хотя по-прежнему этого не хочу. Какой смысл я обрету в этой своей новой жизни – я еще не знаю, но знаю, что обрету.

Знаю и то, что воссоединюсь с тобой именно тогда, когда вновь захочется жить. Это и будет искуплением вины. О какой вине я говорю – я еще продумаю. Не найду оправдание себе, а постараюсь быть честной – перед тобой и перед собой. Надо набраться мужества сформулировать все точно и честно. Может быть, сделаю это нескоро, но сделаю. Для этого надо вернуться к жизни, а пока я еще не слишком уверенно нащупываю к ней путь. Чистым разумом – а надо делать это с помощью чувства. А способность чувствовать что-нибудь иное, кроме утраты, потерянности и бесконечного одиночества, я еще не обрела.

Человек, чтобы жить, должен кого-то или что-то любить. Тебя у меня больше нет, и, что бы я себе ни говорила, хотя любовь моя к тебе теперь более сильна и глубока, чем при жизни твоей, она по необходимости платонична. А надо любить – солнце ли, море, снег, зелень, книги, мужчину, – но не могу пока.

Сейчас ты у меня в сердце, раньше же была где-то глубоко внутри меня, но не в сердце. Теперь ты заняла то место, которое принадлежит тебе по праву, никого там больше нет. Если быть точной, ты угнездилась там еще при жизни, но совсем незадолго до ее конца. Но, странное дело, меня преследует мысль, высказанная человеком, которого ты не знала и никогда уже не узнаешь: «Пока человек что-то или кого-то очень сильно любит – с ним ничего не может случиться». Я долго и сильно любила, и эта любовь оттесняла тебя, разлюбив же и освободив место в сердце для тебя – тотчас же тебя лишилась. Диалектика, диалектика на каждом шагу...

Все, что я здесь говорю, – странно, непонятно, страшно, может быть, даже, но мне от этого легче. Это разговор с тобой, которого не могло быть, пока ты была здесь, но это разговор по душам.

В 19 лет я писала: «Как я хочу успокоиться, ни о ком и ни о чем не думать. А я все думаю, думаю и думаю. И всегда буду думать. Так уж случилось».

25. 02.73

Только вчера, Витулик, собралась я, наконец, сделать то, что мы с тобой собирались сделать в «следующую субботу», да так и не успели. Я купила двух барбусов и одну данио-рерио. Данио очень скучала одна, и за это время у нее, видно, испортился характер, поэтому к своей соплеменнице она отнеслась не очень дружелюбно, вернее, с каким-то равнодушным любопытством. А вот из барбусов получилась отличная парочка – мельтешат, серебристые малыши, хлопчут...

Странно, но факт, от которого никуда не денешься, – погибли из всех цветов именно те два цветка, которые ты больше всех любила, а из рыб – именно барбус, всегда привлекавший к себе твое внимание. (Помнишь, как я изображала барбуса и чуть однажды не сделала это у всех на виду в том лесочке? Сколько это доставило тебе удовольствия, моя Девочка...) Того барбуса

уже нет... как и тебя. Есть новые – не тот, так другие, а тебя уже не вернуть никакими силами. Это было однажды – во сне, и вновь я тебя потеряла... Тот сон...

Со временем обязательно куплю большой аквариум и восстановлю всех рыб, что жили в том, другом аквариуме. Тех рыб, что изображены на твоём рисунке, который ты успела закончить в свой последний день, но не успела выжечь. Это сделала за тебя я, 1/XI-72, в день перед Южным...

1.03.73

Первый весенний день без Вики. Как тяжело и непереносимо быть без тебя, милая Девочка... Знаешь, месяца два назад было, как ни странно, легче. Тогда осознавалось одно – тебя нет. Но чем дальше, тем глубже ты входишь в меня, и тем невозвратимее становится утрата – если вообще можно употреблять здесь сравнительную степень. Наверное, можно...

Выдран с мясом, с кровью огромный кусок жизни – как он огромен, становится ясно только теперь, когда вспоминаешь давно забытые подробности... А сколько их, этих подробностей, в десяти годах – бесконечно мало для тебя, Девочка моя, ибо что такое десять лет жизни для тебя, и бесконечно много для меня.

Как это все-таки могло случиться? Если это наказание мне – то почему наказан ребенок? Она-то перед кем провинилась?

Мне сказали недавно: «Если бог добр и допускает то, что происходит, – то зачем он? Если он зол – он и подавно не нужен. Если же он непознаваем – то я могу обойтись и без него».

Вспышка духовности, тяги к познанию тайного тайных, охватившая меня с месяц назад, угасла... Она осветила на миг мой одинокий путь, но не утешила. Да и что все это могло мне дать? Обрести бога разумом не дано. Тем более, если он добр, или зол, или непознаваем...

Мне хотелось найти, наверное, скрытые рычаги, управляющие этим миром. Все, все подробности, все мелкие и большие шаги, мои и Викины, все мелкие случайности, слившиеся в одно неотвратимое, необратимое, невозвратимое, – все это заставляет предполагать какое-то объективное управление событиями. Но и это ничего не объясняет и ничем не утешает, а лишь подчеркивает бессмысленность и несправедливость этих законов, пусть они трижды объективны...

Зачем нужна была этой объективности Вика? Маленький, безгрешный субъект. Зачем ей нужно было оставить здесь именно меня, несколько к жизни не привязанную, более того, не чающую ничего другого, кроме как распроститься с ней благопристойным для окружающих образом?

На, бери ее, мою раздавленную, исковерканную жизнь! Так нет же, не возьмешь, я знаю. Ты подождешь того времени, когда она мне понадобится. Знаем мы эти штучки.

В феврале нет 30-го, оно будет завтра – и 30-е, и 2-е сразу. Двойной юбилей... Я поеду к тебе, Девочка, свершу этот жестокий обряд, но здесь, в нашей с тобой комнате, ты ко мне в тысячу раз ближе, чем там, у этого холмика, под которым, на глубине шести футов, лежит замурованное в кембрийской глине твоё маленькое тельце.

Почему щеки твои, когда я в последний раз гладила тебя по лицу, были теплыми?.. Твоё спокойное личико спящего ребенка, на которое едва заметно легла тень страдания, не осознанного тобой... Эта инерция твоего маленького мозга, сработавшего в последний раз – без обратной связи... Какое счастье, что ты ничего не успела понять! Хотя это-то я точно знаю, и слава богу. Но я никогда не узнаю, о чем ты думала в последние минуты перед тем, как

собраться перейти железную дорогу... Зачем зашла так далеко... То ли одиноко было очень, то ли задумалась, то ли не в первый раз доходила до 10-го километра, а потом возвращалась домой на автобусе? Ничего этого я никогда не узнаю. Никогда.

«Так и буду жить – один меж прочих, и передо мною на года вечное кружение этих строчек и глухонемое «никогда»... Сколько раз я вспоминала в прежней своей жизни эти слова, и вот теперь они наполнились единственно возможным смыслом, смыслом, который я никогда более не осмелюсь отнести к иным, суетным и преходящим чувствам.

3. 03.73

О чем плакала старая Ида

Тихо сеял дождь, так тихо, что капли, ударяясь о крышу, о стекла, о скамейку под окном, на которой любила сидеть старая Ида, лишь едва слышно шелестели.

Часы показывали без пятнадцати шесть. Все кругом спало – даже мыши под крышей. «Ну как, идем?». На меня глядели два блестящих со сна коричневых глаза. «Конечно, идем. Вставай, вставай, штанишки надевай!» – «Подъем, подъем, кто спит, того убьем!» – подхватила Вика и спрыгнула с кровати. Ах, как сладко было бы завалиться обратно в теплую постель и снова заснуть под тихое бормотание дождя!..

Но уговор есть уговор. Сколько мы собирались пойти в лес, когда все еще спят, и бессовестно просыпали! Ну, ничего, мы еще сто раз успеем встать раньше всех, утешались мы. Но отпуск подходил к концу, а наши благие намерения оставались намерениями.

Молоко было холодное, сейчас бы чайку горяченького, но пока чайник вскипит на плитке... Да и потом, это значило бы лишить Вику главной прелести нашего долгожданного похода – именно встать в шесть утра и выпить именно кружку молока с ломтем черного хлеба!

Мы надели свитера, брюки, резиновые сапоги (у обеих они протекали) и пластиковые плащи и вышли в путь. В кармане Викиной куртки лежал маленький складной ножик, в моем – два полиэтиленовых мешочка. Корзинку мы с собой не взяли, надеясь, как всегда, обмануть грибы. Если будет куда их класть – их не будет, а если они, как любила говорить Вика, «нападут» на нас, в ход пойдут плащ, Викин беретик, куртка (однажды даже в дело пошли шаровары – маслята напали).

Дождик был совсем-совсем маленький, почти незаметный, псы не лаяли – кому охота вылезать в такую рань? – только возле дома у речки, как всегда, залаял глупый коричневый щенок.

Песчаную дорогу разгладило, утоптало дождем, шагать было легко, и расположение духа у нас было расчудесное. «Кого ты любишь бо-о-льше, бо-о-льше, бо-о-льше всех на свете?» – говорила Вика. «Жабу», – отвечала я. «Неправда!» – кричала Вика, хотя, кажется, жаб она любила немногим меньше, чем меня. «Ну конечно, тебя, кого же еще, глупый ты мой ребенок!». Это была старая наша игра.

Вот и дом на отшибе. Здесь всегда носятся два неуклюжих пса, валяются на земле куклы без голов, одинокие галошики, сандалики, лопатки, совки, а у крыльца сидят прямо на земле два белоголовых мальчика, а на крыльце сидит хозяин, а если не сидит, то пилит, колет, строгают... Завидев нас, говорит: «Здравствуйт-те!» и потом еще долго смотрит вслед, до тех пор, пока мы не скроемся за поворотом.

А сегодня дом спал, двери были заперты, хотя было уже почти семь. Наверное, это было

воскресенье.

«Интересно, есть ли там Кама?» – гадала Вика. Поле, через которое лежал путь в лес, в середине было немного выпуклое, и из начала его не было видно конца его и того, что там делается.

Дошли до пугала. Оно было мокрое, жалкое, обвисшее, не стучало (ветра не было), не блестело (солнца не было). Да и пугать-то некого было – дождь, скука, никто не летает.

От пугала уже видно было Каму. Она стояла совершенно неподвижно, гладкая и блестящая. «Кама! – крикнула Вика. – Камочка, мы тебе хлеб несем!». Кама повернула к нам свою милую умную морду.

Я смотрела, как осторожно подходит девочка к лошади, осторожно протягивает ей хлеб, а Кама осторожно берет его губами.

(Было с этой Камой дело – за неделю до того она чуть не откусила Вике палец. Все удивлялись – Кама? Такая смиренная, добрая... Одной рукой давая Каме сахар, другой Вика гладила ее по холке, задела, видно, ненароком накусанное оводами место – вот и все. Посердилась на нее тогда Вика дня два, здорово посердилась, а потом простила. Лошадь ведь, что с нее взять, хоть и умная.)

На этот раз все обошлось благополучно, и мы двинулись дальше.

И вот – лес, сумрачный, тихий, мокрый, теплый... Но только мы собрались посмотреть в одном заветном месте лисички – как хлынул дождь, теперь уже нешуточный. Стали держать совет – идти в «наш» лес, а это столько же, сколько обратно до дома, – вымокнем, как цуцики. Но повернуть обратно – после стольких сборов и разговоров... Решили так: вымокнуть, как цуцики, но идти вперед!

У трех осклизлых жердей, проложенных через маленькое болотце, нас, как всегда, ждали лягушечьи дети. После жердей была маленькая полянка, где нас всегда ждали подосиновики. Но на этот раз никто нас там не ждал. Дурной знак, решили мы, но все же двинулись дальше. Поднялись на взгорочек, спустились – и бегом к трем елочкам. Там стоял невероятно красивый подосиновичек-челыш. Хороший знак, решили мы, торжественно положили его в Викин мешочек и пошли по Масляной дороге.

Слева – мокрое болотце, отгороженное от дороги осинками, елками и прочим добром. Там клюква. Справа – сухое болотце, правда, сейчас и оно мокрое. Там – голубика, черника и дурман, о котором Вика наслышана была всяких ужасных историй, и потому, несмотря на всю ее любовь к голубике, мы никогда в этом сухом болотце долго не задерживались. А сейчас и вовсе не стали туда спускаться. Были дела поважнее. «Как ты думаешь, есть там наш масленш?» – спросила Вика. «Одно из двух – или есть, или нет». – «А может, из трех?» – «Может, и из трех». – «А может, из тридцати трех?»

Масленок был на своем всегдашнем месте. Но то был червивый масленок. Дурной знак, решили мы и зашагали дальше по нашей Масляной дороге.

...Мы окрестили ее так три года назад, в свой первый приезд в Аэгвйду. Когда мы впервые забрели сюда, на эту дорогу, она вся сплошь, от горизонта до горизонта, была усеяна маслятами. Что было! А теперь мы собирали там пять-шесть, если сильно повезет – десяток масляток. Но дорога все равно оставалась Масляной.

Дождь не только не собирался проходить, но, наоборот, все больше входил во вкус. Но это

не имело уже ровно никакого значения – все, что могло на нас промокнуть, уже промокло, терять нам было нечего, и мы упрямо продвигались вперед, к самому новому из наших владений – лесочку, недавно открытому нами за тем хмурым поворотом дороги, у которого раньше мы всегда поворачивали назад.

...Но однажды мы решились таки заглянуть за поворот, и сразу за ним пошли по сторонам яркие юные сосенки, дорога стала подниматься вверх, и, дойдя до этого верха, мы остолбенели. Светило солнце, и внизу расстилалась поляна ярчайше зеленого, ликующего цвета, а на ней стоял старый деревянный дом без крыши.

Мы спустились к нему, заглянули внутрь. В доме было тихо, пусто, мрачно. Возле него на земле валялась какая-то огромная кость, наверное, лошадиная, решили мы. Вот аккуратно сложенная поленница дров. Вика дотронулась до одного полена – оно рассыпалось. Почерневшие опилки, сплющенное ржавое ведро. Что тут было, кто тут родился, и плакал, и смеялся, и умирал? Подумали мы, подумали, ничего, конечно, не надумали, и пошли открывать новый лес. А там – чего только там не росло!

Но сейчас солнца не было, и сосенки стояли тихие и понурые, и когда мы вошли в «наш» лес – мы не узнали его, такой он был грустный и темный. Сразу стало как-то холодно, неудобно, сердито заболботала в сапогах вода... Кинулись под одно заветное дерево – никого, под другое – тоже никого, даже под старой мрачной елью, которая еще ни разу нас не подводила, не нашли мы ни одного гриба. Стало совсем как-то мокро, холодно и грустно.

Я достала яблоко, разрешила его пополам. «Мама ты мама! Глупая ты моя мама! Это все ты виновата!». Вика глядела на ножик в моей руке. Ну конечно, это все я, растяпа, виновата! Ведь прекрасно знаю, что если все время держать нож наготове, ни один гриб не высунет носа. А я, как смотрела того маслениша в начале Масляной дороги, так и держала нож в мокрой руке. Закрыла я нож и для большей убедительности спрятала в карман.

Пошли шарить дальше. Опять ничего. Значит, не в ноже дело. Бедные мы, бедные, мокрые, холодные, голодные, да еще и без грибов! А тут еще Вика стала бубнить, что зря мы пошли, что лучше бы мы сейчас спали, и молоко совсем невкусное было, и выпила она его, только чтобы я не ругалась, и никогда она больше не пойдет в этот проклятый лес, и не нужны ей никакие грибы. «Вот так, мамочка!»

«Знаешь что, – сказала я на это, – перестань-ка бубнить, давай лучше попугаем грибы!». «Ой, правда, – оживилась Вика, – как это мы забыли!»

Обычно это помогало – покричать подосиновикам, подберезовикам, лисичкам, сыроежкам там всяким, что вовсе они нам ни к чему, что вовсе не из-за них мы в лес пришли, а просто погулять, а мешки у нас для ягод, а ножик – на всякий случай, так, для гриба-несмышлениша, который сам под ноги лезет.

Покричали. Правда, без особого энтузиазма. Тоже не помогло. Что же делать, как нам быть? Идти домой? Но дорога далека, совсем уж мокро и холодно будет, да с пустыми-то руками... Съели по печенине, еще по половинке яблока.

«Ну, все, мамочка! Ты как хочешь, а я пошла домой!». Совсем мой ребенок расстроился – съежился, сгорбился, мордаха бледная, мокрая, несчастная, злая. «Что же делать, пошли, раз такое невезение!» – сказала я.

Решили срезать путь, пойти наискосок. И только я сделала шаг... «Мама! Куда ж ты смотришь! Гляди, кого ты чуть не раздавила!». У самого носка моего сапога стоял блестящий, совершенно

юный и даже еще белый подберезовичек! «А вон еще!» – сказала я. «И еще!» – сказала Вика. И пошло-поехало! «Мама, дай скорее ножик!» – «Подожди, сейчас вот только срежу... И еще один, пока вижу!» «Ой, мамочка, давай скорее, я еще два заметила!»

Короче говоря, когда у нас набрался сорок один подберезовик, мне пришлось применить всю силу родительской власти, чтобы уволочь моего грибника из леса. Дождь уже совсем распоясался, с плащом на брюки стекали реки и ручьи, в сапогах плескались озера разливаемые, и с лица текло прямо в рот.

Молча шли мы по Масляной дороге. «Хорошо бы бабушка Ида затопила плиту!» – вдруг сказала Вика. – «И в самом деле, хорошо бы!». Всю оставшуюся дорогу мы только и думали да гадали – затопит бабушка Ида плиту или не затопит. Даже на Каму забыли посмотреть.

Из окон дома, что за полем, на нас удивленно таращились наши знакомые белоголовики, вдавив носы в стекло. Мы помахали им и пошли дальше. Прошли песчаную дорогу, миновали мостик, свернули вправо раз, свернули вправо два, прошли клуб, парикмахерскую (Juksuur), магазинчик на углу (Toidukaubad)... и – что за терем-теремок, из трубы идет дымок? Из трубы шел дым. Бабушка Ида затопила плиту.

Мы вошли в дом. В плите гудело и трещало, вкусно пахло картошкой, громко плевался чайник, и бабушка Ида стояла, опершись на палку, и ласково улыбалась нам. «Тере!» – сказали мы. «Тере, тере! – сказала бабушка Ида. – Нью-у-у, как грибы? Ой-ой-ой!» Это уже о нас. Я кинулась стаскивать с Вики одежду, завернула в махровое полотенце, растерла под визги и смех («Ой, ой, мамочка, ой, не могу, не щекочись!»), дала переодеться, переоделась сама...

...До отъезда оставалось два дня. Вика спала. Бабушка Ида сидела в кухне и читала Библию. Я вышла к ней. Она взглянула на меня, сняла очки и вдруг заплакала. «Что вы, бабушка?» – спросила я, заранее волнуясь от того, что не смогу ни помочь, ни утешить: объяснялись мы, русская и эстонка, чуть ли не на пальцах. «Я пла-ачу!..» – «Ну что вы, зачем же, не надо...» – «Да, ты уехал – и всё... Ты такая арошая, тоб-бряя... И Вик-ка. Я пла-ачу...» – «Не надо плакать, на следующий год мы опять приедем!» – «Нет, не-етт, я зна-аю!.. Я буду плакатть». – «Когда у вас день рождения, бабушка?» – «Семнадцатый сентябрь, восемь десятть летт». – «Мы с Викой вас поздравим, а Елизавета Ивановна вам прочтет наше письмоце...» – «Я-а, Лиза, я-а, я-а...».

...Через два дня мы уезжали. Опять шел мелкий дождик. Соседка, Елизавета Ивановна, провожала нас на станцию. Старая Ида стояла в дверях, тяжело опершись на палку, и плакала, плакала, и утирала слезы чистеньким своим передником. Она и вся была чистая, светлая, и я до сих пор отчетливо вижу белоснежный ореол волос ее над прямым белым лбом.

Старая Ида знала, о чем плакала. К 17 сентября мы действительно написали ей письмоце. С Новым годом собирались поздравить, да так и не собрались. А вскоре после Нового года узнали, что, выйдя однажды из дому, бабушка Ида поскользнулась, упала и сломала обе свои больные ноги. Увезли ее в больницу, и оттуда она не вернулась.

А вскоре не стало и девочки Вики. Не в «восемь десятть», а в десять лет. Где-то там, в неведомом далеке, они вместе сейчас, но одна не знает эстонского, другая – русского. «Тере, тере, Вик-ка!» – говорит, наверное, старая Ида, встречаясь с моей Девочкой. «Тере, бабушка Ида!» – говорит, наверное, Вика...

Вот и всё.

Ну вот, Витулик, наконец-то мы можем с тобой поговорить. Мои соседки по палате ушли в кино. Они хорошие, но я привыкла говорить с тобой наедине.

Я в Сочи, в санатории. После того, что случилось с тобой, я совсем дошла до ручки – устала предельно, и мои друзья отправили меня сюда отдохнуть. Ах, Вика, Вика, если бы я могла рассказать тебе сейчас, зачем нужны друзья, почему человек не должен оставаться один! Если бы я нашла нужные слова, чтобы объяснить тебе это, пять месяцев назад, я бы сейчас не была здесь, а сидели бы мы с тобой на кресле и смотрели на толстого глупого вуалехвоста и драчливую гурамиху... Сегодня к тебе должна была поехать тетя Т. Я знаю, раз она обещала – поедет. А я вот тут.

Пошла в церковь, но я не умею молиться, и я знаю, что ты первая засмеяла бы меня, если бы я поставила свечку за упокой твоей души. Постояла, посмотрела на иконы, на молящихся, поглотала горький ком в горле – и пошла.

Мне, Витулик, Сочи мало идет на пользу: никак не могу забыть, почему я здесь. Уезжая из Коктебеля осенью, я думала, что теперь нескоро увижу море. А случилось так, что и полгода не прошло. И потому не нужно оно мне. Красивое, холодное и никчемное. Как не нужна и зелень субтропиков, а уж тем более – бензиновый воздух Сочи.

Мне враждебен Сочи и потому, что здесь на каждом шагу красивые шоколадки, которые я всегда привозила тебе из Москвы, большие конфеты «Гулливвер», которые привозила тебе из Харькова. Все это больше некому привозить. Рядом с санаторием – автодром, где целыми днями катаются на каруселях счастливые дети: у них каникулы.

Во всем санатории была одна-единственная женщина с ребенком, и я попала именно в эту палату. Девочка Лена, 14 лет. С теми же увлечениями, что были у тебя: жуки, шишки, цветы, самоделки... Такие вот дела.

Чувствую, что вернусь в Ленинград почти такой же, какой уехала. Если не считать, что загорела и несколько окрепла физически. А вот мозг мой – беда моя. Все такой же больной и усталый. Как я буду работать – не представляю.

Прочла у Вересаева о том, как одна женщина вот так же неожиданно потеряла девочку и несколько дней не спала, не ела, не плакала – смотрела в одну точку. Обратились за советом к знакомому врачу. Тот прислал строгую записку: «Как вам не стыдно бездельничать, в госпитале столько дел!». И она три месяца ухаживала за ранеными, колола, пилила дрова, стирала и т. д. Отпустил ее доктор ожившую, возродившуюся. А мне вот пришлось заниматься тоже напряженной, но умственной работой, которая оказалась очень плохим лекарством.

Вот такие, Витулик, дела. Уже пять месяцев прошло... Для меня это – единый-неделимый отрезок времени, гораздо меньший, чем пять месяцев, и в то же время неизмеримо огромный. Выброшены на свалку все предыдущие годы, а новая жизнь не начата...

5. 04.73

«И вот мне кажется, что сон – это как бы темная и глубокая вода. Она уносит все, о чем мы не знаем и не должны знать. Странный осадок печали, который образуется в нас, вымывается и уплывает в это безбрежное море подсознания. Наши дурные и трусливые поступки, все наши обыденные и стыдные грехи, унижающие нас глупости и неудачи, секунды лжи и нелюбви в глазах тех, кого мы любим, все то, в чем провинились мы, и то, в чем другие виноваты перед нами, – все это неприметно утекает куда-то за пределы сознания. Сон безгранично милосерден,

он прощает нас и виновных перед нами.

И вот что я вам скажу: то, что мы называем нашей жизнью, – еще не все, что нами прожито, это лишь выборка. Того, чем мы живем, слишком много, больше, чем способен объять наш разум. Поэтому мы лишь отбираем то или другое, что нам подходит, и кое-как сплетаем из отобранного упрощенное действо; это сплетение мы и называем жизнью. Но сколько мы при этом оставляем в стороне, сколько обходим странных и страшных вещей, боже ты мой! Если бы человек осознал это! Но мы способны жить одной лишь упрощенной жизнью, прожить и пережить больше было бы свыше наших сил. У нас не достало бы мочи вынести жизнь, если бы большую часть ее мы не теряли по дороге». (*Карел Чапек*)

2. 05.73

Милый мой Витулик! Не обижайся, что записи в этой тетради появляются теперь редко. Это вовсе не значит, что я начинаю потихоньку тебя забывать и смиряться с тем, что тебя нет. Все совсем наоборот. Я не смирилась, но теперь уже твердо поняла невозвратимость и непоправимость происшедшего. И тем тяжелее и несноснее жить, тем труднее говорить об этом, тем дальше отхожу я от людей. Понимаешь, я не только ясно осознала, что никто не может нам с тобой помочь, но и не нуждаюсь уже более ни в чьей помощи и сочувствии. Не то чтобы у меня было какое-то нехорошее, завистливое чувство к тем, у кого ничего не стряслось, просто мне не о чем стало говорить с людьми. Это ощущение очень трудно передать словами, не говоря уже о том, что всякая «мысль изреченная есть ложь».

У меня ни к кому нет зла, даже уже прошло острое чувство ненависти к слепой случайности-необходимости-объективности. Просто мне тяжело быть в мире живых, когда ты – в мире ином. Говоря попросту – тяжело жить.

Всякое существование должно иметь цель. Какую цель преследую я? За что бороться, с кем бороться?

Теперь у меня уже нет чувства неоплатного долга перед людьми, чувства, не позволявшего мне уйти к тебе. Сочувствия у окружающих не убавилось, но острота происшедшего уже стерлась в них несколько, и это так естественно. Поэтому я могу уходить, не опасаясь нанести людям еще один удар. То есть это было бы для них ударом, но ударом до некоторой степени ожидаемым, хотя я, собственно, никого не ставила в известность о своих злокозненных мыслях. Не тот случай, чтобы пугать людей понапрасну.

Но, Витулик, я останусь здесь, пока не поставлю памятник тебе. Пока – это самое главное мое дело. До 30/X я никуда не посмею деться.

А дальше? Дальше – смутные планы, которые незаметным образом начинают помогать держаться, хотя, пожалуй, это слишком сильно сказано.

В первой записи было сказано мною, что никто никогда не назовет меня мамой... Видишь ли, Девочка моя, если говорить о дальнейшем моем существовании, то оно, как я уже сказала, должно предполагать какую-то цель. А единственная реальная цель, которую я могу не только поставить, но и достигнуть, – это снова стать чьей-то мамой. Это то, что привяжет меня к жизни намертво. Это то, что даст мне возможность заново испытать свою человеческую ценность. Теперь я знаю, как надо растить человека, от чего его надо оберегать, чему учить. Вернее, я знала, чему учить тебя, но не сумела сделать это по-настоящему.

Как страшно каждый день, проснувшись, заново возвращаться мыслью к твоему небытию. Как больно глядеть на твою улыбающуюся мордашку, на твои непричесанные волосики, которые

теперь уже не отодвинешь со лба, на сползшую лямку передничка, которую не поправишь, как странно думать, что ты смотришь на меня все с той же улыбкой и ночью, в темноте, когда я сплю...

О, я знаю ее, эту твою немножко деланную улыбку, с которой ты говорила мне, ласкаясь: «Ну, мамочка, ну что ты, не хмурься!».

30. 05.73

Здравствуй, бедный мой ребенок! Прости, что не была у тебя сегодня – первый раз за все эти тридцатые числа. У меня теперь такая работа, что не уйдешь. Помнишь, ты все просила меня работать воспитательницей в пионерлагере? А вот теперь я работаю-таки, только в детском доме и няней...

Ах, Витулик, сколько здесь обиженных судьбой детишек! Будь ты со мной, я бы никогда и не подозревала об этом. А вот видишь, как все повернулось.

2-го приеду к тебе, полью цветочки, которые посадили не баба Дина и баба Белла, а баба Клава и дедушка Миша. Вот так вышло на поверку. Да, впрочем, что тут удивительного. А папу, который так плакал над тобой, ты, наверное, с тех пор ни разу и не видела там, у себя. И тут тоже ничего удивительного нет.

Что сказать тебе, Девочка моя милая? Худо без тебя по-прежнему, жаль тебя бесконечно, и хотя я кручусь теперь целые дни возле 25 ребятшек, заменить тебя никто мне не сможет. Конечно, я греюсь около их теплого огонька, но, приходя от них домой, становлюсь еще более одинокой.

Что-то давно ты мне не снилась. Значит, довольна моей новой жизнью. Знала бы ты, сколько у меня теперь терпения. Господи, *теперь* бы мне тебя растить!

До свиданья, Девочка!

7/IX-73

*Прости, ребенок мой любимый,
Что я с тобою не была,
Когда в тот путь необратимый
Навстречу гибели ты шла.
Когда походкой угловатой,
Десятилетнее дитя,
На шпалы вышла, чтоб внезапно
Лежать остаться на путях.
Когда в секунду стали прошлым
Твоя улыбка, голосок,
И был твой век короткий брошен
На камни, гальку и песок.
Тот день теперь сполна оплачен
Нечеловеческой тоской,
И одиночеством, и плачем.
Но ты – под гробовой доской.
Я не прощаюсь. Не проститься.
И подарить тебе могу
Лишь эту бронзовую птицу
Да самолетов тихий гул.*

16.09.73

Во мне нет ничего нищепанского, поверьте мне! Неужели, друзья мои, вы думаете, что я живу за счет своей силы? Тот, кто имел бы несчастье попасть в мое положение, понял бы, что, если я живу, то это не от чего иного, как от слабости моей и нежелания честно и прямо взглянуть в глаза тому факту, что если за предыдущие 35 лет я не сумела воздвигнуть сколько-нибудь прочное и разумное здание своей жизни, то нечего надеяться достичь этого в оставшиеся *n* лет.

Круг замкнулся. Вчера, орудуя лопатой возле могилы своего ребенка, я готова была выкопать себе яму с нею рядом и лечь в нее. До того нестерпимым стало вдруг мое одиночество. О, эти *замкнутые* его кругообороты!

Почему я не сошла с ума вчера, вернувшись с кладбища?.. Это был бы такой достойный и желанный конец – с блаженными пузырями идиота на губах.

Иметь столько «друзей» – и все же быть в абсолютном и полном одиночестве... Почему никто не зовет меня к себе, не звонит, не приходит? Надеются ли на мою мифическую силу, считают ли, что я не нуждаюсь ни в чем обществе, подсознательно ли избегают тягот общения со мной? А я за это лето, проведенное в действительно полном одиночестве, среди совершенно чужих людей, за это лето, научившее меня подавлять тоску и слезы, научилась еще и гордости. Умению обходиться без подпорок.

Как тяжело было мне в тот день, когда Толик звонил своей маме! Никому не смогла бы я объяснить всего, что всколыхнулось тогда в моей душе. Да, жизнь продолжается, и пусть выросшие дети звонят по телефону своим мамам (*боже мой! если бы у меня был тогда, в тот день, телефон!*), я не имею права препятствовать этому и выражать свое недовольство. И если тогда я не сумела скрыть пронзившую меня боль, то неужели они сочли ее намеком на то, что подобные разговоры нежелательны?

Я знаю, что самое разумное было бы поставить точку. Острая жажда материнства – по существу, уступка той же самой слабости, животному жизненному инстинкту. Да, мне хочется заново посеять семя и заново взрастить ниву, заново испытать свою человеческую ценность. Но этот ребенок – не средство к забвению и уж тем более – к счастью. О забвении не может и не должно идти речи, и я знаю, что и этого ребенка не ждет ничего хорошего. Эта животная жажда материнства имеет чисто эгоистическую цель: избавиться от одиночества.

А с теми, кто меня окружает сейчас, отношения определились раз и навсегда. Им всем ничего от меня не нужно. А мне не нужна их жалость – единственное, что они могут дать, если смотреть правде в глаза.

Все это вовсе не говорит о моей неблагодарности, о том, что я не ценю отношения к себе всех моих друзей. Просто я слишком хорошо вижу скрытые механизмы, управляющие их дружеским участием. Кастель, Кастель! Все те же цветы и вкусные вещи, которыми пытались откупиться от искалеченной в автокатастрофе вчера еще цветущей молодой женщины ее друзья. Не потому, что хотели откупиться, а потому, что не могли сделать для нее ничего другого.

Конкретная помощь, конкретное участие в каких-то конкретных делах – это пожалуйста (Т. с ее безграничной добротой). Но даже А. попросту совершенно не знает меня, если делает ставку на мою силу. Политика молчаливого сочувствия и осторожного прикосновения перстами, ни на секунду не дающая мне забыть о том, что я больна.

Никто не знает, как мне было больно от того, что никто, никто не приехал ко мне летом. Даже представить себе не могу, чтобы я не выбралась к своему другу, чтобы своими глазами посмотреть, где и как он живет в такой важный этап своей жизни. Все та же переоценка моих

сил! Господи, почему ты дал мне столь обманчивую внешность?

«Так и буду жить – один меж прочих, и передо мною на года вечное круженье этих строчек и глухонемое “никогда”».

Вика – это, оказывается, все, что у меня было. Единственно реальное и верное мне. Ребенок мой, как же мы могли растеряться с тобой на этом безрадостном пути, что зовется жизнью?

10.10.73

Витулик, единственный маленький друг мой, чью дружбу я не сумела оценить до конца, пока ты была по сю сторону...

Горе неотступно; подчиняясь волнообразным ритмам, оно то чуть-чуть отпускает, то хватает железной десницей, но оно всегда при мне. Но к этой не передаваемой никакими человеческими словами жалости, боли о моем бедном ребенке теперь присоединилась еще и жалость к себе. Я все время знала, что самое трудное начнется с приходом этого чувства, которое я не то чтобы не допускала в себя – которому просто до сих пор не было места рядом с огромной, всепобеждающей жалостью к тебе, моя Девочка! Но теперь оно появилось – наверное, потому, что я осознала наконец, что прошлое – это прошлое. Не в том смысле – «что было, то былшем поросло», а в том, что я осознала наконец, что это невосвратимо, и осталась наедине с настоящим, пустым и страшным, как смертный грех.

Я думаю, что это понимание – того, что я живу в настоящем, – пришло с тех пор, как я начала заниматься памятником вплотную. С тех пор, как обострилось до крайнего предела чувство нестерпимого и бесконечного одиночества. Живу в полнейшем вакууме, отделенная от всех непроницаемой стеной горя, и уже больше не пытаюсь сквозь нее пробиться – потому как знаю теперь, что это, друг мой, бесполезно.

Ребенок мой, как же мне не хватает тебя!.. И чем дальше, тем больше. И потому, наверное, меня так тянет теперь к тебе, на Южное, хотя мне по-прежнему трудно представить себе мысленным взором, что именно там лежит твое реальное маленькое тельце. (Тебя просто нет здесь – и все.) И, наверное, именно потому, что я теперь так часто бываю там, мне стало острее, чем когда бы то ни было за весь этот неправдоподобно длинный и невероятно короткий год, не хватать тебя.

Так что же делать? Так и не могу решить до конца (честно решить эту проблему) – породить новую жизнь или поставить точку на своей. Для себя-то самой – разве есть чего ждать? Разве есть ради чего день за днем гнать вперед свою жизнь? От чего ухожу? От горя? Нет. К чему иду? К горю? Но оно со мной неотступно. Значит, бегу вперед, чтобы остаться на месте. А впереди 30/X. И жду, и страшусь его. С 30/X-72 г. отсчет велся от тех или иных событий в жизни Вики, с 30/X-73 г. отсчет пойдет со *смерти* Вики. Что тяжелее – еще не знаю. А как хорошо бы не узнать.

23.10.73

Ну что, Девочка, будем жить? Приказано выжить. Ах, какая это цепкая штука – жизнь, боже мой... Ты знаешь, два дня назад я приняла решение – написала «завещание», письма близким людям. Так легко стало. Собиралась уйти 30-го. Странно и непонятно, как это получилось, но раздумала. И, наверное, уже окончательно. Почему – не стоит рассказывать. Не потому, что я нужна людям. Не потому, что ты хотела, чтобы я жила. Можно говорить о многих «не потому». Но знаешь, Витулик, только сейчас, сию вот секунду, сев за эту тетрадь, я поняла, почему я, может быть, не имея права жить, не имею права уйти из жизни по собственной инициативе: если уйду я, уйдешь из этого мира – уже окончательно – и ты. Потому что я – твое отражение,

твоя память, твоя жизнь. Ты существуешь, пока существую я. Ни в ком ты не существуешь так полно, как во мне. И я обещаю тебе, Девочка, что буду жить столько, сколько мне отпущено. Что не уйду отсюда по своей воле. Приказано выжить. Я выжила. Значит, надо жить, и жить, как бы это ни было невозможно, – достойно. Через не хочу, через не могу.

Удивляюсь только, как я могла об этом забыть? Ведь я знала и помнила об этом. Уж прости. Тяжко очень. Постараюсь больше не забывать.

...Когда же ты выжгла на карандаше «мама»? Сколько раз перебирала я все твои школьные доспехи, а увидела это только на днях... Это маленькое, простое слово чуть не сбило меня с ног, а теперь оно должно помочь устоять на ногах. Да, Витулик, да, я мама. По-прежнему мама, несмотря ни на что. И если у меня снова будет ребенок, то я буду матерью двоих детей. Как только твой братишка (или сестренка) начнет что-то понимать, я познакомлю его с тобой. Он полюбит тебя. Все в моей жизни происходит с большим опозданием. Когда тебе было лет 7-8, ты так просила меня о братике... Но тогда это было невозможно. Теперь... возможно.

Значит, будем жить. Во имя твое.

Через неделю – 30-е.

27. 01.74

Давненько не играл я в шашки... Боюсь я теперь этой тетради. Не знаю, чем это объяснить. Наверное, безотчетным опасением нарушить тупое равнодушие к жизни, боязнью превратить хроническую боль в острый приступ. Не буду возвращаться здесь к 30/Х... Я-то это не забуду.

Но сейчас я открыла эту тетрадь, чтобы записать поразившие меня слова, которые укрепляют меня в вере в то, во что мне так хотелось бы верить:

«Отец сказал однажды, что не верит в возможность для сознания пережить смерть тела – или, если оно и переживет, то лишь до той поры, когда будет достигнут естественный предел жизни тела, когда истечет естественный срок присущей ему жизнеспособности; так что если тело будет разрушено несчастным случаем, насильем, острым заболеванием, тогда сознание может существовать дальше, до того времени, когда по естественному ходу вещей, без вмешательства со стороны, оно само изжило бы себя» («Сага о Форсайтах»).

Это и утешительная мысль, и в то же время... разрушительная. Как тяжело нам с тобой, Девочка моя! О чем ты там думаешь, одна, все время одна? Знать, что где-то, в каком-то виде, ты существуешь, и не иметь возможности общаться с тобой! Нет, это действительно разрушительная мысль.

Но если сознание твое продолжает еще жить, знает ли оно, что произошло с телом?.. И так далее.

30. 03.74

*Не маленький ребенок умер, плача,
Не зная, чем заполнен этот свет,
А тот, кто за столом решал задачи
И шелестел страницами газет.
Не слишком ли торжественна могила,
С предельным холодом и тишиной,
Для этой жизни, молодой и милой,*

Читавшей книгу за моей стеной?

С. Маршак

8/IV-74

Душа – как заброшенный старый дом с заколоченными дверями и окнами. Утих детский плач, смех, исчезли легкие шаги. Отжил дом – и забыл, зачем родился на свет, чем жил. Отрухлявеет, рассыплется, и все забудут его.

Путаная, нелепая, бесполезная жизнь, породившая другую, маленькую, горькую историю. Была искра божья, да так искрой и осталась. Нелепо, пусто. Сама никому не свечу, и мне никто не посветит фонариком.

Мои 35 лет еще не кончились – может, еще сбудется невесть откуда явившееся во мне предчувствие. Недаром я никогда не представляла своего будущего. А сейчас и вовсе не могу представить.

Девочка моя милая... не забывай меня. Да святится имя твое.

Сожгите меня, закопайте прах мой в изголовье дочери моей и напишите: «Ты видишь? Это мы».

16/V-74

ВСЁ. БОЛЬШЕ НЕГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ. ДЕВОЧКА МОЯ, ПРОЩАЙ – И ЗДРАВСТВУЙ!

...Тогда, 16 мая 74-го, ничего не получилось. В тот день, день моего рождения, праздновало свой 40-летний юбилей мое учреждение. Все было приготовлено для того, чтобы поставить точку по возвращении домой. Но судьбе было угодно обратить на меня внимание 24-летнего мальчика по имени Саша, который увязался за мной и все твердил, что я ему ужасно не нравлюсь и он меня ни за что не оставит одну. Он меня первый раз в жизни видел.

Этот Саша ко мне как-то странно привязался, и какое-то время я его терпела возле себя. Пока опять не подкатил предел. 19 августа 74-го я выпила 50 таблеток снотворного, но по душевной тогдашней рассеянности забыла закрыть дверь на ключ. Соседи пришли звать к телефону, все по моему возбужденному от передозировки поведению поняли, вызвали «скорую». В реанимации меня откачали. Четыре месяца психиатрической больницы. Диагноз – «реактивное состояние».

В психбольнице очень удивлялись тому, что прошло *уже* два года, а я *все еще* не успокоилась, и потому лечили меня убийными лекарствами (полгода потом руки дрожали), как лечат «дипломированных» больных.

Год меня держали на учете в психдиспансере, потом сняли – «вчистую», как сказали мне там.

Но это было через год, а до того нужно было как-то жить в моей коммуналке: соседи мои частенько советовали «лечиться, если не долечилась».

Месяца через два после выписки М., медсестра, с которой я подружилась в больнице, предложила мне переехать к ней, благо двенадцатилетний сын ее Павлик, а по-домашнему Паля (Царствие ему Небесное! – в 30 лет он неудачно упал с дерева...), успел ко мне привязаться: я у

них была частым гостем.

Я приносила Пале большие конфеты «Красная Шапочка»; такие я привозила в свое время Вике из Москвы. И через какое-то время, сначала в шутку, а потом всерьез, он так и начал звать меня – Красная Шапочка. Он мог, например, сказать мне, когда мы сидели за столом: «Красная Шапочка, дайте, пожалуйста, соль». Или: «Красная Шапочка, а вы сегодня поздно придете?».

Я много занималась Палей, мы очень привязались друг к другу. Мы часто ездили все вместе на кладбище к Вике, и однажды Паля сказал, что, наверное, ей здесь не очень страшно, потому что совсем близко лежит генерал...

Но года через полтора вполне закономерно наступил момент, когда я захотела *своего* ребенка. Больше того – возжелала его. Именно так! Желание это настигло меня посреди летнего дня, так внезапно и так жгуче, что я побежала звонить по автомату Т. (у М. телефона не было). «Знаешь, что я решила? – закричала я в трубку. – Родить!». Она отнеслась к этому с пониманием, но и с некоторым скепсисом: уже столько раз я делала «поворот все вдруг»! Но я-то *знала*, что на этот раз поворота не будет.

...В мой дневник вложена тоненькая тетрадка с чуть-чуть переработанным годом спустя рассказом «О чем плакала старая Ида», к которому прибавлена новая концовка. Речь в ней – об одном эпизоде моей жизни, относящемся к весне 1977 года. Но только сейчас, вернувшись ко всему этому через многие годы, я обратила внимание на то, что записан-то этот эпизод не сразу, а в конце сентября того же года. К тому времени я уже знала, что во мне зреет новая жизнь... И, как я сейчас понимаю, этой записью я как бы прощалась с Викой, с тем периодом моей жизни, который был связан с нею и только с нею. Вот эта запись.

27. 09.77

...Весной 1977-го, через четыре года, ночным поездом я ехала из Риги в Таллин. Проснулась я оттого, что поезд стоял. Через занавеску пробивался тусклый свет непроснувшегося утра. Было очень-очень тихо. И вдруг какое-то неясное предчувствие, томительное, и сладкое, и печальное, зашевелилось во мне. Я отдернула занавеску. Коричневый пакгауз. Деревья. Маленький домик на бугре. Боже мой, неужели?.. А что, если быстро встать, одеться, собрать вещички?.. Но тут поезд дернулся и поплыл. И я увидела, что невесть откуда взявшееся предчувствие не обмануло меня. Вот знакомый станционный домик. «AEGVIIDU» – гласит одна вывеска. «АЭГВИЙДУ» – подтверждает другая.

«Боже мой, боже мой!» – дико бухало сердце. Что же это? Ведь здесь скорые поезда никогда не останавливались, с гордым победным грохотом, не сбавляя хода, проносились они мимо, и мимо, и мимо...

Девочка моя, это ты меня зовешь?

И у старинной водокачки, медленно проплывавшей мимо, я явственно увидела вновь маленькую девочку в голубой куртке и желтом беретике и как она машет мне рукой и что-то кричит вслед. Конечно же: «Мамочка, приезжай скорее!».

В Таллинне я первым делом узнала, когда ближайший поезд до Аэгвийду. Оказалось, через три часа. Утро уже проснулось, и яркое весеннее солнце заливало Таллинн. И по нашему Таллинну я ходила одна.

И по нашему Аэгвийду я ходила одна. Кругом еще лежал снег, но он был весь уже набухший, серый, ноздреватый. Бежали ручьи. Стояла тихая-тихая тишина. Как будто кто околдовал наш

Аэгвийду.

Вот почта, возле нее всегда стояла рыжая лошадь, но сейчас рыжей лошади нет. В нашей столовой теперь читальня. Вот аптека. «АРОТЕК». А вот и «ТОИДУКАУВАД». Вот магазинчик, где я купила Вике вязаную шапку с помпоном, которая была на ней в ее последний день. Я зашла в аптеку, в один магазинчик, в другой. И нигде никто меня не узнавал.

Нескоро рискнула я подойти к старому дому на улице Тамме, 13. На двери бабушки Иды висел замок, но в окнах виднелись занавески. Кто-то там теперь живет?.. Зайти к Елизавете Ивановне? Но что я ей скажу? Ведь первое, что она спросит: «Ну, как твоя Вика?». Что я ей скажу? А, что скажу, то скажу. И, как Раскольников, пришедший позвонить в дверь убитой им старухи-процентщицы, постучала я в дверь.

Нет ответа. Аэгвийду молчал.

Я вышла на шоссе и у вышки свернула в самый первый наш лес, Ближний. Вот здесь мы ели малину. А на той полянке была желтая россыпь моховиков.

Вот влево уходит дорога, и все так же стоит на повороте столбик-указатель, на котором черным по желтому написано: METSAAMKOMBINAT.

Я вошла в наш Ближний Лес. Снега было по щиколотку. Он сразу же забрался в туфли. Но какое это имело значение? Я оглянулась на свои следы и увидела упрямо встопорщенный кустик брусники. Стряхнула с пенька снег, села, закурила.

Было очень-очень тихо, только где-то далеко-далеко знакомо пела дисковая пила комбината. В просветах между соснами ярко синело небо. Тенькала какая-то пичуга. И по лицу моему тихо бежали слезы. Теплые и живые.

10.08.85

Ну, а теперь – теперь я в этой жизни на прочном якоре. Этому якору уже 7 лет. Вот так, Витулик, у тебя теперь есть братик, и он тебя любит действительно как сестренку. Он любит смотреть твои фотографии, всегда рвется ехать со мной к тебе на Южное и очень сердится, когда я его почему-либо не беру.

Вы очень разные, хотя бы потому, что он мальчик, а ты девочка, и в то же время, как говорила тетя А., вылеплены из одного теста. Вы тонкие, добрые дети, ранимые, но не умеющие ранить, жизнерадостные непоседы, с одинаково развитым чувством юмора.

Брата твоего воспитываю я строже и ровнее, чем тебя, и, как ни странно, отношусь к нему спокойнее, чем к тебе, то есть, не трясусь над ним, не балую и т. д.

...Это последняя запись в моем дневнике. Она сделана убористым, аккуратным почерком и не нуждается в большом межстрочном (через клеточку школьной тетради) интервале, которого требовали размашистые, не поспевавшие за напором мыслей, чувств, слов и слез буквы.

Постскриптум

10-28 февраля 2002

*О чадо, Я всегда сияю пред лицом верных,
Но они не хотят (Меня) видеть
или, лучше, закрывают глаза,*

*Не желая воззреть на Меня,
И отвращают лица в другую сторону.
Вместе с ними и Я поворачиваюсь,
становясь пред ними,
Но они снова бросают взор в другую сторону,
И [таким образом] совершенно не видят
света лица Моего.*

Симеон Новый Богослов. Божественные гимны

Летом 1986 года мы с восьмилетним тогда сыном две недели провели на Валааме. Попали мы туда в рамках восстановительной деятельности добровольной общественной организации «Мир».

Нашим участком работ было Игуменское кладбище, разоренное и поруганное. Нынешним насельникам Валаамского монастыря трудно и вообразить картину, которую тогда представляло место последнего упокоения их предшественников...

После работы светлыми, долгими вечерами бродили мы по широченным прямым дорогам, проложенным некогда монахами вдоль и поперек острова. Заходили в Спасо-Преображенский собор, который тогда еще только начинали восстанавливать, к Николе Морскому – как называют здесь высокий, стройный храм-маяк, стоящий на маленьком островке; там работали реставраторы из Москвы, и как-то раз они разрешили нам подняться до самого верха купола по шатким, качавшимся под ногами лесам. У меня до сих пор хранится найденный там на полу 30-сантиметровый кованый гвоздь... Ходили к скитам – Коневскому, Гефсиманскому, Воскресенскому...

Кажется, трудно, практически невозможно было не ощутить Бога на этой земле, в этих нежных закатах над безбрежным озером-морем, в тихих лесах, в соцветиях желтого вперемежку с фиолетовым мха, покрывавших гладкие валуны у уреза воды... Быть может, я Его и ощутила, и наверняка даже ощутила, но, скорее всего, в категориях какого-то стихийного пантеизма. Как бы то ни было, от Святого Крещения меня отделяло еще целых тринадцать лет.

...2 июня 1988 года открывалось празднование – открыто и безбоязненно впервые за 70 лет – 1000-летия Крещения Руси. День рождения моего сына – 1 июня, и я давно решила, что на десятилетие повезу его в Москву.

С самого утра мы поехали в Свято-Данилов монастырь. Я еще и не помышляла креститься, но на какой-то своей, как любит выражаться о. Александр Шмеман, «последней глубине» ощущала, насколько важно это событие для всякого русского. Каким-то образом уже ощущал это и сын. Дело было на Троицу, и он терпеливо выстоял в украшенном высокими тоненькими березками храме все праздничное богослужение (ничего в нем не понимая, как, конечно же, и я).

Потом мы долго сидели с ним на свежооструганном, только что сколоченном помосте перед надвратной церковью и смотрели, как водружают колокол взамен снятого в 30-х годах и проданного какому-то американскому университету. Пахло стружками и ходившим где-то рядом, но так и не пролившимся дождем.

Но и в тот раз Господь так и не дождался, чтобы я впустила Его вечерять со мной.

...Отец мой умер еще до войны, молодым и красивым, в полном возрасте Христа, мне тогда был всего год, мама же пережила отца на 52 года, и, глядя на измученное долгой безрадостной жизнью лицо ее на последнем прижизненном снимке, невозможно себе представить, что это та

самая хорошенькая 15-летняя девушка, что написала карандашом на обороте маленькой любительской карточки: «Шуре от Лили. 1921 год».

Летом 1991 года, к стыду своему, я не выдержала тягот жизни с престарелой мамой и попросила хорошо знакомого врача дать мне немного отдохнуть и положить ее к себе в больницу. (Годы спустя этот грех был исповедан Господу, но тогда, в 91-м, я еще была докой по части самооправдания, которое очень удобно уживалось во мне со страстью к самобичеванию.)

Недели через две мамино поведение стало, на языке медицины, «неадекватным», и ее перевели в психиатрическую больницу. Я аккуратно ходила к ней в приемные дни, приносила фрукты и ягоды, давала санитаркам и сестрам небольшие деньги, чтобы присматривали за ней.

Когда я пришла к ней, сама того еще не зная, в последний раз, она сидела на кровати, очень коротко остриженная, маленькая, совсем как девочка, как-то необычно кротко склонив голову. Надо знать мою маму с ее манерой то и дело горделиво, презрительно или негодующе вскидывать голову, чтобы понять, в чем была необычность. В этот раз сознание у нее было ясным, и, задав какие-то вопросы про наш быт и жизнь, она умолкла. Помолчала и я. И вдруг мне неудержимо захотелось погладить маму по белоснежной голове...

...Кто знал наши отношения (а я, сколько себя помню, ощущала ее как крест, она же, втайне меня любя и потихоньку от меня хвастаясь мною, въяве не раз кричала со своим страстным грассированием: «Будь ты пр-роклята, пр-роклята!»), глазам бы своим не поверил, и в первую очередь я сама, потому что за всю мою жизнь у меня ни разу не возникло желания приласкать свою мать... Но сейчас именно я гладила ее по голове. А она вдруг стала... целовать мне руки, плача и говоря сквозь слезы: «Ты уж прости меня, жизнь была такая!.. Тяжелая!..». Она была крещена, как все в ее время, во младенчестве, я же еще была нехристом, но, вспоминая эту сцену, не нахожу для нее другого слова, кроме одного-единственного – евангельская. Нам обеим, так виноватым друг перед другом, было даровано проститься в покаянии и примирении. Но это я поняла много спустя, а тогда, в больничной палате, опять не увидела смиренно стоящего возле нас Ангела Господня.

Я обещала маме прийти к ней в следующую субботу. В тот день я приготовила все, что нужно, упаковала и уже собиралась идти, как вдруг услышала звук падения и тихий плач сына. У нас была перекладина, которую я купила ему еще лет в пять, и он часто на ней подтягивался. Но именно в этот день одна из веревок, которыми она крепилась к косяку, неожиданно лопнула, и он рухнул плашмя на спину. В травмпункте определили перелом позвоночника, отправили в больницу, и я ходила туда каждый день: ему нельзя было двигаться. Так что к маме я не пошла, только забежала в справочное, отдать передачу. А в следующую субботу мне позвонили в шесть утра из больницы и сказали: «Елизавета Алексеевна скончалась».

На этот раз я поняла таки, что без Всевышнего во всем этом не обошлось. Но и теперь, когда Он дал знать о Себе столь явственно, я не отозвалась. Не я, а папина сестра, тетя Клава, или «Клавка», как всю жизнь непочтительно называла ее мама, заочно отпела ее у себя в Пушкине, в Софийском соборе, и, когда я спустя время к ней приехала, вручила мне листок с разрешительной молитвой, крестик, землю и писанную маслом по дереву икону Божией Матери. Все это я сложила в один пакет и убрала в старый книжный шкаф, где в самом нижнем отделении лежали все отцовские документы, старые родительские письма, семейные фотографии, свидетельства о смерти, в том числе Викиной, и мой дневник.

Время от времени я доставала Викины фотографии, поделки, школьные портфели, смотрела. Дневник не перечитывала: мне казалось, что я помню каждое его слово.

«Мамин» пакет тоже лежал неприкосновенным.

Летом 93-го – сын был в лагере – я вдруг решила разобрать старые семейные письма. Я не только их разобрала и рассортировала, но и перепечатала на машинке. Меня неудержимо тянуло к родителям, к сестре (ее не было на этом свете уже тридцать с лишним лет...), я даже думала, что они зовут меня к себе, и с особой осторожностью переходила в то лето улицу, боясь осиротить подростка-сына.

Я ходила даже в деревянную церквушку при больнице, заложенную, как я потом узнала, еще при Александре Втором и недавно снова ставшую действующей. Церковь была открыта, но служителей не было; минут через двадцать пришел священник и стал служить панихиду. Я поставила свечку за маму (только это я тогда и умела) – и пошла восвояси, и в этот раз ничего не ощутив.

Однажды я раскрыла наугад Библию (ее подарили мне еще в 91-м на день рождения, и я время от времени в нее заглядывала), и взгляд мой упал на слова: «Скоро я умру». (Я попыталась сейчас найти, откуда эти слова, и не нашла. Но запомнились они мне именно так.)

Я помню, что за окном было по-весеннему светло и празднично, и эти слова прозвучали таким диссонансом, что я, в печали и тревоге, оделась и побежала к друзьям, двум сестрам, людям, необыкновенным своей какой-то трезвой, если не сказать – суровой, участливостью (они столько для нас с сыном сделали в тяжелые постсоветские времена, что я никогда этого не забуду и век буду молиться о них).

Я боялась умереть по дороге и не успеть попросить их, чтобы, если я и в самом деле скоро умру, они присмотрели за сыном: в этом смысле мне тогда больше не на кого было положиться. Могла ли я знать в тот день, что скоро и впрямь умру, но умру в крещальных водах, чтобы возродиться банею пакибытия, умру, как умирает горчичное зерно, чтобы прорасти древом веры?..

И вот сын мой закончил девять классов, и надо было определяться с дальнейшим. Неисповедимыми путями Своими Господь привел его в школу при Богословском институте. Закончив же ее, сын поступил в сам институт. Институт был светский, но многие предметы вели священники, а начало учебного года и крупные события школьной и институтской жизни ознаменовывались молебнами. На втором курсе сын принял Православие.

Крестились кругом, но я по-прежнему сохраняла свою странную слепоту и глухоту и к факту Крещения сына отнеслась если и не равнодушно, то спокойно. А ведь мы были с ним душевно и духовно близки. И как же я жалею теперь о своем тогдашнем безверии: ведь я не только не поделила с ним эту ни с чем не сравнимую радость, но даже и не придала произошедшему какого-то особого значения...

Ему всегда было трудно рано вставать, но в субботу вечером он просил: «Мама, постарайся завтра разбудить меня не позднее восьми, что бы я ни говорил!». Ему нужно было попасть в храм не позднее половины десятого, когда начинается исповедь, а добираться туда надо было минут сорок. Он не курил, не пил и не ел перед выходом, и я, не понимая, *что* за этим стоит, первое время уговаривала его хотя бы выпить чашку чаю. Это я теперь, по себе знаю *«всем сердцем моим, и всею душою моею, и всею мыслию моею»* его тогдашнюю собранность и серьезность в эти воскресные утра...

Как всякий искренне уверовавший и благодатствованный новообращенный, сын мой пылал жаром апостольства и катехизаторства. «Пора, пора тебе окреститься! – солидно говорило яйцо, устраиваясь поудобнее, чтобы приступить к обучению курицы. – Отец Г. уж не одну нашу

мамочку окрестил. Хочешь, я с ним поговорю?». (Отец Г. был одним из любимых его преподавателей.) «Не дави на меня, я должна сама созреть», – отвечала я и приводила очередной расхожий контраргумент, например, о том, что мне не нужны посредники между мной и Богом, особенно такие, как тот священник, которого мы видели вчера по телевизору.

На это сын однажды ответил мне так, что раз навсегда убедил, и с тех пор я сама пользуюсь, когда поднимается эта тема, его объяснением: «Понимаешь, мама, в сан священника посвящают через рукоположение. Христос возложил руки на первоапостолов, они – на тех, кого рукополагали уже сами, те – на следующих, и так далее, по апостольской цепочке. Рукоположение – непреложное и неотменимое Таинство. Как бы ни вел себя священник, как бы ни грешил, его священство – если только его не извергнет из сана сама Церковь – сохраняет силу. Недостойнство священника не может лишить Таинства, которые он совершает, их действительности. Но зато на том свете отвечать он будет по особому счету, и он это знает. Так что его личным качествам просто не следует придавать значения».

Но, когда человек чего-то не хочет или боится, он найдет тысячи поводов этого избежать. Как я взвилась, к примеру, когда сын упомянул об очереди на исповедь. Я – я! – приду исповедаться, и мне нужно будет стоять в очереди, как в магазине?!..

«Когда же ты, наконец, крестишься? – не раз говорила моя одноклассница, с которой нас соединяют уже почти семейные отношения. – Я за тебя молиться перестану, если ты не крестишься!». Но и ее я просила не давить.

«Когда же ты, наконец, крестишься? Надо, надо!» – время от времени говорила и моя тетья Клава.

И однажды я сказала сыну: «Ну ладно, поговори с отцом Г.». Сказала так, будто делала одолжение и сыну, и священнику, и даже Самому Господу. Но в это время отец Г. уехал по каким-то делам, потом заболела я. Обыкновенной простудой, но, как всегда, с очень высокой температурой.

Одним утром я проснулась с раскалывающейся головой. Померила температуру – 39,8. И все же поплелась на кухню исполнить ритуальное действие: выкурить сигарету и выпить чашку кофе. Едва сделав несколько затяжек, я почувствовала неладное и, хватаясь за стены, побрела к себе. Но еще не дошла до книжного шкафа в прихожей, как внезапно меня швырнуло на пол. Очнулась от боли в виске. Приложила руку, взглянула – красная. Наверное, я отключилась на какие-то секунды, не более, потому что надо мной уже испуганно склонялся и поднимал под мышки проснувшийся от грохота сын.

Когда в очередном телефонном разговоре я рассказала об этом тете Клаве, она сказала: «Вот видишь!.. Это тебе сигнал. Бросай курить и крестись». Мудрая моя тетья Клава, она инстинктивно почувствовала, что Господь ко мне уже не стучится, а ломится.

...«Я хорошая! А если что во мне и плохо, то не я в том виновата!» – таков был лейтмотив моих воспоминаний о блокадном и послевоенном детстве, написанных в 1985 году. И понадобилось пятнадцать почти лет, чтобы прийти к диаметрально противоположному самоощущению: что это я, я виновата, виновата абсолютно перед всеми, кого считала виноватыми перед собой. Того обидела, эту предала, тому не помогла, этого оттолкнула... Я пыталась вспомнить о себе хоть что-то хорошее – и не могла. Это мучило меня страшно: как же так? да за что же тогда люди-то меня любят? (Это теперь я знаю, что Божественная педагогика, когда это необходимо, закрывает человеку глаза на то хорошее, что в нем есть...)

Напрочь, казалось, забытый эпизод вдруг настигал меня, и память с потрясающей легкостью и

услужливостью начинала разматывать очередной грязный и постыдный клубок, заставляя зажиматься в отвращении, трести головой, раскачиваться и стонать, как от зубной боли. Вот когда открылись мне слова поэта: «И, с отвращением листая жизнь мою...».

Сын приносил книги, долженствовавшие облегчить мне вхождение в христианство. Моей настольной книгой того времени стали письма святителя Феофана Затворника. И вот, прочтя однажды его письмо своей духовной дочери, где он призывает ее не заниматься самооправданием, а присматриваться к себе, до тех пор, пока не скажется: «Кругом виновата!»... – я ахнула. «Так вот оно что! Вот в чем дело! – просияло мне. – Так вот оно откуда!.. *Это же мне Господь покаяние дарует...*»

И когда, наконец, сын привел меня на собеседование с отцом Г. и тот спросил, почему я решила креститься в столь зрелом возрасте, я ответила: «Нищ и окаянен есмь...» (к тому времени я уже купила себе молитвослов, начала молиться, и молитва ко Пресвятой Богородице, откуда эти слова, до сих пор одна из самых моих любимых). «Ну уж!.. – примирительно сказал он и, помолчав, добавил: – Вы были игрушкой в руках дьявола и, сами того не сознавая, служили ему. А теперь вы будете служить Господу. Вы сознательно на это идете?» – «Да, сознательно», – ответила я с интонацией, которую помню до сих пор. «Ну что ж, в первую седмицу Великого поста я вас и окрещу», – сказал священник.

И на исходе Прощеного воскресенья, в последний вечер перед Великим постом, я сказала сыну: «Ну что?.. Выкурю последнюю?»

Сказать, что наутро я даже не вспомнила о сигарете, было бы неверно: я вспомнила, но с чувством радостной свободы. Нечто подобное, наверное, испытывал раб, когда его отковывали от галеры. А именно как раб на галеру плелась я, едва продрав глаза, на кухню, к первой сигарете и первой чашке кофе. Только после этого я могла начать день.

Надо знать, как пропитало все мое естество это пристрастие, сколько раз пыталась я от него избавиться, и в последний раз это удалось почти на четыре года, для того только, чтобы снова подпасть под табачное иго.

Надо знать, как просили меня бросить курить мои дети – сначала дочка, потом сын (он рассказывал мне страшную историю о том, как медведь курил в берлоге трубку и как дым увидели охотники и застрелили беднягу), как я обещала им это, бросала и снова начинала, сначала тайком, потом опять открыто. Дико это слышать, но я боялась, что без этих палочек-выручалочек жизнь моя лишится интереса и смысла.

Но в то первое великопостное утро, едва открыв глаза, я поняла: свободна. Каким-то неведомым дотоле чувством ощутила я всю непреложность и неотменимость произволения души, еще не сочетавшейся с Господом в Таинстве Крещения, но уже рабы Его. Да простит мне читатель выпренность этой фразы (и, может быть, многих других), но говорить о сошествии Духа Святаго на меня, грешную, на обыденном языке я не смею... Как сказал поэт, «прекрасное должно быть величаво».

Никогда больше у меня не возникало желания закурить, ни явного, ни глубоко запрятанного тайного. Душа моя нашла Бога – и успокоилась.

...Незадолго до Крещения мне понадобилось свидетельство о маминой смерти. Когда же я достала из того самого книжного шкафа в прихожей «мамин» пакет и стала вынимать его содержимое, рука моя ухватила нечто деревянное – и замерла. Это была Казанская икона Божией Матери, подаренная тетей Клавой восемь лет назад и прочно мною забытая. Все эти годы она терпеливо лежала в темном шкафу ликом вниз и ждала, когда пробьет для меня

«одиннадцатый час»...

И какова же была моя радость, когда, придя креститься, я увидела, что крещальная купель стоит под Казанской...

Месяцы, следовавшие за Крещением, вплоть до глубокой осени, слились для меня в сплошной солнечный день на фоне ярко-голубого неба. Я безвылазно живу в этом городе с самого рождения, но, по-моему, никогда у нас не было столько солнца. На своем собственном опыте познала я радость Божию о каждом кающемся грешнике.

...В 74-м году, вскоре после возвращения из больницы, посадила я несколько семечек лимона, одно из которых проросло и спустя годы превратилось в маленькое деревце. Но ни разу лимон мой не цвел. И вот однажды – было это месяца через два после Крещения – я почувствовала незнакомый сильный и нежный аромат. И глазам своим не поверила, когда увидела на лимоне крохотный, невзрачный, не раскрывшийся еще белый бутончик. Потом появился еще один, потом они начали раскрываться... Я рассказала об этом на исповеди. «А это чудо Божие!..» – с улыбкой, осветившей его аскетическое лицо, сказал отец С.

...Вскоре после того однажды утром я проснулась от веселого треска, несшегося из красного угла, и опять глазам своим не поверила, когда увидела, что это горит крохотный огарочек свечи, загашенный мною после вечерней молитвы. Я разбудила сына, чтобы он подтвердил, что это мне не снится, и потом еще молилась перед этим огоньком две-три минуты, пока он не погас...

Поэтому мне по-особому близки и понятны вот эти слова из притчи о блудном сыне: «...и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. ...ибо этот сын ...был мертв и ожил, пропадал и нашелся». А я пропадала так долго, всю свою жизнь, хотя первые ее тридцать почти лет, забыла об этом упомянуть, прожила напротив огромной иконы, украшавшей фронтон нарядной церкви, как я потом узнала, в московском стиле XVII века (ее потом взорвали в связи со строительством вентиляционной шахты для станции метро...); икона эта была как раз на уровне наших окон, и в темноте позолота ее призрачно и таинственно светилась...

...Через два с небольшим года после Крещения некий «юридический казус» моей новоначальной христианской жизни привел меня к отцу К., который, как я понимала, мог мне в этом деле помочь (он и в самом деле помог).

В тот день он отпевал молодую женщину. Видно, ее очень любили люди, потому что много их пришло проститься с ней. Смысл проповеди, произнесенной отцом К. после окончания этой печальной церемонии, сводился к тому, что у Бога все живы, что «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». В каком-то общем смысле я и сама это уже начинала постигать: помню, как, выходя однажды из храма, увидела у стены гроб, где лежала старушка, и впервые не ощутила привычного страха живого перед мертвым: ну что ж, вот отжил человек свое, сейчас проводят его в путь и отыдет тело в землю, а душа – на небеса, приуговляться к жизни вечной, так было и так будет.

Но глубже всего ту или иную истину постигаешь тогда, когда она персонифицируется. В тот день она персонифицировалась в образе упомянутого в проповеди священника сбитого машиной семилетнего мальчика. Надо ли говорить, что происходило во мне, когда он говорил о том, что самое, быть может, страшное, когда смерть внезапно уносит дорогое тебе существо, – это глядеть на вещи, которые после него остались: они еще полны жизни, но больше уже никогда не понадобятся хозяину... (Уж я-то это знала: с того страшного года я четыре раза переезжала и так и возила с собой два Викиных школьных портфеля с учебниками и

тетрадками, рисунки, поделки – всё то, в чем еще витает здесь ее душа...) Однако исследования феномена клинической смерти убедительно и утешительно подтвердили то, о чем Церковь знает давно: смерть тела не означает смерть души.

Потом был молебен, потом – Крещение, приходили на беседу люди, потом пришла стайка девочек лет 16-18, помянуть только что убитую подружку... Словом, шла обычная церковная жизнь. Предварительной договоренности со священником у меня не было, так что я набралась терпения и ждала. Я просидела практически на одном месте четыре часа, но, удивительное дело, организм мой не напоминал о себе: ни голодом, ни жаждой, ни какими-либо иными естественными потребностями. Я уже знала, что буду ждать хоть до утра. И надо ли говорить, что, когда отец К., наконец освободившись, подсел ко мне, я начала вовсе не с того дела, которое меня к нему привело, а с рассказа о том, что вот, у меня тоже была девочка, которая тоже... что теперь у меня сын...

Мы очень редко помним, как именно впервые возникла симпатия, дружеское чувство или даже любовь к тому или иному человеку, но это был не тот случай. Я до сих пор вижу дымку сострадательной печали на молодом лице отца К. и слышу его слова: «Так он даже и сестренку свою не видел никогда?..» И пытаться не буду объяснить, что именно так поразило меня в этом подразумеваемом, казалось бы, такой самоочевидный ответ вопросе. Может быть, само это простое, домашнее и такое теплое слово «сестренка», не знаю...

Меня очень мучило, что я не могу подавать прошения за нее, некрещеную, в церкви. Я слушала все прямые эфиры со священниками по христианским радиостанциям, надеясь услышать какую-то иную точку зрения, чем та, что души некрещеных, даже детские, прямиком идут в ад. Как-то на исповеди, еще в первый мой христианский год, я спросила, неужели это действительно так, неужели я ничего не могу сделать для своей дочки, если уж за некрещеных в церкви не молятся? Отец А. сокрушенно вздохнул, почесал в затылке и сказал: «Да... Ну вот, разве что молитесь дома святому мученику Уару». Я купила небольшую книжечку молитв этому святому и его иконку и молилась о Девочке своей...

Но, глядя сейчас на неподдельно участливое лицо отца К., я поняла, что могу получить иной ответ на не оставивший меня вопрос. И не ошиблась. «Я верю в милосердие Божие! Если девочка добрая, если девочка хорошая, милая – почему же душа ее должна пойти в ад?» – услышала я. «И в церкви за нее молиться можно?» – «А почему же нет? Не на проскомидии, конечно, но на панихиде – почему же нет?»

... Был предпоследний день весны, и за стенами храма дул сильный ветер. Я не знаю, было ли так на самом деле или это мне казалось, но весь тот день я явственно слышала низкое, тихое и вместе мощное резонирующее гудение колокола. Тогда этот странный звук проникал в меня, не облекаясь во что-то конкретное. Но сейчас, вспоминая тот день, я хочу различать в этом гудении так поразившие меня, когда я услышала их впервые, слова: *«Возверзи на Господа печаль твою!..»*

И началась для меня совсем новая, которая уже по счету, жизнь: с неперменным, по благословию вновь обретенного духовника и по своей собственной душевной потребности, посещением воскресных и (хотя бы самых важных) праздничных богослужений, с почти всегдашним Причащением, а значит, и испытанием совести. И самым в этой новой жизни поразительным на первых порах было то, что вдруг наполнились абсолютно новым содержанием кровные узы. Прадеды, прабабушки и бабушки, мать и отец, тетки и дядья, братья и сестры, отшедшие из мира сего, заполнили вдруг мои мысли. Я разыскала даже по просьбе двоюродной сестры, с послевоенного времени живущей в Харькове, могилку ее мамы, а моей тети Марии (она умерла задолго до моего рождения), на коммунистической площадке, что напротив Свято-Троицкого собора Александрово-Невской Лавры, убрала ее, посадила цветы,

стала и за эту свою тетю, как за всех сродников, подавать прошения Богу, а они ей как бывшей чекистке особенно нужны... А отец К. совершил заочное отпевание тех из них, кто, насколько я могла знать, отошли в мир иной без напутственных молитв и ходатайств за души их...

И, странное дело, теперь у меня не было суеверного страха, что это они зовут меня к себе. Напротив, столь внезапно пробудившуюся «любовь к отеческим гробам» я ощутила как некое возрастание свое, как дар Божий. Все эти «потусторонние» устремления, как ни странно, уживались с ощущением некоего мощного возрождения, хотя, казалось бы, о каком еще возрождении можно говорить после второго рождения Крещением? И, тем не менее, оглядываясь на все это время, я не нахожу других слов, кроме как: «Я процвела, как жезл Ааронов».

...И вот наступило 30 октября. Сказать, что я впервые встретила этот день со спокойным сердцем, было бы преувеличением. Но что по-другому, чем предыдущие двадцать восемь, – это точно.

Все эти годы, за считанными исключениями, я ездила к Вике одна. На этот раз мне показалось, что ей приятно будет, если к ней приедет еще кто-то, кого она знает. И со мной ездила на Южное моя одноклассница Оля, с сыном которой Вика моя дружила (он помнит Девочку мою очень живой памятью, он уверен, что, если бы она была жива, они бы обязательно поженились, и это бесконечно меня трогает), а вечером приехала моя бывшая сослуживица, с дочкой которой Вика только еще начинала дружить, но подружиться не успела. На следующий день отец К. отслужил панихиду... Так что в этот раз всегда тяжелая дата была отмечена как-то умиротворенно, и я отнесла это на счет того, что теперь-то знаю: долго ли, коротко ли, но обязательно с Девочкой своей встречусь.

Но буквально через несколько дней произошло событие, которое взорвало эту обманчивую умиротворенность. Даже не событие, а так, намек, версия, на сути которой я не стану здесь останавливаться: она исповедана духовнику, взвешена и отклонена. Но она заставила меня в поисках ответа достать свой дневник и, после многих лет, перечитать его снова...

А потом я попросила прочесть его отца К. Я чувствовала, что иначе мне из этого нового витка печальных размышлений и переосознаний не выбраться. «Вы столько моих тягот на себя взяли, – сказала я ему, – возьмите уж и эту...»

Почему так случилось, не мне судить, но едва только эта тетрадка покинула мой дом, как взыскалось мне сердце люботрудное и покаяния отверзлись ми двери... «Господи, прости меня, Господи! Господи, помоги ей простить меня! Господи, помоги, Господи, прости!». Ничего другого на ум и на сердце мне не всходило в те дни. Снова и снова вставала я перед иконами, захлебываясь все теми же словами...

Там, в этой тетрадке, я несколько раз поднимаю вопрос о своей вине перед Девочкой моей, обещаю «сформулировать» эту вину честно и прямо. Тогда я так этого и не сделала, хотя и формулировать тут было нечего: она была абсолютно ясна мне в первую же минуту после страшной вести, но у меня так и не хватило мужества сказать сразу: «Девочка моя, я не уберегла тебя, прости!». Не уберегла несколькими неосторожными, опрометчивыми словами и поступками, и то, что она о них и не знала, дела не меняет. Какими словами, какими поступками – Господь знает: я исповедала их Ему..

Но только теперь я добралась до подлинной, мистической сути случившегося и сказала, через столько лет, на исповеди: «Я лишила ее своей сакральной материнской защиты».

А ночью мне приснилось, что я стою между моими детьми, дочкой (я ее не видела, но

явственно ощущала живое ее присутствие и почему-то знала, что ей сейчас лет семнадцать) и сыном, и решаю, кто из них будет читать Псалтирь, а потом протягиваю ее Вике.

... Мне столько хотелось сказать в завершение своего послушнического труда, но я никак не могла решить, с чего именно начать. И вот как-то раз я подошла к своей «духовной» полочке – и неведомо как поняла, что же мне нужно. Я протянула руку и почти не глядя достала маленькую книжечку «О покаянии», проповеди митрополита Сурожского Антония... Когда я нашла нужное мне место и перечитала, в нем оказалось все, что требовалось, чтобы проложить мостик между моим прошлым, которого я отверглась, и настоящим и примирить их.

Вот оно:

«Апостол Павел говорит: *Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов...* Тяготы – это не только невзгоды, это вся тяжесть другой личности, другого человека. Некоторое время нести тяготы чужого горя, не очень продолжительной болезни, короткой ссоры мы все умеем; но как страшно бывает видеть, что, когда у человека горе неизбывное, болезнь не кончается, нужда не прекращается, то после короткого срока, в течение которого мы жалеем человека, окружаем его вниманием, носимся, возимся с ним, мы начинаем холодеть: неужели конца-края не будет его болезни, его нужде, его горю? Пора бы ему выздороветь! Пора бы ему встряхнуться, опомниться! Неужели всю жизнь мне с ним возиться?!.. Не так относится к нам Господь. Пока наша жизнь длится, десятилетиями он нас терпит, Он ждет, Он надеется; и Он активно все время, все время старается нам помочь...».

Совсем недавно, уже с головой уйдя в написание этих страниц, я вспомнила и исповедала отцу К. один непростительный эпизод как раз того периода, когда я делала последнюю запись в своем дневнике. У одних моих друзей случилась трагедия: ушел из жизни сын, милый и умный юноша. Когда наши дети были еще совсем маленькие, два лета мы снимали для них дачу в одной деревеньке, у меня сохранилась фотография, где он стоит рядом с моей Девочкой, положив, под давлением взрослых, руку ей на плечо. Оба надутые, в панамках... И вот этого мальчика тоже не стало.

Им было еще хуже, чем мне, еще беспросветнее: я-то смогла снова родить, а им уже было под пятьдесят. Она написала мне, именно у меня ища хоть какого-то утешения. А я... собиралась ответить, собиралась, да так и не ответила, полностью поглощенная тогдашним своим «романом». Чего ж я-то требовала для себя от других, если сама столь позорно ушла от чужих тягот, вместо того чтобы понести их так, как не мог бы никто другой?..

Сейчас я вижу, что, при тех ограниченных возможностях человеческого естества, которые так ярко очертил митрополит Антоний, люди сделали для меня так много, что никакие запоздалые слова благодарности не в состоянии это передать. Другое дело, что они не могли подменить собой Великого Утешителя... И я прошу у всех, кто тогда был рядом, прощения – не только за то, что воспринимала их помощь и сочувствие как нечто должное, но и за то, что отягощала их продолжавшуюся своим чередом и без того наполненную обычными семейными и деловыми заботами жизнь своим неизбывным горем, которое не умела прятать.

И в то же время – не пытаюсь смягчить сказанное – я испытываю невольное уважение к автору того потаенного дневника. Я постаралась не допустить на эти страницы, адресованные ребенку, никаких отзвуков той реальной жизни, которую я тогда вела, жизни человека, уже почти махнувшего на себя рукой, начавшего потихоньку спиваться и искать забвения в иных недостойных утехах. И я все-таки сумела из всего этого выбраться. И не ожесточиться. Наоборот, я искала возможности сделать хоть для кого-то хоть что-то хорошее, но, видно, еще не пришел этому срок.

...В последнее время по просьбе одной молодой пары, ведущей жизнь, полную трудов и забот, я иногда беру к себе их старшую дочку. Недавно ей разрешили считать меня еще одной своей бабушкой и звать на «ты». Сын мой стал совсем взрослым, горячие объятия и поцелуи в теплый детский нос остались позади, если не считать прощального и встречного клюновения, его не поведешь уже за шелковую ручку, а ненасытное женское естество снова властно требует своего – и детского тепла, и детской любви, и удовлетворения естественной человеческой потребности в чадолубии.

Придет время, даст Бог – появится и кровный внук. И наступит день, когда я возьму его на руки и впервые понесу к Чаше. Господи, это я-то...

Жила-была девочка... Она и сегодня живет, просто в другом месте и в ином качестве. Придет срок, долго ли, коротко, мне неизвестно, не мое это дело – знать времена и сроки, – и я присоединюсь к ней.

Смерть – это не точка, это двоеточие! (Послесловие свящ. К. Пархоменко)

Перед нами – книга, состоящая из двух частей: Дневник человека, потерявшего дочь (про дневник таких страшных дней хочется написать с заглавной буквы), и описание (по необходимости пунктирное, неполное, ибо невозможно вместить все пережитое в какое угодно количество страниц) последующего переосмысления всего случившегося и изживания горя.

Это честный рассказ о трагедии, от лица человека, такого, каким он был, и такого, каким он стал.

Что-то может показаться неидеальным в сегодняшнем миро- и богопонимании автора. Можно было бы что-то исправить, дополнить. Однако кто из нас идеален?.. Кто из нас закончен в своем внутреннем росте и становлении?.. Предлежащая исповедь (а эта книга, по сути, и есть исповедь, Промыслом Божиим обратившаяся в свидетельство) как раз тем и ценна, тем и замечательна, что дает представление о динамике духовного развития человека. И я знаю, что для автора этот путь, недавно начавшись, еще будет продолжаться. Годы автора – отнюдь тому не препятствие: отправиться в путь никогда не поздно.

Зачем нужно было издавать Дневник и писать к нему продолжение?

Людам, с которыми случилась трагедия, подобная той, что случилась с автором, книга открывает возможность увидеть, что путь дальше есть, и это не дорога в никуда, в бессмысленную и страшную своей пустотой жизнь (подобие жизни), но путь к новому опыту существования, к *претворению* горя, *пресуществлению* его.

Для людей, не лишившихся в жизни горячо любимых близких, эти страницы – напоминание о том, от чего и каждый из нас не застрахован, но главное – это призыв переосмыслить свое отношение к близким и родным людям.

Отцы Церкви писали: нужно жить каждую минуту нашей жизни так полноценно, так насыщено, будто это последняя минута, будто другой уже не будет. Таким же должно быть и наше отношение к живым. Так любить, так отдавать себя, словно это последняя встреча: последние слова, последнее пожатие рук, последний поцелуй.

И тогда, если встреча действительно окажется последней, – не будет ужаса от того, что не успел досказать, долюбить...

Нам следует раз и навсегда запомнить, вложить в сердце, растворить в себе и впитать в себя

мысль, что со смертью жизнь не заканчивается. Смерть – это не точка. Смерть – это восклицательный знак. Это знак начала новой жизни.

Нас и наших близких от смерти отделяет лишь очень тонкая перегородка, и нужно быть каждую минуту готовым к встрече с Вечностью. Именно поэтому и себя, и наших детей мы должны готовить не только к жизни «здесь», но и к Вечной жизни.

Об этом нам настойчиво напоминает и православный богослов-педагог протопресвитер Василий Зеньковский. Он пишет, что *воспитание – это спасение*. «Если формулировать тему воспитания, как тему спасения, то не значит ли это, что мы вводим эсхатологический момент в задачи воспитания? Но этого не только не следует бояться, этого, наоборот, нужно искать. Воспитание направлено на конкретную личность, судьба которой уходит в эсхатологическую перспективу, к которой мы все приобщаемся через смерть. Нельзя так жить, как если бы не было смерти. Эсхатологическая тема встает перед каждой личностью, как ее тема, и только в этом свете открывается нам вся глубина, вся сложность проблем жизни». «Цель воспитания в свете православия, – пишет о. В. Зеньковский, – есть помощь детям в освобождении их от власти греха через благодатное восполнение, находимое в Церкви, помощь в раскрытии образа Божия. Иначе это может быть сформулировано как *раскрытие пути вечной жизни, как приобщение к вечной жизни в жизни эмпирической*» (т. е. земной).

Итак, смерти не надо бояться. Смерть – это путь, к которому мы готовимся всю жизнь. Когда мы вступим на этот путь, знает лишь любящий нас Господь. Ни нам самим, ни нашим близким не дано прогнозировать *времена и сроки*. Нужно быть просто всегда готовым, а Господь Сам знает, когда это должно произойти.

Христианин обязан помнить о смерти, больше того, эта *память смертная* сообщает и жизни особый ритм. Раз мир идет к некоей цели, свершению, раз мы в этом мире являемся проводниками Божественной воли, значит, мы воины Божии со злом, с демонизмом, значит, нужно трудиться в этом направлении всю Богом отмеренную нам жизнь.

Христианин не должен лениться, расслабляться. «Господи и Владыко живота моего, дух праздности... не даждь ми...».

Но мы именно ленимся и расслабляемся.

И скорби нам напоминают, что вечность стучится, ломится в наши двери.

Одна женщина, потерявшая единственную и горячо любимую семилетнюю дочь, через несколько дней после похорон говорила мне, что только теперь поняла, какой бездеятельной и праздной жизнью она жила.

Смерть самых дорогих тебе людей дает возможность прочувствовать, какая наша жизнь преходящая, зыбкая, суетная. Пережив уход любимых в иной мир, начинаешь думать об ином мире и жить его жизнью, его ценностями.

Смерть – это не конец общению с любимыми людьми. Они с нами, как с нами и бесчисленный сонм святых Церкви. И мы можем общаться с ушедшими *в Отчий дом*, чувствовать их присутствие, помощь.

И перед лицом этих людей мы должны совершать свою христианскую жизнь, до конца честно, до конца искренне. Потому что впереди нас ждет встреча *навсегда*, которую уже больше ничто и никто не прервет.

Свящ. К. Пархоменко, 19 марта 2002

Лазарев год. 2002-2003

Благословен Отец Господа нашего Иисуса Христа,
Отец милосердия и Бог всякого утешения,
утешающий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым
Бог утешает нас самих
Второе Послание Коринфянам 1, 3-4

В канун Лазаревой субботы (далекого уже 2002-го), в последний день Великого поста, я получила в типографии небольшой тираж своей книги-послушания. Вике книжечка понравилась бы, я в этом уверена: обложку молча, не сказав по этому поводу ни слова, оформил никогда не виденный ею младший брат; каждый цветочек из похожих на праздничный салют букетиков с уже пожелтевшего листка ватмана он обвел «кисточкой» компьютерного ретушера, а с ее фотографией – крохотным, поблекшим любительским снимком, сделанным когда-то в Планерском, – сотворил сущее чудо, могущее быть оцененным лишь при сравнении с оригиналом...

Из типографии я привезла тираж прямо в собор. Отец К. отслужил молебен, и книга зажила своей жизнью, исполняя, как могла, свое назначение...

Однако еще до выхода книги из печати, еще прежде, чем, как говорили встарь, «просохли чернила», я начала понимать, что труд мой не вполне достиг своей цели: «Постскриптум» совершенно неожиданно для меня самой обрел смысл *свидетельства*; но я достаточно трезво оцениваю меру отпущенного мне Господом дара слова и веры, чтобы надеяться описанием своего пути к Богу явить подлинный источник утешения. И, хотя этот первый мой опыт публичной исповеди потребовал недюжинного напряжения, – уже в ту самую Лазареву субботу, когда получила из печати книгу, я снова села за дневник...

И вдруг, одна за другой, стали попадаться мне книги, где так или иначе затрагивается тема смерти и посмертной жизни души... Но никакого «вдруг» у Господа не бывает. Они не попадались мне тогда, когда я только еще начинала переосмысливать, уже *внутри церковной ограды*, случившееся с моей Девочкой и со мной. И это тоже, по всей видимости, не было случайным: тогда, на том этапе, от меня требовалось прожить заново свой личный и неповторимый, как у каждого из нас, опыт. Теперь же мне давалась возможность, выйдя за пределы своей личности, поверить его опытом скорбей и утешений сотен поколений, запечатленным на страницах Священного Писания и Предания, святоотеческих и современных книг, духовных и художественных, – и попытаться донести его до тех, кто нуждается в нем «по жизненным показаниям». Не так уж много, я думаю, охотников писать (и, увы, читать) о смерти среди нас, простых мирян, – не богословов, но имевших случай и причины заинтересоваться ею вплотную...

Конечно, это уже был совсем иной дневник, чем тот, давний: тот не предполагал читателя, о нем никто не знал, и отец К. стал первым его читателем; этот же, будучи продолжением послушания, – предполагал по определению. Но, как и тогда, моя реальная, повседневная жизнь на страницы дневника не проникала. Остались за бортом и все «взлеты» и «падения» мучительного периода моего воцерковления. Происходило нечто гораздо более важное, то, что точнее всего было бы назвать *допереосмыслением*. Путь к «ласковому успокоению» (цитируя мою сестру по несчастью Людмилу Зотову, автора книги «Я тоже потеряла ребенка», на которую я многократно дальше ссылаюсь) оказался гораздо более многосложен и

многоступенчат, чем представлялось, когда я заканчивала свою первую книгу.

27.04.02

Лазарева суббота, «радость со слезами на глазах». Рассказ о воскрешении Лазаря тем для меня и замечателен, что не просто требует безусловной веры в обетованное Богом всеобщее воскресение, но и *благословляет на скорбь и слезы...*

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, – читаю у ап. Иоанна (11, 33-36), – Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойд и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его».

Вот ведь и Он, Совершенный Человек, *восскорбел, прослезился...* «Где вы положили его?» – это ведь сквозь слезы сказано...

28.04.02

Сегодня, на Входе Господнем, после долгого перерыва опять встретила в храме так запомнившуюся мне пару...

Однажды на Литургии я увидела прямо перед собой высокую молодую женщину, державшую на руках мальчика лет пяти. Мальчик сидел на руках у матери, обхватив ее за шею и крепко прижавшись щекой к материнской щеке, совсем как Богомладенец на Владимирской иконе Божией Матери. У них были красивые и удивительно похожие лица.

Ребенок был без обуви, в одних носочках, и понятно было, что у него что-то с ножками. Непонятно другое: как мать сумела продержат его на руках всю службу. Когда, уже после Литургии, стояли ко кресту, они опять оказались прямо передо мной, и тут уж я спросила: «Вы знаете, я смотрела на вас и поражалась – как вы сумели продержат такого большого мальчика все это время... Простите меня, пожалуйста, что с ним?..». Оказалось, он попал под машину; к счастью, пострадала только ножка. И вот она носит его к Причастию, но перед тем отстает с ним на руках всю службу.

Я встречала эту милую пару в храме еще несколько раз, потом они исчезли из моего поля зрения, и вот теперь я увидела их снова. Мальчик уже был на ногах. «Ну что, поправились?» – спросила я. «Да, все в порядке, спасибо!» – приветливо ответила женщина, а потом, помолчав, прибавила: «Знаете, это ведь у меня на глазах было... Я стояла у окна, а он играл во дворе. И вдруг я увидела, что на него наезжает машина, – и перекрестила его. И вот... видите, Бог спас!..».

И перед глазами у меня, как на телеэкране, встал дом-корабль, в который нас выселили из пошедшего на капремонт дома на Марата, моего «родового гнезда». И как мы выходим из нашей парадной, и я целую мою Девочку, и она идет налево, в школу, а я – направо, на работу. И почему-то я ухожу не сразу, хотя и опаздываю, а какое-то время гляжу вслед худенькой длинноногой девочке в черной курточке и темно-красной вязаной шапке с помпоном, купленной за год до того в Аэгвийду... Я не перекрестила ее на прощанье, как перекрещиваю сегодня сына, как та милая молодая женщина – своего безмятежно играющего мальчика: мое тогдашнее мое безбожие такого не предусматривало.

Это было утро понедельника; на уроке математики Вика записала задание на вторник, которое так никогда и не было сделано.

5.05.02

Пасха, Светлое Воскресение Христово, четвертое на моем коротком христианском веку...

Снова в храме читалось непревзойденное «Слово огласительное» святителя Иоанна Златоустого. А уже дома прочла в «Слове о смерти» святителя Игнатия (Брянчанинова) другое «Огласительное слово», святителя Кирилла Иерусалимского:

«Ужаснулась смерть, узрев, что снишел во ад новый Некто, недержимый тамошними узами. Почему же, увидев Его, убоялись вы, вратницы адовы ([Иов. XXXVIII, 17](#))? какой необычный страх овладел вами? Бежала смерть, и бегство обличило боязнь. Стеклись святые Пророки, и законодатель Моисей, и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Давид, и Самуил, и Исаия, и Креститель Иоанн, который вещает и свидетельствует: Ты ли еси грядый, или иного чаем ([Мф. XI, 3](#))? Искуплены все праведные, которых поглотила смерть: потому что проповеданному Царю надлежало соделаться Искупителем добрых проповедников. И после сего каждый из сих праведников сказал: где ти, смерти, жало? Где ти, аде, победа ([1 Кор. XV, 55](#))? Нас искупил Победодавец».

12. 05. 02

Вчера, в Светлую Субботу, после вечерней службы, отец К. подошел ко мне и протянул книжку необычно узкого и высокого формата. На обложке стояло: «Я тоже потеряла ребенка». Автор – Людмила Зотова.

Сразу после службы меня позвали в гости, и хотя быть там оказалось для меня и интересно, и важно, книжка, казалось, жгла мне сумку, и я не могла дожидаться, когда попаду домой. Дома я присела с нею на угол кровати и, когда встала, уже совсем рассвело. Я написала на титуле своей книжки: «*Без слов. Р. Б.*» и принесла ее в храм, с тем чтобы отец К. передал ее Людмиле.

...Я не знаю, перекрестила ли она своего Андрюшу, когда он весело вбегал в воды залива. Если и нет – могла ли она знать, что он вбегает в Вечность?..

Человеку неверующему, наверное, абсолютно невозможно понять и простить Богу то, что Он забрал ребенка к Себе *через неделю после первой его, уже отроческой, исповеди и первого отроческого Причастия*... Людмиле, еще только, по сути, начинавшей воцерковляться, пришлось набраться недоступного нерелигиозному сознанию мужества, чтобы принять *такой* Его Промысл о чаде ее.

К счастью – да простится мне неуместность этого словечка, – к тому времени, когда жизнь ее (цитирую) «опрокинулась», священный опыт поколений, державшийся под спудом в мое время, был уже открыт и доступен каждому. И она припала к этому святому источнику.

Могло ли это снять, отменить боль от внезапной, как и у меня, потери ребенка? Конечно, нет. Но правда и то, что, искавшая и так и не сумевшая найти Бога, через два года пыталась «изжить» горе в буквальном смысле, то есть вместе с самой жизнью, то мама Андрюши Зотова через те же два года... написала книжку во утление печалей ближних.

«Горе принято, – пишет она. – И надо хорошенько осмотреться – а что же делать теперь? “Когда пришла беда, то ее не сбросишь, как тесную одежду, надо перенести. По-христиански ли ты перетерпишь ее или не по-христиански – все же перетерпеть неизбежно, так лучше уж перетерпеть по-христиански”, – уверяет св. Феофан Затворник. Это наш крест, данный нам в руки Иисусом Христом по Его усмотрению. Мы его обязаны нести дальше по жизни. И, как пишут святые отцы, “ропот и малодушие тоже крест, но крест отверженного разбойника”».

Я не могла и не умела перенести горе по-христиански, я даже не знала, что такое возможно.

Только теперь я отчетливо увидела, что весь мой дневник пронизан ропотом и малодушием отверженного – и отвергающего – разбойника. Я знаю, что над моей книжкой многие скорбели и плакали, но знаю и то, что это был плач о погибшем ребенке, а если и обо мне кто-то плакал, то потому только, что говорила я с креста.

Уже тогда, по горячим следам, я не могла не ощутить пожизненность этого креста – но, видимо, подсознательно, втайне от себя самой, надеялась, что найдется некий Симон Киринаянин, который подставит под него плечо... Мне еще не дано было постичь истинный смысл кажущихся такими банальными слов: «У каждого *свой* крест».

13. 05. 02

«Как это все-таки могло случиться? Если это наказание мне – то почему наказан ребенок? Она-то перед кем провинилась? Зачем нужна была этой объективности Вика?» – роптала я тридцать лет назад на некую «слепую случайность-необходимость-объективность», не смея или не умея назвать ее Богом.

«Почему же Бог взял не меня за мои грехи, а именно его, маленького мальчика?» – задавала Людмила тот же вопрос, что и я. Но, поскольку вопрос этот был обращен не в пространство, как мой, а священнику на исповеди, она ответ получила: «А ты не спеши, значит, твоя душа еще не готова предстать перед Богом, а его – уже созрела». Да, именно так у Марка ([Мк 4, 29](#)): «*Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва*»...

«Мне сказали недавно, – заключала я свои безуспешные попытки обрести Бога: – “Если бог добр и допускает то, что происходит, – то зачем он? Если он зол – он и подавно не нужен. Если же он непознаваем – то я могу обойтись и без него”».

И на это, оказывается, давным-давно существовал ответ, и не в бровь мне, а в глаз:

«Верь, что отрицать Бога, – говорил митрополит Антоний Храповицкий, – и принять эти выводы о добре и зле, о бессмысленности жизни никто искренно и продуманно не может, и глаголы отрицания у людей – одно бахвальство и *желание отделаться от укоров совести*».

«Его смерть казалась бессмысленной, напрасной, – мучилась Людмила. – Почему так рано ушел человек, который мог бы принести в этот мир столько хорошего?»

«Смерть есть факт несомненный, – отвечает и ей митрополит Антоний Храповицкий, задолго до ее вопроса. И предлагает взглянуть на него с другой стороны: – Скажи, есть ли какой смысл в нашей жизни, если она кончается здесь, в то именно время, когда душа исполняется зрелостью и жаждет разумения?»

Подумать только: когда я билась надо всеми этими «проклятыми» вопросами, в уверенности, что ответов на них *по определению* не существует, ответы эти были даны – давным-давно, определенно, недвусмысленно и исчерпывающе.

15. 05. 02

Через отца К. мне явно передается некая (хотя – что значит «некая»? как будто может быть вопрос, Чья!) воля, подталкивающая к дальнейшей «ревизии» осмысленного за этот год. Принес мне «Мать Мария» протоиерея Сергия Гаккеля. Об этой книге я уже знаю, ее не однажды цитирует Людмила: мать Мария нам сестра по горю: она потеряла двоих дочерей... Прочла книгу взахлеб. И, читая, конечно же, все время примеряла ее к себе, к своей потере и своим тогдашним мыслям и ощущениям...

Мне хватило душевной глубины, чтобы ощутить, как и монахиня Мария, что «вдруг открылись какие-то ворота в вечность, что вся природная жизнь затрепетала и рассыпалась, что законы вчерашнего дня отменились, увяли желания, смысл стал бессмыслицей и иной, непонятный смысл вырос за спиной крылья». Но мне не хватило ее веры, чтобы понять, что это называлось – «посетил Господь».

«Чем? Горем? – пишет она дальше. – Больше, чем горем, – вдруг открыл истинную сущность вещей, – и увидели мы, с одной стороны, мертвый скелет живого, мертвый костяк, облеченный плотью, ...мертвенность всего творения, а с другой стороны, одновременно с этим увидели мы животворящий, огненный, все пронизывающий и все попадающий и утешительный Дух».

Мертвый костяк живого я увидела, но до животворящего утешения Духа предстояло прожить еще целую жизнь, уже вторую по счету.

«Потом время, – говорят, целитель, а не вернее ли «умертвитель»? – продолжает мать Мария, – медленно сглаживает все. Душа опять слепнет. Опять ворота вечности закрыты. [Но] человек может каким-то приятием этих иных законов удержаться в вечности. Совершенно не неизбежно вновь впасть в будни и мирное устройство будничных дел, пусть они идут своим чередом, сквозь них может просвечивать вечность, если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только человеческой, но и Богочеловеческой судьбы. То есть от своей личной Голгофы, от своего личного крестоношения, вольной волей принятого».

Я могу только лишней раз возблагодарить Господа за то, что он не дал душе моей ослепнуть – она зажмурилась, но не ослепла. «Посещение Господне», о котором говорит мать Мария, тлело в потаенном до времени уголке души, то вспыхивая, то пригасая в «устройении будничных дел», сопряженных со взращиванием в одиночку чада моего, и... в поиске хоть какого-то баланса в ощущении себя матерью двоих детей, один из которых – «здесь», а другая – «там».

Святое Крещение расставило все по своим местам. И, чем дальше шло время, теперь уже новозаветное, тем ярче становился другой свет, исходивший из прикрытых до времени «ворот вечности».

Переосмысление в этом новом свете трагической, по земным меркам, судьбы моего ребенка шло по какому-то неведомому мне, но несомненно существующему плану, определившему собой «потустороннее» направление моего духовного чтения последнего времени и придавшему моему «пожизненному кресту», о котором я писала позавчера, совсем иное значение, вес и достоинство...

28. 05. 02

Вчера поздно вечером сын позвал к телефону. «Здравствуйте, это Люда Зотова!..» – услышала я... Из нашего долгого разговора приведу лишь то, что поразило больше всего. «Вы знаете, – сказала она, – я недавно ехала на электричке, смотрела на зеленые елочки и плакала». «А ваш Андрюша тоже любил лес?..» – осторожно спросила я. «Нет, я вспоминала, как вы с Викой ходили по лесу...»

Так же удивительна, как этот ответ, и ее книжка.

До 40 лет Людмила прожила относительно спокойно и была уверена, что и «оставшиеся годы пройдут сравнительно ровно».

«И вдруг жизнь моя опрокинулась. ... Не верилось, что это случилось со мной. Ведь Бог,

казалось, был на моей стороне всегда! И что же теперь? Как вставать по утрам? ... С первых же дней я стала искать матерей, уже испытавших на себе это тяжелейшее горе. Мне верилось, что они постигли тайну преодоления этого невозможного ужаса, раз они остались живы. В них, матерях, похоронивших своих детей, я искала поддержки. Бог дал мне ее, в том числе и устами моих сестер по несчастью. Встречи с ними были для меня неожиданны, случайны и радостны, насколько это мыслимо в нашем положении. Мы вместе плакали, утешались и были друг для друга роднее родных. И вот, испытав на себе потребность общения с людьми, переживающими подобное, я решила написать для вас, родители, оставшиеся без детей, эту книгу».

На узеньких, длинных полосах ее книжки, заполненных мелким убористым шрифтом, иногда сплошняком, без передышки на абзацы, я узнаю себя: ну да, да, конечно, именно так... Вот, например:

«Бог дал мне крепкое здоровье, подорвать которое не смогла даже такая трагедия; но в душе я чувствовала ужасающую боль. Когда она переполняла какую-то невидимую мне емкость, она истекала слезами и криками, а затем концентрировалась опять».

Да, все так и было, кроме криков, увы: умей я кричать – легче бы было. Моя душа истекала слезами; они текли и текли, без всхлипов, без рыданий, тихо и ровно, как течет вода из крана, внезапно сменяясь глубоким, провальным коротким сном, причем где угодно: на работе, в метро, в трамвае... А так знакомое мне «переполнение невидимой емкости», истекание и новое заполнение ее на языке психиатров называлось «ожогами»...

А вот дальше у нее – то, до чего ни мои психиатры, ни я своим материалистическим сознанием не додумывались:

«И тут я поняла, что ни один мой материальный орган не болит, но я ощущаю при этом физическую боль неизвестного мне органа! Это и есть душа? Наверное, она давала мне знать о себе и в минуты радости, но мне удобнее было не думать о ней. А теперь она разрывалась от боли и именно требовала лечения.

Примерно через год после своего открытия подтверждение, почти дословное, я прочла у диакона Андрея Кураева: “Душа – это то, что болит у человека, когда все тело здорово”. ...Пожалуй, первое утешение пришло сразу же с этим открытием. Если существует душа, не видимая глазом, значит, она есть и у сыночка! И смерть его тела совсем не обязательно связана со смертью души. В этом хотелось разобраться».

Как и мне хотелось разобраться в этом, когда я прочла у Голсуорси мысль о том, что душа не умирает со смертью тела! Но у него существованию души был положен предел, то есть тот срок, до которого человек должен был бы дожить при естественном, а не роковом, ходе событий.

«Это и утешительная мысль, – размышляла я в своем дневнике, – и в то же время... разрушительная. Как тяжело нам с тобой, Девочка моя! О чем ты там думаешь, одна, все время одна? Знать, что где-то, в каком-то виде, ты существуешь, и не иметь возможности общаться с тобой! Нет, это действительно разрушительная мысль».

Правда, дальше там у меня мысль, очень близко подходившая к тому, о чем я положительно узнала только теперь, то есть о самостоятельном, независимом от своей брэнной оболочки, статусе души: «Но если сознание твое продолжает еще жить, знает ли оно, что произошло с телом?..»

Увы, эти мои вопросы задохнулись в вакууме «чистого разума», не знавшего Бога.

27. 07. 02

Давно ничего не записывала: была большая и очень трудная работа. Был срыв, душевный, духовный и всяческий. Никакого последовательного «возрастания» быть не может, лишний раз в этом убедилась. Вчера исповедалась.

Сегодня с утра съездила, наконец, к Вике, посмотреть, сделан ли там небольшой ремонт, заказанный ко дню ее рождения. Пока нет.

Вечером – у сестры моей во Христе Л.; вместе с ней и милой молодой женщиной Т. по очереди читали Причастное правило. Впечатление очень сильное.

Уже уходя домой, я увидела на столе книжку Р. Моуди «Жизнь после жизни», о которой только слышала, но не читала, боясь ее почему-то, как и книги Артура Форда на ту же тему, купленной еще десять лет назад и так и пролежавшей нетронутой. Теперь же мне неудержимо захотелось их прочитать.

28. 07. 02

Потрясение... Я понимаю, что нельзя принимать за абсолют и за какое-то открытие то, о чем пишет Моуди: свидетельства его пациентов, переживших клиническую смерть, лишь подтвердили то, что *Церковь знала давно*.

И все же – потрясение. Мысли, картины, образы тех немислимо емких минут, часов и дней, как в каком-то бездонном калейдоскопе, по видимости хаотично, но подчиняясь одной доминанте – *что именно Вика могла видеть и слышать, оказавшись там*, – сменяют друг друга... Но фиксировать здесь я ничего не буду – это значило бы переносить акцент с ее переживаний тех первых минут, часов и дней на свои. Довольно с меня и того, что теперь, после чтения Моуди, я хоть это-то хоть как-то представляю.

29. 07. 02

Господи, сколько близких людей ушло из этой жизни на моей сознательной памяти, а я н-и-ч-е-г-о не знала о том, что встречает их за земной чертой, как они там, да какое там «как они»: известие о смерти человека означало для меня конец его существованию вообще, где бы то ни было... Мне и в голову не приходило, что за всеми этими «народными» датами – третьим, девятым, сороковым днями – стоят напряженные, драматические перипетии *дальнейшей, уже потусторонней, но абсолютно реальной жизни души*.

...30 октября 72-го ровно в 16.30 (у меня была какая-то причина взглянуть в этот момент на часы), то есть практически *в ту же минуту*, когда душа моей Девочки, послав мне отчаянный сигнал, отправилась своим, неведомым мне путем, у меня схватило желудок, притом таким образом, как никогда до этого, но с тех пор именно так он будет мучить меня многие годы потом и отпустит только уже года два спустя после Крещения...

30. 07. 02

Сегодня была у Вики. Бригадир все сделал. Посадила цветы, полила, через неделю – ее день рождения. На обратном пути, как всегда, зашла к А. и ее маме, легшей к ней через год.

«Что я здесь делаю? – внезапно подумалось мне, когда я проходила мимо прощального павильона, где без малого тридцать лет назад лежала в своей любимой пионерской форме и

красной пилотке моя Девочка и все подходили к ней прощаться под «Грезы» Шумана. – Все самые дорогие, самые близкие уже там. Я за ними вдогонку хочу. Господи, забери меня отсюда, пока я *хотя бы такая*, как сейчас!..».

Уже дома я нашла в книге о матери Марии это «вдогонку»:

«Я не только к Отцу хочу в вечность, – разъясняла она в статье «Рождение в смерть», – я хочу нагнать моих любимых братьев и детей, которые уже родились в смерть, то есть в вечность, я хочу вечного и неомраченного свидания с ними. И если это свидание будет, – а я знаю, что оно будет, – то все остальное не так уже и важно. Бухгалтерская книга будет подытоживаться не здесь, когда она не вся еще заполнена, а там. И в расходе будут стоять только две статьи: два рождения, или, вернее, две смерти человека, а в приходе будет стоять одно слово: “вечность”».

31. 07. 02

На мое «вдогонку хочу» св. Иоанн Кронштадтский ответил так:

«Ты в горести души своей желаешь иногда умереть. Умереть легко, недолго: но готов ли ты к смерти? Ведь за смертью следует суд всей твоей жизни ([Евр. 9, 27](#)). Ты не готов к смерти, и если бы она пришла к тебе, ты затрепетал бы всем телом. Не трать же слов по-пустому, не говори: лучше бы мне умереть, а говори чаще: *как бы мне подготовиться к смерти по-христиански верою, добрыми делами и великодушным перенесением случающихся со мною бед и скорбей и встретить смерть без страха, мирно, непостыдно, не как грозный закон природы, но как отеческий зов Безсмертного Отца небесного, святого, блаженного, в страну вечности* (курсив мой...).

Вспомни старца, который, утрудившись под своим бременем, захотел лучше умереть, чем жить, и стал звать к себе смерть. Явилась – не захотел, а пожелал лучше нести тяжкое бремя».

Я снова пролиставала «Мать Мария» и нашла те слова, которые, не противореча желанию «нагнать» самых дорогих, в то же самое время просто и недвусмысленно очерчивают направление, в котором обязана *продолжать* трудиться («и день, и ночь, и день, и ночь...») моя душа:

«В черный зев могилы летит все: надежды, планы, привычки, расчеты, – а главное, смысл, смысл всей жизни. Если есть это, то *все надо пересмотреть, все откинуть, все увидеть в тленности и лжи*» (курсив тоже мой).

Ничего важнее этого на самом деле нет. Каждый «работник одиннадцатого часа» слышал это злорадное: «Жила, как хотела, а теперь грехи замаливаешь?». Не в том дело, не в моем личном спасении. Одного хочу – успеть очиститься так, чтобы там быть хоть немножко поближе к Богу. Для чего? Для одного – чтобы Он лучше слышал мои молитвы о тех, кого я оставляю здесь, на земле...

4. 08. 02

Сегодня мне рассказали историю, живо напомнившую рассказ Вересаева, о котором я писала в своем давнем дневнике (как одну женщину, вот так же неожиданно потерявшую девочку, знакомый врач призвал в госпиталь – ухаживать за ранеными, пилить дрова, стирать и т. д.).

У одной женщины погиб сын, в 37 лет. Он был моряком, и в шторм его смыло волной за борт.

По своему опыту знаю, что внезапная смерть близких – самая тяжело переносимая из всех возможных. Она обрушивается, как тот шторм, без какой-либо подготовки, и – кого-

то на время, а кого-то и навсегда – смывает за борт этой жизни.

Женщине этой, если так можно выразиться, повезло: когда-то она училась вместе с настоятельницей одного женского монастыря, и та позвала ее к себе. В монастыре она выполняла самую черную и тяжелую работу, вечером валилась в постель и забывалась на несколько часов в мертвецком, без сновидений, сне. Так она выжила.

«А мне вот пришлось заниматься тоже напряженной, но умственной работой, которая оказалась очень плохим лекарством», – с грустью писала я когда-то, не понимая, что к *чадам Своим*, к тем, кого Он *знает*, Господь милостив и скор на помощь и утешение. Так было с Людмилой, так было с этой женщиной. Мне же, хоть и сострадав втайне, Он говорил неслышно: «Не вем тя...».

7. 08. 02

Сегодня Вике исполнилось бы сорок лет. Странно подумать... И у меня уже могли бы быть почти взрослые внуки, и я была бы уже бабушкой «со стажем»...

Почему-то вспомнилось прозвище «Щеки», которое дали Вике продавщицы нашего углового магазина, куда мы с ней регулярно приходили за молоком. Он мне и посейчас снится иногда, этот магазин, хотя на его месте теперь уже что-то совсем другое.

Маленькая, Вика была щекастая, особенно когда на ней было синее плюшевое пальтишко с капюшоном, подпиравшим щеки и делавшим их еще более пухлыми. «А, Щеки пришли!» – издали улыбались нам продавщицы молочного отдела, едва мы переступали порог. Вику они любили – она была приветливая девочка и очень забавно говорила, – и всегда насыпали ей в кармашек жареных семечек.

Как хорошо, что она у меня была. Пусть недолго, всего десять лет, но ведь была же. Слава Богу за все! Печаль моя светла.

И увядание земное

Цветов не тронет неземных,

И от полуденного зноя

Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет

Того, кто ею лишь живет,

Не все, что здесь цвело, увянет,

Не все, что было здесь, пройдет!

Ф. Тютчев

21. 08. 02

Сегодня вечером снова взяла в руки книжечку Людмилы, и она раскрылась на удивительном, самом, может быть, трогательном и утешительном, месте:

«Маленькие люди, живущие внутри матери, проводят там целый жизненный этап. Это

полноценная жизнь, имеющая тепло, питание, тесную связь с матерью, отдаленные представления о какой-то “иной жизни”, прорывающейся сквозь тело матери (голоса, звуки музыки, запахи и т. д.). И вот приходит момент необходимости перехода в другой мир, кажущийся нам теперь таким важным, едва ли не единственно реальным. И этот переход воспринимается младенцем, очевидно, подобным смерти: режущий свет врывается в глазки, ничем более не сдерживаемый шум давит на нежные ушки, страшный поток воздуха обжигает легкие, меняется тело – отделяется плацента, пупочный канатик – это катастрофа и смерть, но лишь для той жизни, которой жил малыш до сего момента. Для нас же, родителей, это счастье рождения нового человечка, подобного нам. И вот наступают дни равноценного общения с ним. Человек пришел в жизнь своих родителей. Позже станет понятно, что эта жизнь – еще один этап, переход к настоящей жизни, приготовленной нам Создателем. И опять – изменение тела, оставление очередной “плаценты”, отделение очередного “пупочного канатика” связи с родными, яркий новый Свет, новые звуки, новые ощущения будут пугать в начале перехода. Но это – переход к Отцу, в вечный Дом. И там встречает нас любящий нас Отец, без сомнения, с не меньшей радостью, чем мы встречаем на земле своих детей. И оставленное на земле тело перешедший в вечную жизнь не вспоминает, так же, как новорожденный не плачет о расставании с плацентой».

27. 08. 02

Вот уже третье 27 августа мы с двоюродным братом приезжаем на Смоленское кладбище помянуть нашу бабушку. Умерла она еще до нашего появления на свет, но, кроме нас, навещать ее некому...

Мои родственники рассказывали о ней как о грешнице, страдавшей некоторыми человеческими слабостями. Мне трудно, да и не хочется, судить эту не старую еще, но изможденную женщину с семейной фотографии, сидящую в окружении восьмерых своих детей. Это ж надо было их всех выносить, родить, выкормить, вырастить... И я верю, что милость Божия почивает и на ней: родилась-то она 6 июля, под покровом Пресвятой Богородицы, в празднование Ее иконе «Умиление», а умерла – 27 августа, перед самым Успением...

Как бы то ни было, сегодня мы еще только подходили к ее могилке, а в воздухе уже была разлита какая-то неуловимая радость. Казалось бы, все было точно так же, как и в прошлое посещение: и мягкое солнышко уходящего лета, и последние комары, и тишина... Так – да не так. Совсем далекие по своему жизненному опыту, судьбе и мировоззрению, мы с братом дружно и с какой-то особой душевностью «сервировали» бабушкин столик, выпили за помин ее души, а потом еще долго сидели, вспоминая наше общее детство. Когда прибирали за собой, брат сказал: «Мне кажется, бабушка была здесь, с нами...». Мой упорно и, я бы сказала, как-то даже панически неверующий брат...

«В прошлый раз так не было, – размышляла я на обратном пути. – Почему именно сегодня было иначе?» И вдруг озарило: «Да ведь теперь о ней молятся на проскомидии! Она же об этом не может не знать, она же там тоже причащается! И как ей не радоваться, как же не дать знать, что она нас видит!...»

«Подобно тому, – пишет протоиерей Сергей Булгаков в своей работе «Жизнь за гробом», – как в таинстве покаяния объективный момент прощения греха неразрывно связан с внутренней активностью покаяния, так и в действительности церковной молитвы об усопших предполагается известная ответная активность самих усопших. Принятие дара церковной молитвы означает и активное усвоение этой помощи Церкви, притом всей Церкви, без ограничения, то есть Церкви как живых, так и мертвых».

О бабушке молятся, она – слышит, кается и радуется...

28. 08. 02

Конец августа – удивительное для меня время: бабушкина память, а завтра – Успение Пресвятой Богородицы; Спас Нерукотворенный, а завтра – память мамы. В храмах и «при гробах»...

В нашем соборе праздничность такого печального, казалось бы, события, как день Успения Божией Матери, ощущается особенно наглядно. В это время солнце начинает закатываться уже гораздо раньше, чем летом, и во время Чина погребения Богородицы, который служится вечером, оно оказывается точно на уровне застекленного верха западной двери храма и заглядывает к нам всем своим огромным и радостным ликом. И когда процессия, совершающая крестный ход (а собор в плане представляет собой крест и так велик, что можно совершать крестный ход, не выходя в мир), оказывается в западной части, лица людей в мощных потоках закатного света, напоминающих трубы какого-то огромного органа, становятся осиянными, словно у святых...

На Успение Пресвятой Богородицы в храмах поют: «Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся, светло торжествуя, и воспою, радуясь, Тоя успение».

7. 09. 02

Вернулся из отпуска отец К. Когда сегодня я пришла к нему в собор, он как раз собирался сходить неподалеку исповедать и причастить одну старушку. И тут, сама не знаю, почему, я сказала: «Возьмите меня с собой, пожалуйста!..» Секунду поколебавшись и что-то взвесив, он сказал: «Ну, хорошо, пойдете».

По пути он рассказал, что старушке этой 95 лет; в 7 лет она в первый и в последний раз исповедалась и причастилась и с тех пор в церкви ни разу не была. И вот сейчас, не без помощи племянницы, прихожанки нашего собора В., надумала причаститься.

За недолгим чаепитием после совершения Таинств Исповеди и Причащения я исподволь любовалась причастницей Еленой, как-то совершенно по-новому и по-доброму осмысливая снисходительное народное «Божий одуванчик».

14. 09. 02

«Братья! Какая цель нашей жизни на земле? Та, чтобы по испытании земными скорбями и бедствиями и после постепенного усовершенствования в добродетели при помощи благодатных дарований, преподаваемых в таинствах, нам опочить по смерти в Боге – покое нашего духа. Вот почему мы поем об умерших: *упокой, Господи, душу раба Твоего*. Мы желаем усопшему покоя как края всех желаний и молим о том Бога. Не безрассудно ли поэтому много скорбеть над умершими? *Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы*, – говорит Господь. Вот покойники наши, христианскою кончиною уснувшие, приходят на этот глас Господа и упокоятся. Чего же скорбеть?»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский всегда узнаваем и на редкость убедителен, причем убедительность эта достигается до странности просто, как-то сама собой. Послушаешь его и подумаешь: «А в самом деле – чего ж скорбеть?».

30. 09. 02

Пишу это уже дома, вернувшись из блиц-поездки к морю. Была там ровно неделю, со

среды до среды, и столько это короткое время вместило, что не знаешь даже, с чего и начать. Поэтому и начну с самого главного, и им же кончу.

Мне за тридевять земель, в Новофонском монастыре, была впервые показана икона Божией Матери «Избавительница» (до того мне нигде не доводилось ее увидеть), празднование которой совершается в день Викиной гибели, 30 октября... При всем, казалось бы, трагическом подтексте такого календарного «совпадения», обстоятельства явления мне иконы этой были исполнены такой преизобильной любви и ласки Божией! В том и было потрясение, что меня же – что бы я ни думала и ни говорила, а не уберегшую ребенка, – еще и утешали. С Небес...

02. 10. 02

Сегодня в храме: «Помните ту старушку, которую я причащал перед вашим отъездом?» – «Да, конечно. Умерла?..» – почему-то сразу поняла я. «Да. Через несколько дней после того». «Какое счастье!» – вырвались у меня два диких для уха неверующего слова. Я даже всплеснула руками от радости: не входя «в суд с рабой Своей», не отвергавшей, но обходившейся без Него всю жизнь, сподобил ее Господь покаяться, сподобил второй – и последний раз в жизни – причаститься!.. «Да... – тихо сказал отец К. – Ныне отпускаеши раба Своего...».

Примерно за год до того я косвенно оказалась причастна к истории, «героиня» которой не просто с самого Крещения ни разу не была в церкви, но и яростно все с нею связанное отвергала. В отличие от рабы Божией Елены, она всю жизнь была крестом для своих домашних. И вот, по всему было ясно, приспела пора ей умирать. После долгих сомнений и колебаний решили все-таки пригласить священника. Он ее исповедал, причастил. Потом она долго спала, а проснулась светлой, тихой, ласковой, какой ее никто из близких никогда не видел. «Умирать не страшно», – говорила она. Пробыв здесь в полузабытьи еще несколько дней, она тихо ушла.

У Терезы Калькуттской есть простые и спокойные слова по этому поводу:

«В конечном итоге смерть – просто самый легкий и быстрый путь возвращения к Богу. Если бы только мы могли помочь людям понять, что мы изошли из Бога и должны в Него вернуться».

21. 10. 02

Все ближе 30 октября, самая скорбная в моей жизни дата. Уже тридцатая.

...Купив первый свой Православный календарь, первым делом я открыла его на дне 30 октября, конечно же, в надежде найти так и не найденные мною когда-то «скрытые механизмы и рычаги» случившегося. В явной и доступной моему пониманию форме никаких ответов я не нашла. Но в неявной...

30 октября:

– память *пророка Осии*. Именно в книге его пророчеств (Осия 13, 14) содержатся знаменитые и знаковые для всякого христианина, а уж тем паче для христианина скорбящего, слова: «*От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?*».

– память *Лазаря Четверодневного, друга Божия*. Его имя за мое христианское время обросло для меня глубоким и радостным смыслом.

– празднование *иконе Божией Матери «Избавительница»*... Упоминаю о нем в последнюю очередь потому, что такая последовательность – в Календаре, но для меня эта память стала наиважнейшей, первостепенной, во многом определявшей пересмотр, переосмысление

случившегося с моей Девочкой и моей собственной роли в этом. Ее я еще только начинаю находить мужество осмыслить – не просто в категориях вины и покаяния, но как закономерный результат импульсивной, неосторожной, без Царя в голове жизни. Год назад я еще не была к этому готова.

31 октября – память св. Иулиана, пользующегося славой покровителя детей ...

1 ноября – память св. Уара, ходатая перед Господом за некрещеных...

Да простит меня Господь, но признать эту четкую последовательность календарных празднований простым «совпадением» я не могу. Я так и вижу, как нежно и осторожно передавали с рук на руки детскую душу на Небесах... «Моя Девочка в хорошем месте» – в этих странных для нормального земного восприятия, но таких утешительных лично для меня словах сформулировался вывод из всех этих «совпадений».

14. 10. 02

Сегодня мне передали книгу одной из неведомых мне читательниц моей книжечки-послушания, москвички Марианны Веховой, с теплой дарственной надписью. Называется она «Бумажные маки».

Книга Марианны удивительная. Одна из тех, что не дают оставаться у себя в скорлупе, замкнувшись на своей «исключительной» судьбе. Вот уж действительно незабвенно толстовское наблюдение о том, что все счастливые семьи похожи, несчастливы же каждая по своему. Я рассказывала один эпизод из этой книги двум-трем людям, и каждый раз сжимало горло так, что невозможно было говорить дальше. А эпизод такой: мама Марианны, было это в нечеловеческое время сталинских репрессий, ушла из жизни, оставив на руках у мужа-политссыльного новорожденную дочку. И вот, пересаживаясь с парохода на пароход, с поезда на поезд, через всю страну стал он добираться до Москвы и на каждой пристани, каждой станции посылал в следующий пункт назначения телеграмму с просьбой устроить прибытие кормящих женщин. И, когда пароход (поезд) подходил к следующему пункту, отца уже молча ждали кормилицы. Так что Марианна не знает, что такое «национальность»: ее выкормила вся страна, в матерях у нее побывали русские и украинки, мордовки и татарки, еврейки и белоруски...

28. 10. 02

Утром позвонил отец К. и сказал: «Знаете ли вы, что сегодня празднуется память святителя Афанасия (Сахарова)? Нет? Тогда почитайте сегодня его книгу, которую я вам дал, ему это будет приятно».

Я так и сделала. Книгу владыки Афанасия под названием «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви» открывает обнаруженная в его бумагах после смерти записка: «Даты и этапы моей жизни». Она меня настолько поразила, что я даже подсчитала количество строк, приходящееся на те или иные этапы его жизни. Из 132 строк убористого шрифта его духовной «карьере», от строки «Шуйское духовное училище 1896-1902 гг.» по строку «ХИРОТОНИСАН ВО ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО 27 июня 1922 г.», посвящено всего 23; 94 же строки отображают такие вехи жизни владыки, как: «Арестован...»; «Приговорен...»; «Без приговора сверх срока...»; «Этапирован в...»; «Тюрьмы (такие-то)...»; «Арестован без предъявления обвинения...»; «Работал на лесоповале, ...бригадиром лаптеплетной бригады...»; «Ассенизатор...» и т. д., и т. п. На оставшиеся после окончательного освобождения 8 лет жизни (почил он 28 октября 1962 года) пришлось всего 15 строк, 5 из которых занимает подведенный

самим владыкой итог:

«27 июня 1954 года исполнилось 33 года архиерейства.

За это время: на епархиальном служении 33 месяца.

На свободе не у дела 32 месяца.

В изгнании 76 месяцев.

В узах и горьких работах 254 месяца».

Величаем тя, величаем тя, священноисповедниче Афанасие, и чтим святую память твою...
Моли Милостиваго Бога о нас, да подаст Он оставление прегрешений и покой душам нашим...

Как говорит отец К., его «О поминовении усопших...» – самая основательная из всех книг на эту тему, написанных в Православной Церкви.

29. 10. 02

Из книги «Смерти нет»:

«И всего менее тех людей, которые, веря в Божью любовь ко всякому человеку, а особенно к детям (помня слова Спасителя: «оставите детей приходить ко Мне, таковых бо есть Царствие Божие» (Мф. 19, 14), веря, что Бог все творит только для нашего блага, со смирением покоряются воле Божией и Ему лишь изливают свою естественную тоску по умершим чадам, у Него Одного лишь ища утешения. А между тем, Господь ведь не жестокосердный палач или судия. Если Он решает призвать человека в детском или юношеском возрасте, то на это у Него, значит, есть веские причины. Богу видно то, чего мы не можем ни видеть, ни даже предчувствовать. Бывает и теперь очень часто, что при всех добрых качествах юного существа, однако же, оно уже получило какую-нибудь еще невидимую дурную наследственность, которая грозит со временем развиться и заглушить доброе семя Царства Божия в душе этого будущего человека; или Бог предвидит, что добрая душа отрока или отроковицы не выдержит предстоящих искушений и погибнет в пучине греха, или что родители своею жизнью и взглядами могут оказать растлевающее влияние на детей; и вот, во всех этих случаях (не исчерпывающих, конечно, всех поводов для трагического вмешательства Божьего Промысла в жизнь детей), Бог призывает к Себе “душу младую”».

Боюсь, что так все и было. И Мать Божия Избавительница знала, что делала. Завтра – празднование Ее иконе и день памяти Вики. Завтра к отроковице Виктории впервые придет православный священник...

30. 10. 02

Когда-то на Пискаревском кладбище я увидела на детских могилах (а там не все могилы братские, есть и «индивидуальные») пионерские галстуки. И, приехав после этого на *свою* детскую могилку, привезла с собой Викин галстук и повязала его на шток, на котором была укреплен бронзовый птица (я упоминаю о ней в своем стихотворении 73-го года; ее лет шесть назад, в чад утилизации цветных металлов, спилили и унесли; Господи, прости их, убогих; мне они неведомы, но Ты их, Господи, веси... Знаю только, что кладбищенские не могли это сделать: они Викину могилку так и называли – «Птичка»); когда же он истрепался на ветру, купила другой, и так было много лет, до тех пор, пока пионерская символика не стала для меня внутренне неуместна).

Шток был укреплен (на крестовине) посередине между четырьмя квадратными цветочницами, соединенными в виде креста. Я отчетливо видела этот крест – и не видела. Когда я сказала об этом, меня никто (а, кроме нас с отцом К., сегодня у Вики было еще двое) не понял. Как можно было не видеть крест?

...Проектировали надгробие два молодых архитектора, и крест (как и бронзовая птица) был их идеей. Тогда, в 73-м, я увидела в нем просто некую геометрическую форму, никак не соотнося ее с православными крестами, столь обычными для кладбищ. И вот теперь, когда мой батюшка, возраставший уже в совсем другое время, ходил с кадилом вокруг могилки, я *в первый раз за все тридцать лет* восприняла его как *православный*, православный равноконечный крест греческой формы. И *соотнесла с ним* лежащую здесь некрещеную девочку. То, что я его, наконец, *увидела*, было для меня некоей надеждой, намеком на то, что она сопричтена ко стаду Христову. Но только сейчас, когда я это пишу, – подумала: «Уж не состоялось ли это сопричтение сразу же, как Божий венец моему некрещеному ребенку за мученическую кончину, и этот крест – не сразу ли был дан?..»

...Потом мы пошли к маме одного из нас. Когда, уже после литии, мы прибирались, отец К. пошел посмотреть заинтересовавший его памятник, видневшийся вдаль (как он сказал, вернувшись, там лежит его ровесник...). А потом мы увидели, что он ходит меж могил и машет кадилом: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...»...

И на глазах у нас – да не дадут мне соврать раба Божия Елена и раб Божий Андрей, стоявшие рядом, – промозглый, хмурый, почти зимний день стал просветляться. Легонько заголубело небо, прорезалось скромное солнышко, над землей задрожала легкая дымка, такая бывает ранним утром погожего летнего дня, и дымок от кадила смешался с ней. И, видит Бог, стал слышен птичий щебет. Было сильное, до осязания, чувство, что проснулось, приподнялось и радостно и застенчиво смотрит и слушает все кладбище.

Маленький островок еще здешних, мы стояли, раскрыв рты...

«Я помню, мы семинаристами часто вот так ходили на кладбища. Священник возглашал, а мы кадили...», – вернувшись к нам, сказал отец К.

Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

8. 11. 02

Звонила Люда Зотова. Она рассказала мне дивную историю о том, как в пятне света на сцене во время «Реквиема» Верди ощутила присутствие своего сына, так явственно, что у нее не было в том никаких сомнений. На тот момент, когда она мне об этом рассказывала сквозь радостные слезы, его не было здесь уже шесть лет.

16. 11. 02

И сладко, и страшно подумать, что ведь и они, наши дети, о нас молятся. Как у Пушкина, в «Эпитафии младенцу»:

В сиянье, в радостном покое,

У Трона вечного Творца

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благословляет мать и молит за отца.

Почему сладко – объяснять вряд ли надо. Страшно же – от того, что живешь криво-косо, пусть даже и под постоянным самоконтролем, а все равно срываешься, лицемеришь, трусишь, обижаешь, обижаешься, ленишься и т. д., и т. п. А они все это наше достоинство видят светлым своим, теперь уже около-Христовым, оком, переживают за нас – и молятся. И что-то в нашей жизни, в наших душах меняется. А мы приписываем эти перемены себе, хорошо если Господу, и даже не подозреваем о подлинных своих ходатаях перед Ним.

22. 12. 02

Вчера сообщили о смерти моего двоюродного брата Юры, старшего сына тети Клавды. Очень грустно и очень жаль его. Прожил он такую же путаную жизнь, как и я.

На память о нем осталась у меня «Библейская энциклопедия». Он купил ее, крестившись под старость лет, а потом стал потихоньку слепнуть. И подарил книгу мне.

Сегодня с утра заказала сорокоуст...

23. 12. 02

Сегодня хоронили Юру.

Нас было всего трое: я, Юрина дочь Елена и ее муж Володя. Остальные родные быть не могли, кто по немощи, кто по равнодушию. Друзья давно остались в прошлом, давно уже брату моему сопутствовали лишь случайные собутыльники: крестившись, он не смог, да и не хотел, бросить ни пить, ни курить...

Последние несколько лет брат жил за городом, в поселке, куда переселился, продав свое городское жилье. Могильщики – два молчаливых, абсолютно трезвых парня и старичок-бригадир, – были из местных, брата знали: благодаря отпущенной после Крещения библейской бороде, контрастировавшей с не по годам озорными глазами, он успел стать местной достопримечательностью.

...Входя в похоронный автобус, я сразу увидела лежавший на заднем сиденье деревянный крест. Когда приехали на кладбище, крест пришлось взять мне: мужчины выносили гроб, Елена несла сумки с поминальной снедью.

«С крестом, иди впереди!» – распорядился бригадир. И мы пошли: я – с золотистым деревянным крестом на плече, четверо мужчин – при четырех углах гроба и, замыкая процессию, дочь.

Я шла, послушно поворачивая по командам бригадира. Крест был не тяжелый, но большой, и время от времени я перекладывала его с одного плеча на другое, однако ноша эта не тяготила...

Дошли до могилы, рабочие опустили на веревках гроб. Мы с Володей и Еленой уже взяли в руки мерзлые комья земли, но бригадир сказал строго: «Подождите. Землю давайте». Ему подали освященную землю из часовни, где Юру отпевали, и, все с таким же строгим лицом, он стал стружкой сыпать ее на гроб, от головы к ногам, от плеча к плечу, и при этом тихо и благоговейно пел: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...».

Часть обратного пути, до своего дома, бригадир проехал с нами. По бокам шоссе время от времени попадались избы, казалось, стоявшие тут от века, и, слушая негромкий голос этого старого, похожего на шолоховского Щукаря человека, я думала: «Жив Господь. Как будто не

было всего этого советского лихолетья, как будто не было этого чудовищно затянувшегося перерыва. Жив Господь».

25. 12. 02

Сегодня – память моего деда Никифора. Я знаю его лишь по семейной фотографии, где по бокам от него и бабушки Агриппины сидят и стоят восемь их детей, и среди них – мой отец. Сейчас в живых из них осталась только маленькая девочка, сидящая на руках у матери, да и той уже под 80...

Из села Покровские Селищи Тамбовской губернии взяли Никифора в солдаты, а, поскольку был он рослым красавцем, определили его к генералу Крюкову денщиком. В генеральском доме его и женили на молоденькой горничной Агриппине, от греха: ею слишком уж интересовался Крюков-младший.

После солдатчины Никифор какое-то время был городовым, стоял на посту на углу Невского и Большой Морской: на такие видные места ставили молодцов особого, гвардейского разбора. От тех времен до меня чудом дошел костяной свисток.

Деда Никифора мне нестерпимо жалко: по смерти своей Агриппины остался он совсем один: детям, уже обремененным своими семьями, было не до него. Семьи не было пока только у самой младшей. И вот как-то, в морозный декабрьский день, пришел он к ней и попросил приюта. Она ему отказала. «Так и вижу, – рассказывала она сама, – стоит он, лицом к печке, обняв ее руками. А потом молча ушел. Больше я его не видела». Вскоре сообщили о его смерти: замерз.

Сегодня на исповеди я попросила помолиться о деде, показала свисток. «Вы можете мне его дать на время?» – спросил отец К.

После службы он подошел ко мне и, возвращая дедов свисток, сказал: «Помянули мы вашего Никифора всем причтом. И даже в свисток посвистели».

28. 12. 02

Передо мной — небольшая работа архимандрита Георгия «Обожение как цель человеческой жизни», ее подарил мне отец К. И вот что я читаю:

«Смерть не может разлучить христиан, потому что их единство – в воскресшем Теле Христовом. Поэтому каждый раз, когда совершается Божественная литургия, мы все участвуем в ней вместе с ангелами и святыми всех времен. Участвуют и наши усопшие ближние, если, конечно, они имеют часть во Христе. Все мы там, и мы таинственно общаемся друг с другом – не внешне, а во Христе. Это очевидно при совершении проскомидии, когда на святом дискосе вокруг Агнца-Христа полагаются частицы за Пречистую Богоматерь, за святых, за живых и усопших. По освящении Святых Даров все эти частицы погружаются вместе в Кровь Христову.

Это великое благословение Церкви, что мы представляем собою Ее члены и можем общаться в ней не только с Богом, но друг с другом как члены святого Христова Тела».

29. 12. 02

«Если они имеют часть во Христе»... В том-то все и дело, что моя Девочка не имеет части во Христе, и я подаю на проскомидию прошения о поминовении тех детей, с кем «имею часть во Христе»: отрока Андрея, отрока Сергия, отроковицы Анастасии (девочки, сбитой машиной, о ней мне рассказывал отец К.), – но не отроковицы Виктории, о ней нельзя: моя

тайная уверенность в том, что она – у Господа за пазухой, не отменяет тот грустный факт, что *при жизни* она не была крещена. С благословения моего милостивого батюшки я подаю прошения о ней на панихиду, но в это поминовение, в отличие от проскомидийного, не вовлечены Тело и Кровь Христовы, через которые могло бы происходить мое «*таинственное*» общение с ней...

01. 01. 03, 0 ч. 40 мин.

На исходе года пришлось переволноваться: сын мой в начале двенадцатого поехал встречать Новый Год к своим друзьям (мы уже года три провожаем Старый Год вместе, а к двенадцати он уезжает встречать Новый). И вот уже бьют часы Кремлевской башни, и вдруг – телефон: «А где Саша?». Немая сцена... Вскоре снова зазвонил телефон, и я услышала голос пропавшего своего чада: «Мама, все в порядке, с Новым Годом!»

Между этими двумя звонками прошло от силы три минуты, и о чем только я за эти мгновения не передумала, в каких только пространствах и временах не побывала... Когда один раз человека не дождешься, никакие доводы разума не в силах утишить тревогу. Пока не вспомнишь о Пречистой, Чьему Небесному покровительству вручаешь сына каждое утро, не подойдешь к Ней и не скажешь: «Мати Божия, прости меня!.. Но ведь и Ты волновалась о Чаде Своем, когда потеряла Его по дороге из Иерусалима...».

Ну, слава Богу и Пресвятой Богородице, пропажа моя драгоценная нашлась, и вот я сижу за компьютером и подвожу итоги году минувшему...

Пожалуй, такого года в моей жизни еще не выдавалось. Пожалуй, это был самый длинный, самый плодотворный (несмотря на стертость и дежурность этого слова, оно подходит как нельзя более) и насыщенный год. Как бы пышно и претенциозно это ни прозвучало, но он стал для меня Годом Откровения. Я почти уверена, что мне открылся... смысл человеческой жизни. Не жизни и смерти, а именно Жизни – куда смерть входит всего лишь составляющей.

«Толцыте, и отверзется». Я толклась в эти ворота, в эту дверь, с разрывом в тридцать лет между двумя попытками, – и отверзлось.

Тридцать лет назад это была самая страшная дверь, дверь в никуда, полагавшая последний предел жизни и обесмысливавшая ее. Но мысль мучительно продолжала работать, и последней записью в той моей тетрадке, сделанной почему-то красным карандашом, крупными, размашистыми буквами: «ПРОЩАЙ – И ЗДРАВСТВУЙ!» – дверь, в которую я так упорно толкалась, приоткрылась. Но тут... я попросту испугалась и на этом свои тогдашние вопрошания к Богу (а Кому же еще они могли быть адресованы?) оставила.

И вот, через годы и годы, читаю в книге Людмилы Зотовой:

«Жить в двери нельзя – это верно... Но есть еще жизнь за ее порогом... Я не умер – я вышел», – цитирует она дьякона Андрея Кураева и добавляет от себя: – Мой ребенок – вышел, вышел в *другую форму жизни*, в которую иду день за днем и я, в которую идем мы все».

Не знаю, может быть, кому-то другому эти слова покажутся слишком простыми, азбучными, но *мою* душу именно они зацепили, *для меня* именно они оказались ключевыми, поворотными. И уже на них органично и просто лег постулат сербского богослова Иустина Поповича: «*Осмыслить смерть значит осмыслить жизнь*».

В этой чеканной формуле сошлось для меня всё. Душа, сердце, разум впитали ее, как губка. И смерть, как «лишний винтик», которому никак не находилось места в радостной картине

Творения, послушно встроилась в Жизнь.

2. 01. 03

Почти буквально то же самое – у митрополита Сурожского Антония:

«Жизнь течет, и в молодые годы смерть кажется очень, очень далекой, нереальной: умирают другие, старые люди. В период войны умирают и молодые, но эта смерть не постепенная, она не нарастает в человеке, она не изо дня в день его покоряет, разрушает; она приходит мгновенно, или так быстро и так трагично. И к ней прибавляется столько страдания, столько пережитого страха и столько страха за тех, кого оставляешь... Но мы все идем ровной стопой к той смерти, которая рано ли, поздно ли нас пожнет, и нам надо жить с таким величием, чтобы смерть была для нас не страхом, а *отверзающейся дверью*, которая даст нам возможность войти в торжествующую вечную Божию жизнь.

Поэтому говорить о смерти или говорить о жизни – одно и то же».

7. 01. 03

Сегодня – Рождество Христово. Мне нечего прибавить ко всем тем словам, которые были сказаны об этом Празднике за последних два тысячелетия умами, не чета моему, я и пытаться не буду. Но у меня в связи с этим Днем есть свои, частные и в то же время лежащие в общей схеме, воспоминания.

...С какого-то времени тетя Клава, младшая сестра моего отца, стала поздравлять меня с праздником Рождества Христова, неизменно напоминая при этом, что именно в этот день мои родители праздновали свадьбу.

1 января 2000 года я позвонила тете Клаве и поздравила ее с благополучным переходом в новое тысячелетие (тогда многие старые люди, известные и неизвестные, не смогли преодолеть этот рубеж...). А в Рождество позвонил младший ее сын и сказал: «У нас несчастье. Мама сломала шейку бедра». Что такое подобный перелом в 85 лет – известно хорошо.

На следующее утро я была у своей тетушки. С потухшими глазами, едва меня узнающая (а до несчастья она была в твердом уме и здоровой памяти), шамкающая, лежала она, не в силах пошевелиться. Есть отказывалась. Я уговорила ее поесть хотя бы немного жареных кабачков (ее любимых) и покормила с ложечки. Потом она впала в полудрему. И тут меня охватило неудержимое желание (как в больнице у мамы) погладить тетушку по голове, как маленькую. Какое-то время она тихонько лежала, приоткрывая и снова смежая глаза в такт движениям моей руки, а потом вдруг приподнялась на подушке, глаза ее широко открылись, взгляд стал внимательным, сфокусированным, целеустремленным, и она громко и четко сказала: «Господи!..» Не все, сродни междометию, как говорим мы, сами того не замечая, в потоке речи, а так, как обращаются к кому-то конкретному, глядя ему прямо в глаза...

Потом заснула ненадолго, а проснувшись, потребовала зубные протезы, перестала шамкать, попросила есть, заулыбалась и снова стала привычной тетей Клавой.

Через две недели она все-таки умерла. В больничной часовне ее отпели. Перед тем, пока мы ждали священника, я пыталась рассказать об этом «Господи!..» немногочисленным родным, но по их вежливым улыбкам и кивкам видела, что это для них – мой «задвиг», и не более того.

Я потом очень жалела, что не спросила у тетушки, в самом ли деле она видела Его. А недавно поняла, что жалеть не о чем: это Сам Господь воспретил дознаваться тайн Своих...

«Жить по-христиански нельзя. По-христиански можно только умирать. Покамест человек живет в этом мире, в этой плоти, он всегда покрыт как бы покрывалом, и покрывало сие не дает ему в совершенстве и непрерывно бывать в Боге, к Которому стремится душа. Покамест человек в этой плоти, он этой стороной жизни своей всегда стоит в условности земного бытия, и потому всякое действие его носит также условный характер и совершенства своего достигает не иначе, как чрез великое таинство смерти, которое наложит печать вечной правды на весь пройденный жизненный путь, или, наоборот, обличит его ложь. Смерть как разрушение органической жизни тела у всех людей подобна, но как духовное событие она у каждого принимает свой особый смысл и значение».

Это я прочла в книге архимандрита Софрония (Сахарова) «Старец Силуан». Чтение этой книги стало, пожалуй, самым крупным событием моей духовной жизни.

7. 02. 03

Как бы в подтверждение и продолжение предыдущей записи читаю у св. прав. Иоанна Кронштадтского:

«Да что распространяться о бессмертии души человеческой. Эта истина так ясна и очевидна для нас – христиан, как солнце. Мы вкушаем Тело и Кровь Христову и через это носим в себе еще здесь явные начатки своего бессмертия: еще здесь животворящие Тайны оживотворяют умерщвленные грехами наши души, а с душами и тела наши, нередко ощущающие в себе начатки смерти от воюющих на душу страстей, – и тем преображают жизнь нашу и по смерти. Истинны слова Спасителя: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный» ([Ин 6, 54](#)). Таков несомненный залог бессмертия носит в своей душе каждый христианин!»

15. 02. 03

В ночь на Сретение – дивный сон: мы с Викой (ей лет 5-6) идем по полю, в руке у нее – васильки, навстречу нам дует легкий теплый ветер. Он поднимает ей волосы надо лбом. Обе мы радостно улыбаемся. Причем вижу я нас как бы идущими себе навстречу.

С одной моей знакомой зашел разговор о снах, я ей этот сон пересказала, и она мне ответила: «Это прекрасный сон – значит, ей очень хорошо». Ей, наверное, и правда очень хорошо... Ведь я снова с ней – после стольких лет полузабвения. Бог ее взял, Бог и вернул, ее – мне, а меня – ей...

И вспомнилась мне одна фраза о К. Как-то на исповеди я сказала, что самой большой своей виной считаю то, что не крестила дочку, а что время было для этого неподходящее – не оправдание. И он ответил, как мне тогда показалось, очень странно: «Она была запечатана, пока вы не крестились». А потом добавил: «С вашим крещением состоялось ее духовное рождение».

И... мое с нею сретение...

26. 02. 03

Сегодня была по одному невеселому поводу во Владимирском соборе; возвращаясь оттуда, проходила мимо дома на углу Марата и Стремянной, где я прожила свои первые 32 года. С болью вспомнила церковь, стоявшую напротив него до 1967 года. И удивилась тому, что в своей книжечке об этой первой – и главной – вехе пути к Богу умудрилась упомянуть мимоходом, в скобках. Как будто тридцать с лишним лет жизни напротив храма, напротив

иконы святого (он смотрел прямо нам в окна) могли пройти бесследно, ничего собою не определив и не заложив...

...Наша коммуналка давно уже полностью перепланирована. На месте окон Гречух, окна тети Кати и тети Даши, наших окон, окна Репиных, окон Павловых – ряд одинаковых окон, матово поблескивающих тонированным стеклом. Наша «натура» ушла в небытие.

Еще прошлым летом я включила в список усопших, о которых молюсь, своих соседей. Однажды раздумалась я об этом поколении, вся жизнь которого свелась к очередям, талонам, карточкам, коммунальным склокам, чаду керосинок и примусов, похоронкам с фронта, винегретам в складчину на убогих праздниках, – и так их всех жалко стало. И вот я поминаю своих соседей под конец списка, идя от комнаты к комнате: Иоанна, Евдокию, Василия, Екатерину, Дарию, Татиану, Юрия, Иоанна, Наталию, Таисию. Пока я здесь – чем могу, помогу.

Неудержимо хочется переписать сюда отрывок из моих «мемуаров» 1985 года. А почему, собственно, я должна удерживаться?..

«В один и тот же день нас с Юркой Репой приняли в пионеры. И вот на следующий день после этого события мы устроили праздник.

На кухне – полный сбор. Возле своего необъятного сундука сидит на корточках, зажав в зубах незажженную папиросу, Иван Павлович, наш квартуполномоченный, дебошир и горький пьяница, нещадно колотящий под горячую руку свою тихую, изможденную жену Наталью. Тут же – их дочь Тася. Татьяна Никитична, могучая женщина деревенской закваски, Юркина мать. Две сестры, тетя Катя и тетя Даша. Евдокия Михайловна и Иван Миронович. Их племянница Женя с мужем Васей, мрачным, цыганистого вида парнем. Обычная коммунальная кухня, не раз слышавшая скандальные голоса усталых женщин, пьяные крики мужчин и детский плач.

Но сейчас – все стоят, опершись спинами о свои столы, скрестив на груди руки, с одинаково расслабленными лицами. Мы с Репой даем концерт. На нас – красные, еще ни разу не стираные пионерские галстуки».

Мир праху вашему...

1.03.03

Сегодня перевернула страницу подаренного мне красивого календаря. Каждый месяц в нем открывается той или иной иконой. На март выпала икона Божией Матери «Споручница грешных». Все правильно: 13-го числа – четвертая годовщина моего Крещения, мой день Ангела, и оставшееся до него время я буду исподволь готовиться к исповеди-покаянию.

«Сколько лет, – всегда, – пишет монахиня Мария, тогда еще – Елизавета Юрьевна Скобцева, в записке, набросанной у смертного одра дочери, – я не знала, что такое раскаянье, а сейчас ужаснулась ничтожеству своему. ...*Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила. И сейчас хочу настоящего, очищенного пути, не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать и понять, и принять смерть. Оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве* (курсив мой). О чем и как ни думай – большего не создать, чем три слова: «любите друг друга», только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освящена, а иначе мерзость и тяжесть».

В этом все и дело: «только любите друг друга». В день похорон мама моя, Викина бабушка, кричала в прощальном павильоне: «Как она мамочку-то свою любила!» А она – она «настоящему стала нужна мне совсем незадолго до своего внезапного ухода». Да почему же не

раньше?! Не всегда?..

«Оправдывая и принимая [смерть], надо вечно помнить о своем ничтожестве». Сказала мать Мария – как припечатала. И саму себя, и меня, и всех матерей, не умевших любить своих потерянных детей «до конца и без исключения».

2. 03. 03

Странное дело, только недавно я впервые задала себе вопрос: а для кого я писала свой дневник, ведь отец К. был первым, кто его прочел, никто, даже самые близкие и посвященные, и знать о нем не знал? Выходит, только для себя? Но тогда почему я не сказала – *самой-то себе!* – всей правды, не повинилась, хотя и обещала своему погибшему ребенку это сделать?

А вот тут-то и оказалось все дело: мои записи были *попыткой самооправдания перед Богом*. Которого я *как будто бы* не нашла. Именно так: как будто бы. Иначе откуда мне было знать, что (цитирую себя) «разумом Бога найти не дано»? Ведь это возможно постичь, только уже находясь в Боге. «Ты не искал бы Меня, если бы ты уже Меня не нашел», – говорит Христос св. Августину.

Да, наверное, мы никогда не можем с уверенностью говорить о себе: «Я искал Бога – и так и не нашел» или: «Я нашел Бога». Де-факто это может произойти гораздо, гораздо раньше, чем происходит де-юре, в Святом Крещении, которое и скрепляет этот факт своей неоспоримой и неизгладимой печатью – Печатью Дара Духа Святаго.

8. 03. 03

...К вечеру пошла в храм, где была чудная общая исповедь перед Прощеным воскресеньем. Только вернулась домой – звонок Е., сродницы моей по несчастью: пять лет назад она потеряла 38-летнего сына...

Сегодня утром с ней случилась история, больше всего похожая на прекрасную сказку. Но это был. Надо знать этого человека, чтобы быть уверенным в том, что ради красного словца она ничего придумывать и додумывать не станет.

...Она сидела в своей вахтерке, и отчего-то («Я сама не знала, отчего...») сердце у нее горело, как у тех апостолов, что шли по дороге в Еммаус.

И вдруг вошел молодой человек и протянул ей ветку мимозы: «С праздником вас!» Сказал – и вышел, она даже поблагодарить его не успела. Побежала за ним – но его, как говорится, и след простыл. Никогда прежде она его не видела.

«На меня такая радость нашла, прямо необыкновенная, – говорила она, – целый день, как вспомню, так сердце горит!»

Едва ли не больше всего ее поразила сама ветка – с какими-то необычайно пушистыми и все один к одному цветками.

«Ты воткни ее за фотографию сына, ведь она от него», – сказала я. «Да, я так и сделала...»

«Пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны» (Осия 6, 1-3).

9. 03. 03

Сегодня – Прощеное воскресенье... Ходя по храму после дивного Чина прощения в поисках друзей, увидела вдруг гроб, поставленные по бокам его две скамейки и на них – застывших в абсолютно одинаковых скорбных позах людей. Мне стало ужасно неловко перед ними, такими одинокими на нашем празднике покаяния, и я поклонилась им и сказала: «Простите нас, грешных!..» Они подняли головы от рук своих и посмотрели на меня одинаково отрешенными, непонимающими очами. У них было свое Прощеное и прощальное воскресенье.

11. 03. 03

Мой день Ангела, четвертая годовщина Святого Крещения, – 13 марта. И я хотела бы исповедаться, и не просто исповедаться, а провести «ревизию» своей жизни, завтра, а причаститься, уже с чистой душой, 13-го. Но в этом году мой день Ангела выпал на четверг, а в Великий пост по четвергам Литургии не бывает. Отец К. благословил меня поступить немножко «задом наперед»: утром, на самой первой в Посту Литургии Преждеосвященных Даров, причаститься, а уж затем исповедаться.

...Не один из читателей первого издания книги ждал, что я скажу о своей вине. Намерение сказать о ней было заявлено, пусть и с некоторыми оговорками, в самом начале: «О какой вине я говорю – я еще продумаю. Не найду оправдание себе, а постараюсь быть честной – перед тобой и перед собой. Надо набраться мужества сформулировать все точно и честно. Может быть, сделаю это нескоро, но сделаю».

Бедная я, бедная, что ж я такое говорила: «О какой вине я говорю – *еще продумаю*». Что тут было продумывать? «И формулировать тут было нечего, – писала я же сама тридцать лет спустя после случившегося и за год до этих строк: – она была абсолютно ясна мне уже тогда, в первую же минуту после случившегося, но у меня так и не хватило мужества сказать сразу: «Девочка моя, я не уберегла тебя, прости!». Не уберегла несколькими неосторожными, опрометчивыми словами и поступками, и то, что она о них и не знала, дела не меняет. ... Но только недавно, выплакав вину свою до конца, я добралась до подлинной, мистической ее сути и сказала, через столько лет, на исповеди: «*Я лишила ее своей сакральной материнской защиты*».

Теперь я могу прибавить к этим словам другие, недавно вычитанные у священника Георгия Чистякова: «Бога можно встретить везде, но только там, где нет лжи». Лжи не было, но и *всей* правды тоже не было. По большому счету, все грехи, совершенные мною до Святого Крещения, прощены. Но ни забыть, ни простить себе ни один из фатальных моих проступков перед Викой и перед Богом я не могла. Я исповедала их постепенно нескольким священникам, но, вырванные из контекста, поодиночке, они уже не казались столь роковыми. И я поняла две вещи: я должна снова, *но теперь уже в целокупном виде*, исповедать Господу все, что натворила, совершить новый виток покаяния.

Кто-то, возможно, скажет: «Сама во всем и виновата; ребенка, конечно, жалко, а так...» Возможно. Но перед Судом Божиим суд человеческий – ничто. Это моя Сенная площадь. Как Раскольников бухнулся там на колени и всенародно покаялся в совершенном убийстве, так бухнусь душой и я: «Простите меня, грешную!». Так говорим мы перед исповедью, оборачиваясь в поклоне к стоящим позади...

Отец К., после некоторого раздумья, принял мои аргументы.

12. 03. 03

Исповедь моя и в самом деле состоялась совсем недалеко от Сенной. Зная о ее неординарном характере, отец К. выделил для меня свое личное время, и мы с час бродили по раскисшим от

первого весеннего тепла дорожкам заброшенного сада недалеко от храма.

Это была исповедь типичного «плохого хорошего человека»: ответственного – и безответственного; серьезного – и легкомысленного; не злого – и не такого уж доброго; мало что доводившего до конца, «по переулочкам бродившего», словом, жившего «без Царя в голове», в чем, собственно, и было все дело. Так что о конкретных перипетиях моей тогдашней жизни и о каких-то «смягчающих обстоятельствах» рассказывать нет смысла. И совсем другое дело – те самые проступки, что лишили мою Девочку «сакральной материнской защиты»...

Их было три, и все они были совершены в 1972 году. В тот год количество моих грехов перешло, наверное, в качество, и на меня покатила лавина зла.

«Если бы она была христианкой, она была бы внутренне защищена, и все могло сложиться по-другому... Лавина зла все равно накрыла бы ее, но как многое зависит от того, в каком состоянии ты находишься, когда на тебя летит лавина...»

Эти слова – из книги Марианны Веховой, и сказаны они о ее несчастной маме, а как будто бы про меня...

I. Когда наш дом на Марата пошел на капитальный ремонт, нас выселили в район новостройки. Отдельную квартиру нам не дали, с нами стала жить, как тогда выражались, «подселенка», З. К. Очень скоро выяснилось, что жить нам вместе будет неимоверно трудно. Как я теперь вижу, в этом конфликте (по большому счету – города и деревни) были повинны обе стороны, хотя мы с мамой, может быть, все-таки меньше. И вот однажды, после очередной безобразной коммунальной сцены, я выскочила на улицу и долго бродила там, в ярости повторяя вполголоса: «Чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла!» Не понимая, не догадываясь даже, что тем собирала горящие уголья на свою и, как оказалось потом, Викину, голову.

КАЮСЬ, ГОСПОДИ...

II. У мамы моей была родная сестра, с которой они бесконечно ссорились, иногда расходясь надолго. Мы с тетей Дусей жили в одном доме, и ее тоже выселили, но в другое место. И вот они снова поссорились, а через несколько месяцев мы узнали, что тетя Дуся лежит в больнице, с очень серьезным диагнозом. В это же самое время выяснилось, что я беременна. Месяца полтора я практически каждый день к ней ходила, домой возвращалась поздно. Беременность я переносила очень тяжело, а в этом режиме тем более. Оставить ребенка в тех жизненных условиях и в том состоянии души казалось абсолютно невозможным. Тетя Дуся тем временем неизбежно приближалась к финалу. И вот он наступил... Похороны были назначены на 15 апреля, и ровно на этот день, задолго до того, был назначен аборт... Если бы я и перенесла его на другой день, это ничего не изменило бы в том раскладе жизни и смерти. Дело в другом: вместо того, чтобы восполнить смерть, то есть «убыль жизни», новой жизнью, дарованной, хотела я того или не хотела, Господом, – я ее истребила. Весь ужас содеянного, конечно, виден, как на ладони, только теперь, иными, исцеленными, глазами...

КАЮСЬ, ГОСПОДИ...

III. Летом того же года я встретила человека, каким-то непонятным образом подчинившего меня себе настолько, что я, в ответ на его требование бросить курить, сказала однажды сама себе, но вслух: «Вика, клянусь твоим здоровьем, я бросаю курить». Как я могла приплести сюда ребенка (да еще столько раз тщетно просившего меня о том же самом) в качестве самой высокой ставки из всех возможных, как некую неоспоримую гарантию слова, данного вовсе не Богу (если бы Ему, это можно было бы понять, хотя Он и призывает нас ничем и никогда не клясться), – понять невозможно. Излишне говорить, что хватило меня ненадолго и через какое-

то время я снова курила – мучаясь и опасаясь кары Господней (и безбожникам дано трепетать гнева Божия...).

А секира уже лежала при древе...

КАЮСЬ, ГОСПОДИ...

...В сентябре вместе с искренней своей, А., поехала я в любимый с университетских времен Коктебель: в последний раз сделаю что-то для себя, думала я тогда, а вернувшись – начну новую жизнь, всецело посвященную дочке. Перед отъездом я с каким-то особенным чувством купила велосипед (в качестве подарка на день рождения), новый школьный портфель, красивые и удобные резиновые сапожки, толстые шерстяные носки...

Это стремление к обновлению моей материнской сущности возникло на фоне апокалиптических ожиданий, порожденных, как это ни дико, не страхом Возмездия, а невесть откуда взявшимся еще в молодости предчувствием, что в тридцать пять лет со мной случится что-то страшное. А моя жизнь вошла как раз в тридцать пятый год.

Вечерами мы с А. бродили по темному берегу моря, и когда проходили мимо какого-то ресторанчика, оттуда не раз доносились слова песни, которую я никогда до того (и никогда после) не слышала: «Нет, тебя не будет, нет, тебя не будет, нет, тебя не будет никогда...». От этих печальных слов невыносимо сжималось сердце. Не своей незадавшейся жизни мне было жаль, другое страшило – что будет, если меня не станет, с Викой?.. И откуда же тогда было мне знать, что *вовсе не меня* не будет, не будет, не будет никогда?..

Матерь ли Божия, Избавительница, взяла к Себе, от меня подальше, Девочку мою, ей во избавление, мне – во вразумление? Дьявол ли ее забрал из моих небрежных, неосторожных материнских рук, и потом эту детскую душу, уже по пути на Небеса, избавляли от его когтей? Нет и не будет ответа.

13. 03. 03

Митрополит Сурожский Антоний (Блюм):

«Мы очень часто идем во тьме, и тьма эта является результатом помрачения нашего ума, помраченности нашего сердца, помраченности наших очей, и только когда Сам Господь прольет Свой свет в нашу душу, в нашу жизнь, мы можем вдруг увидеть, что в ней дурно и что правильно.

...Когда мы прозреваем все, что в нас есть темного, когда это знание растет и мы все больше понимаем себя в свете Божиим, то есть в свете Божиего суда, это означает две вещи: это означает, конечно, что мы с горечью открываем собственное уродство, но также и то, что мы можем радоваться, что Бог одарил нас Своим доверием. Он даровал нам новое знание нас самих такими, какие мы есть, какими Он всегда видел нас и какими, порой, не позволял нам увидеть себя, потому что мы не вынесли бы этого видения правды. И здесь снова суд оборачивается радостью, потому что, хотя мы и открываем то, что дурно, открытие это означает, что Бог увидел в нас достаточно веры, достаточно надежды и достаточно силы духа, чтобы позволить нам прозреть, потому что Он знает, что теперь мы в силах действовать».

Старец Паисий Святогорец:

«Человеческой логикой и справедливостью живут евангельские делатели первого и третьего часа, которые вступают в спор с хозяином, считая, что с ними поступили несправедливо. Однако сердцеведец Бог, со всей точностью Своей божественной справедливости,

заплатил даже за томительное ожидание, в котором находились работники одиннадцатого часа, пока не нашли себе работу. Хотя по Своей божественной справедливости, которая полна милосердия и любви, Он мог дать работникам одиннадцатого часа еще большую плату, потому что они, несчастные, сильно страдали душой и устали больше других работников, которые устали телесно, трудясь большее время».

14. 03. 03

Когда я еще только начинала переосмысливать все, что произошло в моей жизни, я часто ловила себя на том, что думаю о себе в третьем лице: «она». И, когда я как-то раз сказала об этом отцу К., он ответил так: «Нельзя отречься от своего прошлого. Оно – ваше». Теперь, после исповеди-покаяния, я смотрю на ту себя, как в перевернутый бинокль, спокойно и жалостливо, без этого уничижительного «она», – и все-таки отстраненно, не желая иметь к ней никакого отношения.

Не так, не так смотрит на нас Господь...

И, наверное, теперь я должна попытаться уже окончательно, насколько это вообще возможно для нас, грешных, примириться с собой.

Умница Марианна Вехова подает мне руку помощи, рассказывая о своем сне-тесте, в котором бабушкин двойник, протягивая ей огромную книгу, предлагал поменять прошлое:

«Если ты прочтешь вслух то, что написано на этой странице, все детские страдания исчезнут из твоей жизни, сотрутся твои ошибки, метания, все поступки, которые стыдно вспоминать, – ты от них освободишься, как и от боли, страхов, крови, бреда, гипса, операций, тоски, одиночества... Прочти, только прочти вслух, и у тебя будет другое прошлое, другая судьба, благополучная, полная радостей, подарков, везения, счастья, –ласково журчал за моим плечом голос бабушкина двойника.

Меня так и охватило горячей волной искушения.

Я догадалась: стоит *захотеть* прочесть, знаки тут же станут понятны и язык сам произнесет неведомые мне сейчас сочетания древних звуков.

Но тут же почему-то я почувствовала, что нет, нельзя ничего менять в своем прошлом, ни от чего нельзя отречься.

Но почему я просто не могу убрать страдания из моей жизни? Она же – моя собственная? Зачем нужны они, все эти страдания? ... Очищает ли страдание? Я видела и по себе знаю – подавляет, искажает, уродует. Может быть, очищает сопротивление этим искажениям? Может быть, возвышает победа над своей слабостью?

Тогда мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои победы, такие тяжелые, давшиеся такой большой ценой, и отворачиваться от поражений, которые мне так много помогли понять».

Аминь.

P. S. Еще до исповеди 12-го числа, утром, я впервые подала на проскомидию прошение о З.К., моей соседке. В этом человеке, причинившем мне столько зла, поведем себя в те трагические дни абсолютно бесчеловечно, явно сидели бесы. Но разве во мне они не сидели? А ведь *меня* Бог простил... в Крещении. Сегодня я впервые в это по-настоящему поверила.

Я знаю мать, которая, лишившись уже взрослого сына, месяца через два попыталась изжить горе в лихорадочной деятельности – ремонте квартиры, стремлении «сохранить форму», приобретении каких-то обновок. «Я жить хочу, я жизнь люблю!» – говорила она. Первые года два подобная реконструкция треснувшей жизни как-то делала свое дело, но потом не изжитое естественным путем, а лишь запруженное, присыпанное горе взяло свое. Она постоянно должна быть на людях: оставшись одна, она оказывается во власти одних и тех же мыслей, одного и того же наклонения – сослагательного, самого бессмысленного из всех; крестившись вслед за мной, она ни разу не была на исповеди («Я не могу каяться. Если я начну каяться – я умру!...»), ни разу не причастилась, раскаяние в материнских ошибках не переросло в покаяние перед Господом, а Он – не дал ей и утешения...

Открыла сейчас книгу А. Форда «Жизнь после смерти», чтобы найти то место, которое прямо относится к этому «случаю». К счастью, я еще не вынула свои закладки. Вот это место:

«Человек может попытаться забыть о своем горе в приступе лихорадочной активности. Или наоборот, вести себя противоположным образом и никак не выказывать своего горя до тех пор, пока позже, через какое-то время, не последует острый кризис. Но если человек, понесший утрату, не уклоняется от того, чтобы сполна пережить свою боль и полностью осознать значение своей утраты, если он призывает на помощь все свои силы, чтобы перестроить свое бытие, то у него вновь появляется вкус к жизни».

Как тут не вспомнить снова слова матери Марии:

«Такого рода Посещение заражает душу, наполняет ее, как поток, как пылающий очаг... если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только человеческой, но и Богочеловеческой судьбы».

Славию и благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты не дал мне испугаться и убежать от себя самой, не дал отказаться от «личной Голгофы, личного крестоношения»; что не пронес мимо, но заставил испить до конца, до дна, до самого доньшка, чашу сию, – и этому лекарству не попустил стать горше и страшнее самой болезни.

22. 03. 03

Сегодня в храме – короткий разговор с одной молодой женщиной. Он уложился в те несколько минут, что мы ждали отца К., каждая по своему делу, после службы.

«Знаете, – сказала я, – я вот сейчас думала о свободе. Раньше, до Крещения, мы были абсолютно свободны. Мы не должны были молиться, ни утром, ни вечером, не должны были вставать по воскресеньям, ни свет ни заря, когда все еще спят, и идти в храм, в любую погоду. Не должны были исповедоваться, давать отчет в своих мыслях и поступках. Мы были свободны и в жизни, и даже в смерти. А теперь мы все это *должны*. Но как же страшна оказалась *та* свобода!...»

Когда я закончила этот монолог, моя собеседница, вернее, слушательница, взглянула на меня своими огромными голубыми глазами и, согласно покивав головой, тихо сказала: «Ужас!.. Не дай Бог такой свободы».

29. 03. 03

Вчера вечером не было сил подготовиться к Причастию. Сегодня утром – просто молитва, рассеянная, короткая, усталая. Под конец, сама не знаю, почему, помолилась св.

мученице Нике (Виктории) – и вдруг пришло на краткий миг неожиданно спокойное, четкое и трезвое ощущение единства двух миров, а еще точнее – существования *одного* мира: в Духе. Кажется, уже все поняла, все приняла. Оказывается, можно еще трезвее, еще спокойнее, еще глубже.

30. 03. 03

«Как же я попала в этот свет, такой живой, подвижный и душистый, в храм, полный тепла, в радость, покой?»

Я здесь, но я растеряла близких... Где они скитаются? Где живут? Светло ли им? Тепло ли? Что с ними?

Как странно выстроилась моя жизнь...

Обычно, когда человек умирает, он уходит от тех, кто его любил, уходит по частям, постепенно... Блекнут в памяти живых его привычки, поступки, исчезают его вещи – старятся или теряются.

Мои же умершие, наоборот, все глубже входили в ткань моей жизни, все напряженнее существовали в моем сознании. Оживали, наполнялись новыми чувствами их письма, дневники, записочки, фотографии, воспоминания тех, кто их знал...

И в конце концов получилось, что мои родители живут со мною вместе, хотя физически их нет. Словно они здесь, только в другой стране и могут вот-вот вернуться».

Это пишет в конце своих «Бумажных маков» Марианна Вехова. Да, да и да, все глубже и все напряженнее. Вглядываясь в фотографии своих близких, я вижу в их глазах то, что не могла видеть, пока они были здесь, в одном мире со мной. Здесь – они были разными, у каждого был свой голос, своя манера говорить, смеяться, радоваться, злиться, ссориться, мириться. Теперь эти индивидуальные различия растворились в одном большом и определяющем сходстве: принадлежности миру иному. Они глядят со своих земных отпечатков одинаково беззащитно и обнаженно, вне дымовой завесы слов, мимики и жестов. И ты как бы постигаешь их заново, с чистого листа... Но и себя тоже – такой, какой можешь видеться им оттуда, с незамутненного неба, ты сама... Тоже без дымовой завесы.

31. 03. 03

Сегодня – пятая годовщина смерти раба Божия Димитрия, сына Е. Его накрыло чернобыльским следом, и через годы этот след все-таки сделал свое черное дело. «Если бы мы поехали не туда, а туда... Если бы я взяла его из больницы... Если бы... Если бы...». *Плачет Рахиль о детях своих и не хочет утешиться...*

Я давала Е. книгу Люды Зотовой, но она так и не смогла заставить себя ее прочесть. Я знаю, что *свое горе* ни с каким другим не сравнимо, оно не болит меньше от того, что чье-то горе – еще хуже, еще тяжелее, или от того, что кто-то перенес его более мужественно, чем ты.

И все же, все же, все же... мне кажется, Е. стало бы хотя бы чуть-чуть легче, если бы она положила на одну чашу весов свое горе, а на другую – мое и сказала себе: «Ну, у меня-то все-таки еще ничего – я все же не осталась совсем одна: и муж рядом был, пусть не родной отец сыну, но все же мужское плечо, и у меня осталась еще дочка. Да и я уже старая, а она была еще совсем молодая...». Что же до Людмилы Зотовой, то она могла бы послужить для Е. примером истинно христианского служения людям: через два года, всего через два, даже не через пять, уже быть в состоянии позаботиться о других и подвигнуться на мужественно

отстраненный анализ темы смерти на примере своей собственной лютой потери...

А всем нам – и мне, и Л., и Е. – можно было бы посоветовать поставить свое горе рядом с горем одной прихожанки нашего собора, которая в один день потеряла сразу и мужа, и троих детей – сгорели в огне пожара... В применении к *этой* потере, сравнимой разве что с бедами Иова Многострадального, даже слово «горе» кажется бледным и слабым.

7. 04. 03

«Предки наши говорили, что Благовещение – самый большой у Бога праздник. В день этот, как в Пасху, и грешников в аду не мучат». Это я прочла в Месяцеслове. Нынешний день Благовещения был тому неоспоримым свидетельством...

Так получилось, что отец К. взял меня с собой в больницу на крестины трехнедельной девочки...

У мамы девочки был уже неоперабельный рак матки. Болезнь обнаружили совершенно случайно, при первичном обследовании по поводу беременности, всего полтора месяца сроком. Врачи настаивали на удалении матки, но ее можно было удалить... только вместе с ребенком. Мать отказалась спасти свою жизнь ценой жизни ребенка. Врачи настаивали, требовали, кричали в сердцах: «Вы самоубийца!». Она стояла на своем.

За время беременности никак не леченная опухоль стремительно прогрессировала, и надо было попытаться спасти хотя бы ребенка. Минимально допустимый срок искусственных родов (путем кесарева сечения) – 28 недель. Девочку извлекли в 22 недели, весила она чуть более 500 граммов; врачи оценили вероятность ее выживания в 1 процент... Сразу после операции девочку положили в кювету и увезли в детскую больницу. Мать еще была под наркозом и ее не видела.

И вот мы – священник, бабушка девочки, крестная мама и я – в реанимационной палате... Три или четыре кюветы с недоношенными детьми. «По сравнению с нашей эти дети – гиганты...», – сказала бабушка.

«Наша» была так невообразимо мала, что если бы возле кюветы не стоял монитор с двигавшейся то туда, то сюда в такт сердечку стрелкой, то создание, лежавшее там, можно было бы принять за куклу. Но если бы только размеры... Когда кого-то хотят унижить, оскорбить, иногда употребляют слово «недоделанный». С великим прискорбием и трепетом вынуждена употребить именно это слово... Трепетом – потому, что у меня было такое чувство, словно я подглядела в мастерскую Создателя и Он этим недоволен: все избличало лишь черновой этап работы Мастера... «У нее еще совсем тоненькая кожа», – сказал кто-то, не помню, медсестра или бабушка. И в памяти смутно всплыли прочитанные года два назад слова из Священного Писания: *«как творог, сгустил меня»*. (Придя домой, я нашла это место: *«Не ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня...»* – [Иов 10, 11.](#))

«Молитесь о ней, – тихо сказал отец К. – Внесите ее в свой синодик».

... Чин Крещения шел обычным чередом, если не считать, что батюшка был в резиновых перчатках, что все говорилось и пелось приглушенными голосами, чтобы не нарушить покой спящих младенцев. И вот в какой-то момент лежавшая до того абсолютно неподвижно крещаемая Мария вдруг начала шевелить своими неправдоподобно крохотными ножками. Не судорожно дергать, а именно шевелить – приподнимать, сгибать, разводить, то есть делать обыкновенные «потягушечки». Не было никаких сомнений в том, что ни голос священника, ни

наше тихое пение «Господи, помилуй!» никак девочку не напугали: стрелка монитора качалась все в том же ритме.

А потом случилось то, чему я не осмелилась поверить: наша Мария подняла правую ручку и попыталась изобразить крестное знамение. (Уже потом, когда мы шли по коридору, бабушка сказала мне: «Мне даже показалось, что она пыталась сложить пальчики в крестном знамении...» – «Да? И вам тоже так показалось? Если бы вы этого не сказали, я бы решила, что мне почудилось!»)

Но и это было еще не всё: в какой-то момент девочка вдруг хорошим, правильным, скоординированным движением подняла обе ручки, как будто протягивая их навстречу кому-то... Кому? Христу, благословлявшему ее Своими Первосвященническими перстами? Матери Божией, с ласковой улыбкой склонившейся над ней? Только что данному во Святом Крещении Ангелу Хранителю? Всем вместе?..

...Дома я внесла младенца Марию в свой «синодик».

А уже совсем перед сном вспомнила, что утром, перед тем как ехать в храм, еще ничего не зная о предстоящих крестинах, почему-то прочла вместо Причастного правила Акафист иконам Божией Матери «Взыскание погибших и Всех скорбящих Радосте».

13. 04. 03

Сегодня – память св. Марии Египетской. День Ангела младенца Марии. Подала за нее прошение и на проскомидию, и на молебен. А вечером – звонок отца К.: «Эта девочка два часа назад умерла. А с мамой... все в порядке. Ее прооперировали и ничего не нашли. Врачи говорят: «Это просто чудо». Может быть, девочка была послана Господом во спасение мамы? Ведь если бы не беременность, она и не знала бы о своем раке...»

«...Мы не творцы вещей, – пишет о. Иоанн Кронштадтский, – но творим из вещества великие и малые предметы. Сам ли Творец, везде Сый и вся Исполняй, по слову Коего все пришло из небытия в бытие, по мысли, по слову, по воле Коего сотворено и существует все бесконечное разнообразие вещей, не сотворит, что восхоцет? Если врач-человек оживляет иногда полумертвого, по причине знания своего дела и по искусному, меткому воздействию на причину болезни, то Творец ли врачей и врачевания не исцелит одним хотением и словом всякой болезни? Творец ли не воздвигнет и мертвеца одним словом Своим? Дадим славу Ему мы, маловерные, и скажем Ему от сердца: вся возможна Тебе, Владыко, невозможно же Тебе ничтоже. Аминь».

Младенца Марию в своем «синодике» я перенесла в другой список...

19. 04. 03

Сегодня, в Лазареву субботу, отпевали младенца Марию. Она была слишком мала даже для своего маленького гробика. Дело было вскоре после обедни, и в храме еще был народ. Некоторые подходили и шепотом спрашивали: кто, что, и, как ни странно, это не воспринималось как обычное досужее любопытство. Какая-то пожилая женщина, зажегши свечку, встала рядом со мной и истово молилась. Совсем в стороне, на особицу, однако вместе со всеми нами, молился какой-то молодой человек, тоже совсем посторонний и в то же время сродный происходившему.

Короткий земной путь девочки Марии был обозначен тремя чудными вехами: Благовещение (Крещение), день св. Марии Египетской (день Ангела, он же – день кончины) и Лазарева

суббота (отпевание). Она попала прямиком на небо, где и обитает теперь по ангельскому чину, омытая Святым Крещением от первородного греха и не успевшая взять на себя ни единого греха земного...

...«Многое на земле от нас сокрыто, – писал некогда Ф. М. Достоевский, – но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. ... Бог взял семена из миров иных и посеял их на земле, и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе».

Изо всего прочитанного, увиденного и услышанного за тот «Лазарев год», год между двумя Лазаревыми субботаами, я поняла, что любые попытки примириться со смертью близких, «оправдать и принять ее» (монахиня Мария) будут бесплодны до тех пор, пока не ощутишь «связь нашу с миром иным» как абсолютно, а не условно, живую и не поймешь во всей ее поразительной глубине мысль сербского богослова Иустина Поповича: «Осмыслить смерть значит осмыслить жизнь». «В этой чеканной формуле, – написала я в радостном потрясении, прочтя эти слова, – сошлось для меня всё. Душа, сердце, разум впитали ее, как губка. И смерть, как “лишний винтик”, которому никак не находилось места в радостной картине Творения, послушно встроилась в Жизнь».

...Оба моих дневника в 2005 году были изданы под одной обложкой тиражом в 50 экземпляров двумя добрыми самаритянами, иначе их и не назовешь, – Вадимом и Галиной. Да помянет их Господь во Царствии Своем!.. Часть тиража взял отец К., часть – я, и мы потихоньку раздавали ее «нуждающимся». А потом она попала к человеку, которого меньше всего можно было заподозрить в сентиментальности и в том, что он может просидеть за моей книгой всю ночь: личного опыта горя у него, слава Богу, не было. И человек этот предложил разместить ее на «Азбуке веры». А именно – на «Книжной полке» отца Константина Пархоменко. Да и где же еще: он окормлял эту книгу еще с той моей школьной тетрадки, откуда она и началась... Батюшка благословил.

Было это в начале августа 2008-го. А 7 августа в Троицком соборе мы с Людмилой Зотовой поминали наших детей. День, скажем так, знаменательный для нас обеих: в этот день родилась моя Вика, и в тот же день, только другого года, родился... Андрюша Зотов. Одна – в жизнь земную, другой – в жизнь вечную...

Эпилог

...А что же моя книга? Ведь написана она была без малого пятнадцать лет назад, когда я еще только-только начинала входить в Церковь. За это время она тоже проделала непростой путь. Было время, когда я даже хотела ее снять. Перечитывала с каждым новым читателем, пыталась увидеть себя 30-летней давности его глазами, ёжилась: «Ну, и мамочка!» Но поразительное дело – никто, ни один не сказал: «Как вы могли!..»

К тем, кто взял на себя тяжкий труд прочитать эту книгу, – отношусь с огромным уважением: ведь не из любопытства же к чужой душе читали. Знаю, правда, и то, что многие, сев за это чтение, так и не вставали, пока не закончат... Так же, как я когда-то просидела до утра с книгой Людмилы Зотовой. Видно, нам с ней взглянуть на это со стороны не дано...

Потом книгу, «бумажную» (у меня еще оставалось два последних экземпляра) прочитали несколько человек из «Радоницы» ([Радоница \(1\)](#)). Ну, тут всё понятно... Виртуальную же книгу

люди читали, но первый отклик пришел лишь через три года:

«2 июня 2011: Дорогая Людмила Александровна, спасибо Вам за эту книгу. Больше сказать ничего не в состоянии, просто Спасибо!
С уважением, Наталия»

Спустя еще время:

«03.11.2011 [Отзыв](#)

Спасибо Вам за рассказ про Вашу Вику. И поплакала, и поучилась. Я тоже считаю, что Вы правильно сделали, что опубликовали рассказ. Он поможет многим людям. Захотелось молиться за Вашу доченьку. Царствие ей Небесное! Вечная Память! А Вам дай Бог здоровья, счастья, благополучия. Храни Вас Господь!»

А еще спустя время – такое письмо, абсолютно неожиданное:

«5 марта 2012, О.С., 35 лет

Вы мне очень помогли: Вы и ваша Вика. Именно вы вдвоем... В мае прошлого года у меня умерла мама... Она болела и не выходила из дома из-за больных ног, но была активным человеком, особенно в последние месяцы жизни она сделала очень много для людей – общалась по телефону с инвалидами, ветеранами. В основном просто слушала, и людям становилось легче. Это были те люди, которым через газету не удавалось помочь социально, только добрым словом, и вот это «послушание» взяла на себя моя мама. Даже через несколько дней после ее смерти вышла газета со статьей, которую она подготовила, общаясь с ветеранами по телефону. Все случилось внезапно – я даже не успела ничего сообразить, а потом начались страшные дни, где было самообвинение (не без оснований), вопросы без ответов, и виделся единственный «выход». Рухнуло все. Весь смысл жизни, ведь мы все время проводили вместе, не расставались дольше, чем на неделю. Теперь уже не знаю, как я вышла на дневник «Прощай и здравствуй», но я зачитала его до дыр, если так можно сказать об электронной версии. Я держалась за него как за соломинку, он единственный в то время стал по-настоящему душеспасительным чтением. Я чувствовала, как девочка Вика буквально потащила меня за руку из того мрака и отчаянья, которые меня душили. Я смогла плакать (когда читала (уже по десятому, двадцатому разу) про «масляную дорогу» и белые от дождя подберезовики, вспоминала наши грибные походы, – и даже старая Ида оказалась вылитая моя пра-пра-бабушка – эстонка по национальности, жившая с семьей на хуторе в Ленинградской области, которую я знаю по единственной сохранившейся с начала XX века фотографии. Мне стало безумно стыдно: десятилетняя девочка, одна, в незнакомом месте, без мамы, а помогает другим, мне же – 35, я – в привычной обстановке, но, как маленькая, хватаюсь за мамину юбку. Теперь я должна что-то делать для мамы и для моих ушедших! И тогда встали уже другие вопросы: как помочь, что я должна делать? Они потребовали деятельности и никак не вписывались в концепцию «легкого выхода»...

Спасибо Вам и Вике!!! Разумеется, Вы меня сейчас поправите – не только вам, но и Тому, Кто все так мудро управил, – и будете правы...»

Вот уж, в самом деле: «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»... Даже про эти белые подберезовики... Полгода спустя О.С. приняла Святое Крещение...

Потом пришло письмо от читательницы, назвавшей себя вот так: Ромина мама. Само письмо у меня, к сожалению, не сохранилось, но вот то, что я написала в ответ:

«Спаси Вас Господь за Ваш отзыв... До сих пор не могу привыкнуть к тому, что книга моя действительно трогает сердца, и не просто трогает, а помогает. Я понимаю, что она не может не надирать сердце, и искренне удивляюсь и радуюсь, когда в конце этого тоннеля мои читатели все же видят свет. Вернее сказать – этих тоннелей, потому что книга Людмилы Зотовой – тоже

не слишком легкое чтение».

«Здравствуй, Людмила! – написала в ответ Ромина мама. – Спасибо большое, что Вы мне ответили. Да, совершенно верно, читать непросто. Но эта боль несоизмерима с пользой от прочтения. Из Вашей книги я узнала, что бывает заочное отпевание, и я успела сделать это до 40 дней для своего мальчика, за это я Вам безмерно благодарна.

Да, это мой первый и долгожданный сын. После трудной беременности, трудные роды, кесарево.8 баллов, и все, наконец, хорошо. А потом резкое ухудшение состояния и мучительная борьба за жизнь. Он очень старался, но не смог.

Благодаря прекрасным людям, оказавшимся рядом со мной, я покрестила его на второй день жизни. Без веры не знаю, как бы я смогла это пережить.

Спасибо Вам еще раз за все!

Царствие небесное Вашей Вике. Она такая прекрасная девочка».

А спустя еще время пришло такое письмо, от нашей прихожанки, Е.:

«Дорогая Людмила, вот что хочу Вам рассказать. Помните, я Вам писала об И., потерявшей сына в декабре прошлого года? И как ей помогла Ваша книга «Прощай... И здравствуй!..» Так вот, она готовится ко Святому Крещению. А ведь И. была воинствующим атеистом. А сейчас читает, читает... «Азбуку веры». Слава Богу!»

В то время я перечитывала «День за днем», мысли неизвестного православного священника на каждый день. И письмо Е. все теми же неисповедимыми путями пришло именно в тот день, когда я читала вот это место:

«Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» ([2 Кор. 1, 4](#))

...Вспомним же, что и мы призваны «утешать находящихся во всякой скорби» и что для этого сами должны пройти через испытания. Придет время, когда все, пережитое нами, послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому, и когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце откроется перед нами, у нас найдется слово утешения, свидетельствующее о той безграничной милости, которою Господь вывел нас самих из мрака к свету.

Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием».

На Павловы слова (об утешении всех скорбящих «тем утешением, которым Бог утешает нас самих») я счастливо «набрела» сама, когда начинала писать второй свой дневник, «Лазарев год», они стали ключевой его мыслью и целью.

«Но, перечитывая «День за днем» сейчас, – писала я в ответ Е., – вижу, что между восприятием ее в новоначалии и нынешним – «бездна, звезд полна». Должно было пройти 10 с лишним лет, чтобы я вполне поняла значение мною же написанной уже тогда книги...»

А оно, это значение, – вот в этих словах неизвестного автора (которые я не запомнила, а, значит, и не поняла тогда):

«Когда скорбь можно назвать святою? Когда мы в ней видим любовь Божию и уверены в благом намерении Его о нас. Много бывает горя на свете, кто его не испытал? Но одна скорбь убивает душу, другая вносит в нее жизнь, бодрость и мир. Так и в нас скорбь будет действовать различно, смотря по тому, постигаем мы или не постигаем всю святость любви Божьей и благое намерение, с которым Он послал нам эту скорбь.

Для нас недостаточно только скорбеть. Будем молиться, чтобы Господь освятил нашу скорбь. Неосвященная, она будет для нас проклятием, а не благословением; а скорбь святая

приближает к Богу, сближает с людьми, одухотворяет сердце, ведет к непорочной жизни и бросает новый свет на будущее, озаряя его видением славы.

Скорбь Давида, смиряя и смягчая его сердце, приблизила его к Господу. Он не мог бежать от Бога и поспешил к Нему как к единой надежде, единому прибежищу. Нам кажется подчас, что не было никогда скорби, подобной нашей, и что мы покинуты Богом и людьми. Но мы, как Давид, должны в этой скорби найти Самого Бога. Он явится нам в ней, освятит ее, укроет нас, и под сенью крыл Его мы будем в безопасности.

История Давида рисует нам сначала картину полного отчаяния, когда он заперся в своей печали и не мог видеть никого. Но из этого испытания он выходит обновленный, с сердцем, открытым для своих ближних. Его горе заставило его понять чужую скорбь. Так и наша скорбь не должна удалять нас от наших братьев, но сближать с ними. Мы им можем послужить и через нее».

...Несколько лет назад мне вспомнился сон наяву, некое видение, посетившее меня через несколько месяцев после случившегося с нами: я просыпаюсь — и вижу около моего дивана смеющуюся Вику. Она сидит на корточках в своей любимой матросочке, которую носила в шесть лет... Вся облитая солнцем... Тогдашним своим атеистическим сознанием я восприняла это как галлюцинацию, никому об этом не говорила — и сочла за благо забыть. И, вспомнив вдруг через сорок почти лет, ясно и недвусмысленно поняла: Господь утешал меня уже тогда, сразу, и всем Викиным радостным видом показывал мне, что ей у Него хорошо...

Я рассказала об этом отцу К. Тогда он мне ничего не ответил, только кивнул головой. Но через какое-то время я получила такое SMS-сообщение:

«Христос Себя обозначил как незримый Ваш и Викин спутник в горе с самого начала. Помните этих рыбок? Вика нарисовала их перед смертью, Вы выжгли... ИХФИС... Но понять этот знак Вы можете только из сегодня. Думаю, Вика счастлива видеть, как все сегодня складывается».

А еще несколько лет спустя, буквально на днях, я нашла у себя в почте письмо от моей... не то сестрички, не то дочки, и тоже Вики (и того же, добавлю, года рождения – 1962-го):

«2 авг в 7:15

!!! Людмила Александровна, доброе утро!

Понимаю, знаю, что снам верить нельзя, но... Уж очень необычный сон.

Главное действующее лицо – Вы. Расскажу. Правда, запомнила не всё».

И рассказывает, уже по телефону:

– Мы с вами куда-то едем в машине. Вы за рулем и едете очень быстро. Мне страшно, и я прошу ехать помедленнее, но вы говорите, что очень спешите, потому что вас ждет Вика: вам с ней отпущено определенное время для встречи, и вы хотите приехать побыстрее. И вот мы с вами оказываемся в какой-то большой комнате, с арочными дверями и с большими, арочными же, окнами, с темно-красными бархатными занавесями, очень красивыми, с ламбрекенами. Посреди комнаты стоит большая кровать, накрытая очень красивым бархатным же покрывалом с вышивками. Мы с вами садимся на сиденья слева от входа и ждем. А в комнате тем временем ходят люди в одеждах 19-го века, времен Пушкина... И вдруг появляются три фигуры, в длинных светлых одеждах, типа хитонов. Две очень высокие, а третья, посередине, – ростом с 10-12-летнего ребенка...

– Ангелы, что ли?... – шепчу я.

– Да, как их изображают... И вот эта фигурка подбегает к нам и начинает рассказывать, как она счастлива, как ей здесь хорошо! Да, я еще забыла сказать, что за окнами – белоснежные

кучевые облака, и я понимаю, что мы – на небе...

Митрополит Сурожский Антоний (Блюм):

«Мы о смерти всегда думаем как о разлуке, потому что мы думаем о себе и об усопшем; мы думаем о том, что никогда больше не услышим любимого голоса, никогда больше не тронем любимого тела, никогда не погрузим свой взор в дорогие нам очи, – никогда больше не будем жить вместе с человеком той простой человеческой жизнью, которая нам так дорога, так драгоценна. Но мы забываем, что смерть является, одновременно, встречей живой души с живым Богом. Да, уход от земли, уход от нас, хотя бы относительный, но уход с тем, чтобы стать лицом к лицу с живым Богом, с Богом жизни, и вступить в такую полноту жизни, которая никому недоступна на земле. И вот об этом, сквозь слезы, с раздирающимися от собственной боли сердцем, мы можем радоваться за другого человека».

ЧАСТЬ III. Частички бытия...

Так называлась одна из рубрик блога (<https://azbyka.ru/forum/xfablogs/ljudmila-nikeeva.8771/>), который я вела с 2011-го по 2016 год. Мне очень нравилось это название, и, когда родилась идея книги, именно так я и хотела ее назвать. Да, «пора, пора,/ покоя сердце просит,/ и каждый день уносит/ частичку бытия»... Всё так... Но, когда я набрала в поиске два этих слова, чтобы проверить свою память, оказалось, что книга под таким названием уже есть. Назвать так и мою книгу не было бы плагиатом: это абсолютно естественный ход мысли тех, кто... на финише. И все же я решила дать это название только вот этой части книги, куда вошли... избранные частички моего бытия в Церкви Христовой... Одни из них нашли приют в моем блоге, другие – на [Книжной полке](#) отца Константина Пархоменко, а какие-то живут сами по себе, вне рубрик.

[Свете Тихий, или: Что может сделать один луч солнца с душой человека](#)

*Светлой памяти моего учителя,
проф. Бориса Ивановича Бурсова*

Я этот очерк написала, едва крестившись: как мостик от моего «языческого» прошлого к совершенно новой, внезапно открывшейся мне жизни – жизни во Христе, а потом время от времени к нему возвращалась. Это была как бы соединительная ткань между прошлым и настоящим: Достоевский, но уже – и Свете Тихий...

Крестилась я в марте, во вторую седмицу Великого Поста. В марте солнце в нашем городе ходит хотя и не очень еще высоко, но уже вполне уверенно, и даже закатный свет его уже избавлен от январской выморочности и краткости.

В один из таких мартовских вечеров и пришел мне на память Достоевский с его особым пристрастием к закатным часам. Пристрастие это я заметила в далекие университетские годы, когда писала дипломную работу на тему: «Город и люди в произведениях Ф. М. Достоевского». Цель ее состояла в том, чтобы показать непреодолимую власть над чувствами и мыслями героев Достоевского окружающей их среды: и скверного петербургского ветра, и туманного петербургского утра, «самого делового в мире и в то же время самого фантастического», и петербургских трактиров, и всех этих каморок-«гробов» со скошенными потолками, выходящих на брандмауэры, где только и могли рождаться и вынашиваться сумрачные идеи петербургских мечтателей.

И вот, читая подряд те произведения Достоевского, действие которых происходит в Петербурге, начиная от «Бедных людей» и кончая «Подростком», я заметила там один «сквозной персонаж» — закатные лучи солнца. Об этом писала еще жена писателя в своих примечаниях к «Братьям Карамазовым»:

Длинные косые лучи заходящего солнца встречаются в произведениях Ф.М. как наиболее любимые им часы дня.

Однако Анна Григорьевна, насколько мне известно, не детализировала эту тему, хотя бы потому, что у нее было множество гораздо более важных дел, связанных с огромным творческим наследием мужа. Я же посвятила закатам Достоевского несколько страниц своего студенческого опуса, и когда сейчас, в абсолютно новом, как у всякого неопита, состоянии души, эта «закатная тема» вдруг снова пришла на память, мне захотелось перечитать те страницы. И не просто из любопытства к далекой-далекой себе, а с тем, чтобы попытаться понять, что же стояло за этой любовью Достоевского к «длинным косым лучам заходящего солнца».

Я достала из старого книжного шкафа черновик моего диплома, переживший все архивные чистки и переезды, и сразу заглянула в конец: я хорошо помнила, что упомянутую тему

рассматривала под занавес, не то как «луч света в темном царстве», не то как «ложку меда в бочке дегтя».

Однако в тогдашних своих комментариях к цитатам тех мест из произведений Достоевского, где фигурировало закатное солнце, я не нашла ответов на сегодняшние вопросы. Мой юношески цепкий глаз увидел, что никогда этот «персонаж» у Достоевского не случаен, никогда он не сводится просто к пейзажной зарисовке, а всегда обозначает собой начало цепи каких-то исключительных событий в жизни героя, нравственный переворот или примирение и успокоение. Но он не увидел, по неискушенности своей, то, что мне так хочется видеть сегодня. И я пошла по проложенному мною когда-то пути заново, используя проставленные под цитатами номера томов и страниц просто как верстовые столбы.

Обратимся же к самому Достоевскому.

Ордынов, герой одного из первых произведений писателя, повести «Хозяйка», открывший собою галерею «петербургских мечтателей», после двух лет добровольного заточения, погребения заживо в своем «углу» (а именно в «углах» по преимуществу и будут обитать потом герои Достоевского) выходит в город в поисках новой квартиры.

Теперь он ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. ... Все более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на все, как фланер.

Постепенно Ордынов устает от наплыва новых впечатлений, и ему становится тоскливо и грустно. Но вот он заходит в «один отдаленный от центра города конец Петербурга» и уже к вечеру оказывается перед приходской церковью.

Он вошел в нее рассеянно. Служба только что кончилась; церковь была почти совсем пуста, и только две старухи еще стояли на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи. Лучи заходящего солнца широкою струею лились сверху сквозь узкое окно купола и освещали морем блеска один из приделов; но они слабели все более и более, и чем чернее становилась мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами раззолоченные иконы, озаренные трепетным заревом лампад и свечей. В припадке какой-то глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного чувства Ордынов прислонился к стене в самом темном углу церкви и забылся на мгновение. Он очнулся, когда мерный, глухой звук двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. ... Это были старик и молодая женщина.

И на этом сломе света, на самой грани сумерек начинается полудетективная история любви Ордынова к вошедшей в церковь молодой женщине, любви, воскресившей его к жизни — и едва не унесшей из нее.

В романе «Униженные и оскорбленные» закатное солнце фигурирует в похожем амплуа, однако все здесь другое — и время года, и сам облик солнца, и настроение, сообщаемое душе героя одним только его лучом!..

Я люблю мартовское солнце в Петербурге, — говорит герой «Униженных и оскорбленных», — особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

А дальше происходит вот что:

Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок. Поровнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился как вкопанный и

стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку.

И в это-то самое мгновение у героя оказывается в руках тоненькая ниточка, продвигаясь за которой, он выходит на дымящийся клубок чужих страстей и сам запутывается и пропадает в нем без остатка. А начинается это, как и с Ордыновым, на переломе между закатом и сумерками, между светом и тьмой.

Однако в произведении «Вечный муж» заходящему солнцу отведена уже совсем иная роль.

В один день, и почти сам не помня как, он (Вельчанинов, герой повести. — авт.) забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон не был он на кладбище; ему все казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер, солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в шиповнике жужжала пчела; цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежила ему сердце. «Как легко!» — подумал он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой безмятежной веры во что-то наполнил ему душу. «Это Лиза послала мне, это она говорит со мной», — подумалось ему.

Лиза, дочь Вельчанинова, о существовании которой он не подозревал, которая была ему внезапно явлена, подарена и столь же внезапно отнята, теперь оттуда, с закатного неба, говорила с ним. Из предвозвестника гибельных перемен заходящее солнце превратилось в великого Утешителя, посланника Царствия Небесного. Потому, быть может, что между «Униженными и оскорбленными» и «Вечным мужем» был арест за участие в революционном кружке, был смертный приговор, в последнюю минуту, уже после преломления шпаги над головами осужденных, замененный Высочайшим указом на каторгу, затем — несколько лет в кандалах, «Мертвый дом»... Так что «Вечного мужа» Достоевский писал во второй из двух своих жизней, где уже не было места желанию что-либо ниспровергать, а была «жажда верить», становившаяся все сильнее и сильнее... Но это, как говорится, другая история.

В романе «Преступление и наказание» закатное солнце вводится Достоевским дважды — в начале и в конце, и оба раза — едва ли не как перст Божий. Родион Раскольников, как мы знаем, замыслил «арифметическое», «теоретическое» убийство отвратительной, никому не нужной старухи-процентщицы. «Арифметическое» — потому, что он, Раскольников, имеет целью не завладеть ее деньгами, а единственно лишь доказать себе, что, если он «вытерпит» это убийство, «переступит», значит, он — не «тварь дрожащая», а «право имеет».

Но вот он видит страшный сон о забитой мужиками кляче. В ужасе очнувшись от этого сна — заметим, на закате, — Раскольников с отворачиванием отбрасывает мысль об убийстве.

Он встал на ноги, с удивлением осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на Т-в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало так легко и мирно. «Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой ... мечты моей!».
Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывающий весь месяц, вдруг прорвался.

И даже красный цвет солнца не нарушает сошедшего на Раскольникова душевного покоя. Можно почти не сомневаться в том, что автор придал солнцу этот «яркий, красный цвет», чтобы лишний раз напомнить своему герою, что он «яркую, красную» кровь собирает

пролить. Но тот смотрел на кровавое солнце «тихо и спокойно» и лишь молил Господа: «...покажи мне путь мой», не видя, что путь этот, который он сам для себя измыслил в своевольном стремлении сравняться с Богом, уже явственно обозначен на небе...

А путь этот ведет Родиона с моста напрямик на Сенную, где он случайно слышит разговор, из которого узнает, что «завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, останется дома одна». После этого Раскольников входит к себе «как приговоренный к смерти», уже зная, что все решено окончательно. Назавтра «проклятая мечта» осуществляется.

Итак, преступление, заявленное в названии романа, произошло. Но и после него, на протяжении всего романа, Раскольников продолжает вертеть со всех сторон свою «арифметическую» идею и тот реальный способ, которым он попытался ее осуществить, убив «заодно» на беду свою оказавшуюся дома вовсе уж ни в чем не повинную Лизавету. То, что он не «вытерпел» эти убийства, не «переступил», Родион понимает сразу же, а точнее — понимал еще до преступления. Понимает он и то, что ждет его каторга, но не так прост Достоевский, чтобы назавтра же отправить своего героя в контору с повинной. Он еще поводит Родиона по семи кругам ада, в котором живут герои его многонаселенного романа, и лишь затем отправит каяться на ту же самую Сенную, а потом — к следователю с повинной.

Но прежде Раскольников должен проститься с матерью, с сестрой Дуней, с Соней. Он ужасно спешит, потому что хочет «кончить все до заката солнца». Простившись с матерью, он забегает домой, где застаёт сестру, которая уже все знает. Еще один мучительный разговор и прощание. Теперь — к Соне! («Солнце между тем закатывалось», — напоминает автор.) И уже от Сони, после великой сцены, где «сошлись блудница и грешник», — напрямик на Сенную. Начинаются сумерки, а он хотел «кончить все до заката», еще раз подчеркивает автор...

Но нигде, пожалуй, причина столь необыкновенной важности для писателя закатных часов не сформулирована с такой четкостью и, прямо скажем, лапидарностью, как в романе «Подросток». По странному капризу гения Достоевский доверяет сделать это отнюдь не кому-либо из ключевых героев романа, а некоему Тришатову, которого сам же иронично называет «хорошеньким мальчиком».

Что же говорит этот Тришатов, вспоминая роман Диккенса «Лавка древностей» (а надо сказать, что к Диккенсу Достоевский относился с пиететом и даже подумывал одно время в поисках «положительно прекрасного человека» взять за прототип его мистера Пиквика)?

И вот раз закатывается солнце, — и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое ведь, как загадка — солнце, как мысль Божия, а собор, как мысль человеческая, — не правда ли?

Поразительно красив и предметен этот образ — две мысли, устремленные навстречу друг другу: одна — сверху, другая — снизу, особенно если вспомнить, что собор — готический.

Впервые сформулированная (а быть может, и впервые осознанная?) в «Подростке», «философия заката» Достоевского приобретает совсем уж определенное звучание в устах старца Зосимы, необыкновенно важного для писателя персонажа последнего его крупного произведения — «Братья Карамазовы»:

Люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы из всей благословенной и долгой жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая.

Теперь длинные, косые лучи солнца уже неразрывно связаны не просто и только с «мыслью

Божией», но с «*правдой Божией*». И вряд ли случайно слова эти вложены в уста лица духовного. Исповедь старца Зосимы жена писателя включила в число «особенно ценимых» писателем эпизодов «Братьев Карамазовых». Как известно, Зосима писан был с реального старца, Амвросия, с которым Достоевский имел длинные беседы в Оптиной пустыни, куда специально приезжал. Так что тут каждое слово было продумано. *На закате жизни* — а Федору Михайловичу не оставалось жить и двух лет — словами не играют.

На этом и можно было бы поставить красивую точку, если бы... не сон Версилова из того же «Подростка»:

Был уже полный вечер, в окно моей комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, — и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел в своем сне, обратилось для меня тотчас же, как я проснулся наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества.

Это версильское пророчество заката «европейского человечества» совершенно естественным образом приводит на ум Шпенглера с его «Закатом Европы», трагическую пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца», где этот заход прямо ассоциируется с увяданием, умиранием и, наконец, смертью — пусть и увенчивающей собой последний бурный всплеск жизни в сердце старика.

Да и существовала же, в конце концов, целая философия заката, восходившая к тем первозданным временам, когда с последним длинным косым лучом заходящего солнца человек оказывался наедине с враждебной тьмой ночи.

Не говоря уж о том, что с сотворения мира рай помещался на востоках, а когда человек преступил заповедь, Создатель изгна его, и всели прямо Рая сладости (Быт.3:23-24), то есть на западе. «Распятый Господь, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), — взирал к западу от востока, и мы, устремляя взоры к нему, кланяемся на восток».

...Все встало на свои места, все примирилось и сошлось, когда я впервые прочла (а не услышала на службе: поёмые слова, в отличие от чтимых, разобрать трудно, а именно прочла) дивный «Свете Тихий».

Свете Тихий святых славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяя; темже мир Тя славит.

...Однажды на вечерне мой взгляд упал на свитер стоявшего впереди и несколько наискосок молодого мужчины: в закатном луче, преломившемся в стекле витража, свитер этот, только что черный, стал изумрудным. Отклонила голову чуть в сторону — снова черный.

Вот и с закатами так же: все зависит от угла зрения. Иной раз посмотришь на заходящее солнце — и так грустно станет, так печально. Взглянешь еще раз — и «узришь» в нем «мысль Божию», и возблагодаришь Господа за одно то, что еще раз *видевше свет вечерний*. Свете Тихий.

1999 — 2002

Синяя будочка...

Этот небольшой рассказ открыл собой мой блог (<https://azbyka.ru/forum/xfp-blogs/ljudmila-nikeeva.8771/>). В тот год, 2011-й, они сыпались из меня, как из рога изобилия: едва ли не каждый день вспоминались и требовали выхода какие-то истории... Со временем эта блогговая река вошла в

какие-то берега, у моих очерков появились постоянные читатели, ставшие, если можно так выразиться, соавторами, потому что многие из их комментариев имеют самостоятельную ценность... Там, где есть необходимость отнестись к комментариям и фотографиям, я даю ссылку на блогговую публикацию.

И, наконец, в «Частички бытия...» я отобрала лишь небольшую часть своих блогговых рассказов, самых, по тем или иным причинам, для меня важных и дорогих.

Одним ранним февральским утром (было это в 1999 году) я возвращалась из магазина домой. Путь мой лежал через протяженный пустырь, и, когда я подошла к нему, он был совершенно пуст, я это очень хорошо запомнила. Шла я в задумчивости: в то время все мои мысли поглощало Святое Крещение, на которое я уже внутренне решилась, но, хотя Господь разными способами и путями меня подталкивал, все как-то оттягивала это событие... И вдруг кто-то сказал: «Всего вам доброго, милая!» Я подняла глаза и увидела женщину средних лет, не молодую, но и не старую. Одета она была в какое-то странное, приталенное, старинного (как я отметила тогда же про себя) покроя пальто, голову ее покрывал платок-шаль. Появление ее было настолько неожиданно (я готова была бы поклясться, что она возникла «из ниоткуда»: ни до, ни после этого, до самого дома, я не встретила ни одного человека!), что я даже не нашла что ответить. Она же, приостановившись буквально на миг, пошла дальше, и уже вслед я ответила: «Спасибо! И вам также!» Она только чуть наклонила голову в ответ, но не обернулась.

И никто меня не разубедит в том, что это была... Ксения Блаженная, как бы благословлявшая меня войти, наконец, в Храм Божий. В середине марта я крестилась.

Это было первое и до сего дня единственное чудо, которое сотворила для меня святая Ксения. Второе же – случилось сегодня, в день ее памяти.

Возвращаясь домой с праздничной Литургии, я зашла по пути в метро в магазин, купить какую-то еду, и к моей сумке прибавились два пакета. Встала я рано, служба была долгой – прославляли святую блаженную Ксению, и в метро я задремала. Когда же объявили мои «Озерки», я быстро вышла... и уже на эскалаторе обнаружила, что забыла в вагоне сумку. А в сумке были все мои документы. Все!..

И я сразу стала молиться. Но, как ни странно, не Господу, не Богородице, не Ангелу Хранителю, а святой блаженной Ксении. Я прошу о чем-то именно ее нечасто, но тут это имя было первым, которое пришло мне в голову: ведь я с ее праздника возвращалась. И, пока поднималась на эскалаторе, я вспомнила описанную в проповеди «Петербургская хранильница» о. Константина Пархоменко (которую я как раз вчера редактировала) историю чудесного обретения утерянных в блокаду хлебных карточек.

Наша станция – глубокого заложения, и по пути наверх я успела вспомнить и о том, что в блокадном удостоверении, оставшемся в забытой сумке, лежит крохотная Казанская икона Божьей Матери, которую я несколько лет назад увидела на полу в метро в «час пик» (кто-то ее, видно, обронил) и каким-то чудом выхватила из-под ног спешащих людей (потом отец К. мне ее переосвятил: все-таки на ней отпечатался кусочек чьего-то следа).

Так что, когда я оказалась наверху, все остальное было уже «делом техники». Подошла к дежурному, тот отправил меня на конечную станцию, к тамошнему дежурному, а тот уже был в курсе: когда я подошла к нему и сказала о своем деле, он сразу спросил мою фамилию и имя. И сказал: «Вы сейчас спуститесь и пройдите на платформу, там такая синяя будочка, у дежурной спросите».

Я так и сделала: спустилась, нашла синюю будочку, а около нее – уже ждавшую меня дежурную с моей сумкой в руках. «Слава Богу! – сказала я. – И спасибо вам огромное. Тут ведь ВСЕ мои документы...» «Да, мы уж посмотрели: ВСЕ!..» Там были и паспорт, и блокадное удостоверение, и пенсионное удостоверение, и страховой полис, и... словом, все те «бумажки», без которых, по известному каждому присловью, человек – всего лишь «букашка». Ходить бы мне и ходить по «коридорам власти», все это восстанавливая, если бы не... Пресвятая Богородице, спаси нас! Святая блаженная мати наша Ксение, моли Бога о нас!

6 февраля 2011

Звездный час...

«Вот уже третье 27 августа мы с двоюродным братом приезжаем на Смоленское кладбище помянуть нашу бабушку. Умерла она еще до нашего появления на свет, но, кроме нас, навещать ее некому...»

Сегодня мы еще только подходили к ее могилке, а в воздухе уже была разлита какая-то неуловимая радость. Казалось бы, все было точно так же, как и в прошлое посещение: и мягкое солнышко уходящего лета, и последние комары, и тишина... Так – да не так. Совсем далекие по своему жизненному опыту, судьбе и мировоззрению, мы с братом дружно и с какой-то особой душевностью "сервировали" бабушкин столик, выпили за помин ее души, а потом еще долго сидели, вспоминая наше общее детство. Когда прибирали за собой, брат сказал: "Мне кажется, бабушка была здесь, с нами...". Мой упорно и, я бы сказала, как-то даже панически неверующий брат...»

Вернувшись с кладбища, я сделала в своем тогдашнем дневнике эту запись. Было это в 2002 году. А через четыре года произошло то, о чем я сразу решила рассказать, когда прочитала в записи отца Константина от 11 марта: «Позавчера – звонок от прихожанина Д.: “Отец Константин. Я мамочку крестил...”». Дело в том, что и я крестила... Как вы уже догадались, вот этого своего «неверующего» брата Сашу. И, может быть, когда и если прихожанин Д. прочтет эту историю, она укрепит его уверенность в том, что совершенное им Крещение действительно и несомненно. Другое дело, что, так же, как и в моей ситуации, оно «совершено, но не завершено»: совершить Таинство Миропомазания и Причастия над ними не успели. Но тут уж... воля не наша. Надо думать, что милость Божия в каких-то случаях имеет некоторые пределы...

...Родители брата, а мои тетушка и дядюшка, сразу после войны переехали со своей Дегтярной в Пушкин. Почти каждое лето мама отправляла меня к ним погостить («на дачу»: Пушкин был тогда совсем тихим и зеленым городком), и мы с Санькой проводили вместе целые дни. Он был завзятый книгочей, обладавший, к тому же, феноменальной памятью, и знал чуть ли не наизусть «Историю Великой Отечественной войны», биографии политических деятелей своего времени, даты съездов партии и т.д. Говорю об этом к тому, что много-много лет спустя эти его способности ему пригодились и стали неким (о чем он даже и не подозревал) трамплином к вере.

Саша рано стал военным пенсионером; будучи человеком непьющим, некурящим и очень неприязнительным в одежде, он мало в чем нуждался и потому все свои деньги (остававшиеся после отдачи в семейный котел) тратил на газеты и журналы. Его демобилизация совпала со временем перестройки, «демократизации», «второго Крещения Руси», и утро у него начиналось с того, что он обегал все газетные киоски Пушкина, а потом все это переваривал и анализировал.

От Церкви в то время он был далек, так же, впрочем, как и я. Но мать его, а моя тетька Клава,

сколько я себя помню, ездила по кладбищам, всех навещала, всех отпевала (и мою маму тоже отпела, заочно, правда: я-то тогда еще была нехристом), знала все церковные праздники. Меня она очень любила, и с какого-то времени почти каждый наш телефонный разговор заканчивался фразой: «Люда, когда же ты крестишься?..» Младший же ее сын по-прежнему слышать не хотел о крещении (хотя мать с детства таскала его с собой по кладбищам и церквам...): коммунистическая идеология сидела в нем слишком крепко.

В 1999-м, «с помощью» моего сына (крестившегося самостоятельно в 18 лет), моей школьной подруги, вызвавшей в унисон с тетей Клавой: «Когда же ты крестишься?!..», Господь до меня достучался, и я крестилась. Меньше чем через год тетя Клава умерла, и я уже могла проводить ее по-христиански, сознавая смысл происшедшего как рождения в жизнь вечную. Брат на отпевании послушно повторял за всеми все должное, держал свечку, которая – это заметили все – почему-то все время гасла...

С этого времени он стал интересоваться церковными событиями и так же основательно, как некогда «Краткий курс истории ВКП(б)», штудировать то, что писала пресса. Мы не были с ним как-то особенно тесно дружны: я приезжала к нему на день рождения, 23 ноября, да летом мы с ним ездили навестить его родителей на Казанском кладбище в Пушкине и бабушку Агриппину – на Смоленском. Он неукоснительно и весьма торжественно поздравлял меня с главными гражданскими и церковными праздниками. Иногда даже звонил и спрашивал, например, знаю ли я, что завтра – «Матрона зимняя». Знал, что у меня есть «свой» священник и как его зовут, знал, что я хочу быть отпетой в «своем» соборе и «своим» священником. Ко всему этому он относился очень уважительно, но к себе лично – по-прежнему абсолютно неприложимо. Он считал себя, как я уже сказала, неверующим, но, что бы и как бы он ни говорил по поводу веры и Церкви, все в нем выдавало какой-то затаенный от самого себя страх...

Потом умер старший брат, Юра. Братья не были дружны, но, как бы то ни было, Саша остался абсолютно один (если не считать почти «виртуальных» бывшей жены, дочки и даже внучки, живших в Москве). У него появились странноватые привычки, входить в которые я не буду...

И вот в один сентябрьский день 2006-го раздался звонок: «Тетя Люда, вы не могли бы приехать? Я не знаю, что делать: мне позвонили соседи дяди Саши, говорят, что уже неделю его не видели, а на звонки в дверь и по телефону он не отвечает...» Это звонила Лена, дочь старшего брата Юрия, жившая неподалеку в Пушкине. И, отложив неотложные дела, я поехала...

Когда, с помощью техника-смотрителя и милиционера, взломали дверь и со страхом и трепетом вошли в квартиру, оказалось, что брат жив, но в крайнем истощении: по всей видимости, он так и пролежал на полу без сознания всю ту неделю, что его не видели. Вызвали «скорую», медики привели его в кое-какое чувство, и мы с Леной стали снаряжать его в больницу. Поехала с ним я: Лену ждали дома двое детей. Мы с ней – единственные в нашем роду по отцовской линии воцерковленные, и у нас была одна единодушная забота – успеть его окрестить: если, конечно, он выразит сознательное желание креститься.

В больнице им. Костюшко, как ни странно при его возрасте, им сразу занялись: возили из кабинета в кабинет. Я спросила у первого же врача, его смотревшего, доживет ли брат до утра. «Трудно сказать. Может, и доживет, но скорее всего – нет, очень ослаблен». И я позвонила отцу Константину – прекрасно понимая, что сегодня ехать в такую даль и в столь поздний час (было около 9) уже поздно, но надеясь на какое-то чудо. И чудо – менее всего ожидаемое, на то оно и чудо, – произошло. «А вы крестите его сами, вы же знаете, читали... Я вас благословляю», – сказал священник. И объяснил, как это сделать... Да, о крещении мирянами в смертной

опасности я читала. У Лескова, у Фуделя. А теперь это предстояло сделать мне...

С этого момента главной моей заботой было не упустить момент, когда брата закончат обследовать: если его сразу повезут в отделение, туда я уже до утра проникнуть не смогу. И тут случилось второе чудо. «Кто с Меркурьевым?» – спросил врач, выйдя в коридор. «Я!» – хрипло сказала я, вскочив. «Его надо помыть. А потом – в отделение, будем как-то пытаться... Сейчас подойдет санитар». Пришел молодой парень. «Кто с Меркурьевым? Вы? Везите его в ванную, вот сюда, я сейчас подойду».

И я поняла, что наступил наш с Санькой «звездный час». С этого момента во мне началась какая-то легкая вибрация, не имевшая, однако, ничего общего с известной всем нервной дрожью. Никакого внутреннего озноба, просто нечто, светло и легко пронизывающее от головы до пят... Такого я никогда не испытывала ни до, ни после того вечера...

Я ввезла каталку в ванную и оглядела это холодное и унылое, как все больничное, помещение, которому предстояло стать... баптистерием. Вошел санитар, и я как в воду кинулась: «Скажите, вы не могли бы оставить нас минут на пятнадцать? Дело в том, что это мой брат, и я хочу его крестить. Я сама его и помою». Он молча на меня посмотрел, потом выдал мне губку, мыло, простыню, полотенце и кувшин и, сказав в ответ на мой безмолвный вопрос: «Прямо на каталке и мойте», – ушел...

Опустив описание этого «омовения», перейду к тому моменту, когда мой брат, очищенный, насколько это было возможно, от последствий недельного лежания на полу, был подвезен в центр ванной комнаты, на самое светлое место, и я сказала: «Санька, если ты хочешь, я тебя сейчас буду крестить. ТЫ ЭТОГО ХОЧЕШЬ?» Больше всего я боялась, что он ответит что-то невнятное, что трудно будет истолковать как согласие, как ясно выраженную волю. Но он... сказал неожиданно светлым и глубоким голосом: «Хочу. Очень хочу».

Когда все было сделано, я сказала: «Ну вот, поздравляю тебя!» «Спасибо, Люда, большое спасибо!» – сказал мой воспитанный брат. «Да, я забыла тебе сказать, что меня отец Константин на это благословил!» – «И ему тоже большое спасибо!»

Он прожил еще пять дней, в течение которых мы с Леной по очереди дежурили около него. Первые дня два он был ясен, собирался сделать, когда отсюда выйдет, то-то и то-то, потом все чаще впадал в забытие. Время от времени я обтирала ему лицо крещенской водой, и он слепо и жадно, как малое дитя, ловил стекавшие ему в рот капли... Оставшаяся ему жизнь укладывалась в дни, если не в часы, и я читала над ним потихоньку, благо палата была отдельная, подходящие случаю последования.

На пятый день меня попросили сопроводить его на какое-то обследование на второй этаж. Когда, через несколько минут, из кабинета вышел врач, я сразу поняла, что он хочет мне сказать. Это он и сказал. А потом прибавил: «Из него вышла вся кровь». «И вместе с ней – душа», – продолжила я про себя.

Я поднялась вверх. Его койку уже перестлали. По коридору везли каталку, на которой, накрытый с головой одеялом, лежал мой бедный брат. Я видела, что каталку ввезли в санитарную комнату. «Можно, я посижу с ним немного?» – спросила я у сестры. «Посидите...» Я села возле него и, положив руку на одеяло, под которым угадывалось еще не остывшее плечо, стала читать Последование на исход души из тела. Страшно не было, только очень его жалко... «Ты только ничего не бойся! Все будет хорошо!» – сказала я, уходя.

Племянница моя и рада была, что успели дядю Сашу окрестить, и была в сильном смущении. Мне стоило большого труда уговорить ее не открывать обстоятельств этого крещения свечнице

часовни, которая оформляла отпевание. Слава Богу, удалось, и брата отпели, как всякого другого христианина, и гроб выносили наружу под медленный, низкий удар колокола. Но, хотя я и уверяла Лену, что отец Константин, выслушав все обстоятельства Крещения, признал его действительным (хотя и не завершённым) и благословил подавать о нем прошения в алтарь, она оставалась в сомнении.

А потом ей приснилось, что она входит в какой-то домик, а там ее встречают дед, бабушка и дядя Саша. Отец же ее, Юрий, тоже живет в этом домике, но в другой комнате. Но это и понятно: у него с родителями и с братом были сложные отношения. «Я спрашиваю у них, – говорила Лена, – может быть, вам что-нибудь нужно? А они: нет, нам ничего не нужно, у нас здесь всё есть»...

15 марта 2011

Взыскание погибающих...

Не дай никому Бог доживать жизнь в таких условиях, как приходилось моей старенькой соседке по площадке Наталии Петровне: с двумя взрослыми пьющими и что называется гулящими внуками (родители их давно умерли от пьянства). Она часто заглядывала ко мне, пожаловаться на свое житье-бытье, я ее очень жалела. Давно уже ее обещала забрать к себе дочка, жившая в Гатчинском районе, в поселке Химози. И, наконец, Н.П., уже в полном отчаянии, попросила меня съездить к ней, рассказать, как живет мать.

И вот я собралась. Было это в субботу 18 февраля, в день празднования иконе... «Взыскание погибших». Перед тем, как ехать, я прочитала объединенный акафист иконам Божией Матери «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радосте». Целенаправленно, рассчитывая на помощь Матери Божьей, на то, что она растопит сердце этой женщины, забывшей о матери. Это ее я ехала разыскать как погибшую... (Это я-то, думаю я теперь, в трезвом свете своего собственного дочернего покаяния...)

По пути на Балтийский вокзал зашла еще до службы в свой собор, благословились у о. Константина (он как раз дежурил) и поехала.

Долго ли, коротко деревню эту я нашла, нашла нужную мне улицу, тянувшуюся, насколько хватал глаз, и пошла по ней. Кругом все как вымерло. Спали еще? Долго шла я по пустынной улице. Увидев, наконец, вдали высокую женскую фигуру, я очень обрадовалась и поспешила к ней навстречу. «Здравствуйте! – сказала я. – Не знаете ли вы, где живет Надежда Петровна?» (Фамилию ее я уже забыла.) «Это я», – последовал ответ... Я сказала ей, кто я и зачем приехала. Женщина слушала меня как-то странно равнодушно и устало, а потом сказала: «А мы сгорели».

...Вчера утром, в 5 часов, выпал из топившейся печи горячий уголек (Надежда затопила ее, чтобы нагреть дом перед тем, как всем вставать, прилегла и... заснула)... Разбудил всех кот, но было уже поздно: пламя занялось мгновенно, едва успели выскочить. И сейчас Надежда брела по дороге с чайником и кастрюлей, добытыми на пожарище, к знакомым. Устроились кто где: муж с внуком в одном доме, она с внучкой – в другом, дочка где-то еще...

На долгом пути домой я не могла не думать с изумлением и даже каким-то страхом о том, что, хочу я этого или не хочу, а исполняю миссию взыскания погибающих (слава Богу – не погибших)...

Через неделю мы с одним нашим прихожанином, Дмитрием, поехали в Химози с ворохом вещей и солидной суммой денег, собранных для погорельцев добрыми душами (коих оказалось до слез много...).

По дороге мы заехали к Веронике А., забрать собранные и ею вещи и икону «Утоли моя

печали». Вручить эту икону Надежде я попросила Диму: мне хотелось, чтобы это сделала не я, «бабулька», а молодой современный человек, приехавший на «Волге» с мигалкой (служебной). Дело в том, что многочисленные родственники (от меня же и узнавшие о беде) с иронией говорили, что собрали мы барахло от умерших мужей...

Я не знала, как встретит Надежда этот наш дар, «в приложение» к гораздо более осязаемым материальным дарам. Но реакция превзошла все мои ожидания. «Господи, старая я дура! — сказала она, прижав икону к груди. — До шестидесяти лет дожила, и никогда-то у меня в доме не было иконы!.. Это первая моя икона... Пойдемте, поможете выбрать для нее место!»

Где только ни приходилось бывать Пресвятой Богородице, а теперь вот Она оказалась в крохотном, 3х3, сарайчике, с буржуйкой, слаженной хозяином, с голыми стенами и полом, устланным для тепла картонками.

Место для иконы нашлось сразу — очевидное и единственное. Здесь Ей предстояло жить вместе с пятью погорельцами, пока не выстроится новый дом...

27 апреля 2011

*Управил...**

В то воскресенье, «рядовое», если уместно так выразиться о воскресной службе, лил дождь, и на паперти не было никого из наших «штатных» нищих, даже той, которую ни морозы, ни любые непогоды не смущают: закутается по самые глаза и сидит. И я даже порадовалась, что никого нет: не нужно было терять время на доставание денег: я опаздывала. Появятся после службы – подам.

По классическому литературному штампу, состояние моей души соответствовало погоде, или наоборот: погода соответствовала. Случилось так, в силу всяческих искушений, ибо «враг не дремлет», что я две недели не была в храме. А такие «отпуска за свой счет» тому, для кого храм – дом родной, даром не проходят.

Подошла к священнику уже с мокрыми глазами: искушение мое было такого толка, что в двух словах (а в очереди за мной стояло человек десять, при том, что до начала службы оставалось минут десять же) не изложишь, и, так ничего толком и не сумев сказать, получила от милосердного батюшки благословение причаститься, в надежде, что Господь как-то все управит...

Подходили люди, здоровались, христосовались, и, хотя не могли не видеть моих заплаканных глаз и распухшего носа, но – храни их Господь! – никто не спрашивал: «Что случилось?» Что бы я ответила, если и сама не знала толком, что случилось?

А рассказываю я об этом для того, чтобы было понятно, почему я не пошла на свое обычное место, слева от солеи, где уж точно стали бы спрашивать, что случилось, а устроилась подальше, где меня никто не знал. И именно поэтому и произошло то, что произошло дальше. И вот: *Благословенно Царство...* И началась Литургия. А у меня все текли и текли слезы, и, сколько я ни старалась войти в службу, ничего не получалось.

Служба шла своим чередом, и уже пошел Евхаристический канон, и уже призвал Господь: *Приидите, ядите, сие есть Тело Мое...* И, следуя запавшему мне в душу совету из «Духовных

* Комментарии – здесь: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/upravit.367/>

бесед» прот. Бориса Николаевского просить в эту великую минуту все, что хочешь, – и даст, Он тут, близ, – я попросила у Него «духа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви»...

И в какой-то момент я почувствовала, как сходит на душу покой. «Ну вот, слава Тебе, Господи! Управляешь...» – подумала я. Но, едва я это подумала, как услышала где-то сзади плачущий голос: «Сыночек у меня умер!..»

В храме (одно из немногих, но твердых моих достоинств) я без особой нужды не смотрю по сторонам, но на *эти* слова невозможно было не обернуться. Тем более, что и голос-то был знаком. И я увидела ту самую нищенку, которая в любую погоду сидит на паперти. Она говорила что-то явно незнакомому ей, судя по его вежливо отстраненному лицу, прихожанину. А потом я услышала слово «поминанье» и увидела, как он достал из кармана деньги и протянул ей... И она, все повторяя: «Поминанье, поминанье...», в растерянности и недоумении побрела, сама не зная, куда.

...Услышав это «Сыночек умер!..», я мгновенно поняла, что это – *для моих ушей*, что не случайно я оказалась именно на этом, необычном для себя, месте и что это Он *управляет*. И, предоставив службе идти своим чередом, в некоем параллельном измерении, – ибо обстоятельства целиком подпадали под закон духовный: дело любви превыше дела молитвы, – я пошла к ней... «Доченька, – увидев меня (я у нее иногда становилась доченькой), – поминанье какое-то нужно... Сыночек у меня умер...»

Я молча взяла ее за руку и подвела к свечному ящику. «Здесь?.. Сыночек у меня умер... – сказала она и свечнице. – Вот, на поминанье... Все, что есть». И она стала доставать из всех карманов и класть на прилавок наши измятые десятки и среди них – сотню, что, по-видимому, дал тот прихожанин. Я молча придвинула к ним и свои деньги. «А помянут его?» «Обязательно. Сорок дней о нем молиться будут», – сказала свечница и, отсчитав требуемую на сорокоуст сумму, подвинула остальное обратно. «Вот, возьмите. Имя-то как? Как записать?» – «Вадик, Вадик! Сорок один год ему...». «Новопреставленный Вадим, – сказала, записывая имя, свечница. – Уже сегодня на панихиде помянут». – «Помянут? Ну, спасибо, доченька, дай тебе Бог здоровья!» – «Свечку-то возьмите, поставьте...»

«А куда?» – это уже был вопрос ко мне. «Пойдемте, – сказала я и повела ее к Распятию. «Только дай я за тебя ухвачусь, а то сил нет идти», – сказала она, и так, под руку, пошли мы к Распятию...

«Заснул сынок мой позавчера, – говорила она, пока мы медленно шли меж людей, – и все спит и спит. Потом уж, днем вчера, я подошла к нему и говорю: сыночек, ты бы хоть молочка выпил, и толкаю его в плечо. А он холодный, заостенел уже... Лежит, желтенький такой, у него печень больная, ручки сложил, ножки вытянул...» И опять затряслась в плаче.

К Распятию подошли на возгласе «Святая святым...». Он донесся до меня, как некий сигнал туманного горна, я даже не сразу сообразила, что это было. «Давайте свечечку поставим», – сказала я. И она стала слепо тыкать ею невпопад, видно было, что не привыкла. «Поставь, доченька, ничего не вижу...» Я поставила. «Ой, – вдруг тихо и серьезно сказала она, – а я ведь даже не знаю, крещеный он у меня или некрещеный, ничего не помню, мне ведь семьдесят шесть лет!..» На мгновение у меня мелькнула мысль подойти потом к свечнице и сказать об этом, может быть, сделают помету «аще крещен»... Но только на мгновение. И вместо этого я сказала: «Подойдите к Господу, Он знает. Поклонитесь Ему». Она подошла к Распятию, обхватила его, прижалась лицом ко Кресту и громко, в голос запричитала: «Господи, прости Ты меня, не уберегла я своего Вадика, не уберегла сыночка своего!..»

Я стояла у кануна и глотала слезы...

Моление ее было таким громким и отчаянным, что перекрывало уже начавшееся чтение покаянных молитв. На нас стали оглядываться. Сделал паузу чтец... Тогда я подошла к ней и

сказала: «Вы еще и Богородицу о нем попросите...» «А как? Я не знаю...» – «Да вот так же, своими словами, Она поймет». Обняв за плечи, я подвела ее к Богородице. И услышала то, что меньше всего ожидала услышать: «Доченька!.. Помоги Ты сыночку моему, Вадику! Не уберегла я его!»

На этом «Доченька!» я вдруг ощутила, что больше не вмещаю... И, оставив несчастную мать на попечение Господа и Пречистой Матери Его, пошла поклониться «Тайной Вечери» и св. прав. Иоанну Кронштадтскому...

После Причастия я ушла в укромный уголок храма, чтобы не расплескать посещение Господне... На панихиде новопреставленного Вадима помянули дважды, сначала – диакон Иосиф (это было первое имя, которое он произнес), потом – отец Константин...

...Когда я вышла из храма, на паперти увидела свою знакомицу. «Мне сейчас десять тысяч вынесли, в долг, – сказала она мне тихо и умиротворенно. – Да вы вот дали, и еще добрые люди... Теперь будет на что похоронить. Мне в морге сказали одежду во вторник принести. Да у меня и нет ничего. Шароварчики у него есть, надену, и хорошо будет...»

«Как зовут-то вас?» – спросила я. «Людмила... Людмила Павловна!» Тетка... Умиротворение ее было недолгим. «Сыночек мой! – снова запричитала она. – Как же я теперь без тебя буду?! Я этого не вынесу, не вынесу, не вынесу! Я ведь его ругала...» «Ну, если и в самом деле не вынесете, так Господь вас пожалеет, заберет к сыночку!» – неожиданно для себя самой сказала я. И лицо ее, некрасивое, жалкое, некоторыми признаками даже указывавшее на некое пристрастие, вдруг просияло и похорошело. «Правда, заберет?!» – с детской радостью сказала Людмила.

Она взяла меня за руку, рука у нее оказалась теплая. Мы еще немного поговорили.
19–24 июня 2010

*Быть нищим**

Почему надо «подавать» всякому нищему, не входя в рассмотрение его достоинств, и даже, если знаешь, что он недостойный человек: кроме того, что дающий обогащает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек – грабит самого себя, – кроме этого, отказывая в милостыне, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяжкий вред просящему, поселяем в нем злобу, убиваем веру, возбуждаем ненависть к богатым, сытым, религиозным
Священник Александр Ельчанинов

Я далека от того, чтобы идеализировать нищих. Как всякий «профессиональный» мир, этот мир имеет свою некрасивую изнанку. Но, как всякий «профессиональный» мир, имеет и свою светлую сторону...

Привожу здесь несколько моих дневниковых записей, сделанных в разные годы.

Проходя мимо Князь-Владимирского собора, вижу сидящего на скамейке человека лет 50-ти, с красивым, интеллигентным лицом (я бы сказала – геолога-полевика), довольно прилично одетого. Возле него – красноречиво говорящая о цели его сидения кепка... Достāju десятку и

* *Комментарии - здесь: [Быть нищим...](#)*

молча кладу в кепку, чуть поклонившись ему. «Спаси вас Господь и сохрани, матушка!» – от души, не пропитым и не прокуранным голосом говорит он... «Что с тобой, брат?.. Что с тобой случилось?..» – звучит в душе вопрос, но я его подавляю, следуя когда-то преподанному мне принципу: «Добро есть зло, когда оно кратковременно». (Не всегда, конечно; но мне кажется, что те ситуации, когда проявить добро необходимо, вне зависимости от «срока действия», говорят сами за себя...) Ну, спрошу, расковыряю ему душу, а дальше что? Готова я взять этого человека, его боль на себя? Выслушаю и уйду, а он останется на этой скамейке. Вот то-то и оно...

Воскресными утрами вагоны метро полупустые, и поэтому калекам на тележках удобно ездить по ним за милостыней. Многие из них одеты в камуфляж, голубые береты десантника. Народ наш к увечным воинам жалостлив, чем некоторые и пользуются, прикрывая воинским облачением обыкновенную бытовую травму (ну, скажем, по нетрезвому делу). Но не нам их судить...

Что же до «моего» афганца, он – на все сто процентов настоящий. И сегодня у меня был случай в этом убедиться. Я ехала воскресным утром в храм, когда он вкатил на «Черной Речке» в вагон и, проехав без особого успеха, остановился возле меня, улыбнулся: «Будьте здоровы, мир вам и вашим близким» и, получив от меня десятку, хотел ехать дальше, но тут его остановил сидевший напротив человек лет пятидесяти с военной выправкой. Они начали говорить, а потом человек этот достал из кармана какое-то, видно, удостоверение и протянул «афганцу». Тот тоже достал какое-то свое удостоверение. Они поговорили немного (наверняка о том, кто где воевал), а потом обменялись крепким рукопожатием и «военный» напоследок вручил афганцу сотню.

«Вы сегодня какая-то светленькая...», – сказал мне как-то утром отец К. Сказано это было в минутном общении перед Воскресной службой (он в тот день не был исповедующим священником и коротко принимал лишь своих чад), и я не стала вдаваться в объяснения: за мной стояло к батюшке еще несколько человек. Но вечером, отвечая ему на одно деловое письмо, я сделала приписку: «Светленькая я была, как Вы сказали, знаете из-за чего? Никогда не угадаете. Помните того нищего, сидевшего в жаркий летний день на тротуаре у Техноложки и ослепительно мне улыбнувшегося? Вы еще спросили: "Это ваш знакомый?" Такой же "знакомый" есть у меня и в метро – безногий солдатик-афганец. Давно его не видела, и вот сегодня он вкатывает на своей тележке в вагон – и прямо ко мне: "Рад вас видеть! Как здоровье?" Я достала из кармана приготовленные пятак и две двушки – все, что у меня сегодня было, помимо двух десятков на храм (у нас с сыном случается иногда такое безденежье), и подала ему, а он взял, как-то даже и не обратив внимания: "Главное, чтобы у вас было хорошее настроение!" И, так же ослепительно улыбнувшись, укатил дальше. Понимаете, батюшка, верьте-не верьте – я сразу как-то подумала: "Это Господь через него мне улыбается!" Мне не очень свойственны такие горделивые мысли, но вот... с нею я и пришла в храм».

Наверное, при каждом храме есть свои, «штатные», нищие. Во всяком случае, при нашем соборе они есть. Или были. Одним из таких «штатных» года два был некий Валентин, человек лет пятидесяти со страшной черной бородой и разбойничьими черными глазами. У него, как и у многих нищих, была своя «легенда»: восстанавливает потерянный паспорт. Вот получу паспорт, и уж тогда... В те недалекие годы нищим обычно жертвовался пятак. И Валентин, получая от меня свой пятак, говорил: «Помоги тебе Бог, матушка!» И вот однажды случилось так, что я пришла в храм вообще без копейки (у нас с сыном был тяжелый период: он перешел на новую работу и всё должно было как-то устроиться, но пока еще не устроилось). Увидев после службы стоящего на своем обычном месте Валентина, я подошла к нему и сказала: «Валя, вот честное слово, сегодня ничем не могу тебе помочь! Впору самой просить!» И открыла перед ним свой кошелек. «Матушка! – сказал он, прижав руку к сердцу: – Ты, если что, всегда у меня проси! Всегда выручу!»

Придя в следующий раз, я подала ему два пятака: «Это тебе за прошлый раз и за сегодня!» (К слову сказать, об этом «ты». Я не так-то легко перехожу с людьми на «ты». Особенно если человек намного моложе и так же обращаться к тебе не может себе позволить. Или если за этим односторонним «ты» стоит некое социальное или вообще любое превосходство. Но в общении с нищими действуют свои законы, там слишком близко Господь Бог, стирающий многие барьеры между людьми... И если тебе говорят: «Ты, матушка, если что...» – как же ты-то скажешь «вы»?..)

Потом Валентин надолго пропал. Потом появился вновь, похудевший, уже без бороды. Сказал, что был на Валааме и снова собирается туда. Больше я его не видела. На Валааме? Или сгинул где-то?

На «ты» зовет меня (и я его ответно) и Сережа, другой наш «штатный» нищий. Этот молодой еще и довольно красивый, аккуратен и даже щеголевато иногда одетый человек стоял у нас на паперти, опершись на костыли: у него был врожденный вывих тазобедренного сустава. Беря подавание, он всегда говорил: «Храни тебя Господь!» Было время, когда он даже изредка исповедовался и причащался. Потом уже постепенно начал сдавать: стал меньше следить за собой, приходил «на работу» нечесанным, не очень чистым, иногда подвыпившим. Я не сужу и вам не советую: давайте попробуем пожить на паперти хотя бы неделю...

Но в ту пору, когда произошла вторая история, Сережа еще был «в форме» и у него даже была девушка. И вот однажды, подавая ему, я открыла кошелек и из него посыпались монеты. «Кошелек-то у тебя рваный!» «А ты возьми да подари!» – в сердцах вдруг сказала я. Вот, ему подаешь, а он над кошельком, из которого подаешь, смеется... Но в храме тут же об этом забыла. Когда же я пришла в храм в следующий раз, увидела улыбающегося Сергея, издали протягивавшего мне... кошелек. Новенький, страшненький, под черепаховую кожу... Я оторопела... «Сережа, ты что, с ума сошел?! Я же пошутила!!!» «Это тебе, матушка, мой подарок. За всё. Четыреста рублей стоит!» Я была в транс. Но обратного хода не было, дурацкую шутку обратно не возьмешь, кошелек не бросишь.

Так я стала с этим кошельком ходить. Потом у меня появился другой, более удобный и не такой неуклюжий (крестница подарила). Но как-то раз я подумала, что нехорошо это – человек подарил от чистого сердца (хотя, наверное, и не без примеси гордыни), к тому же это ведь кошелек не простой, а от нищего... Словом, в один прекрасный день перед тем, как идти в храм, я снова переложила всё в этот кошелек. И, подходя к паперти, вдруг увидела Сергея. Говорю «вдруг», потому что давно его не было. Поздоровавшись с ним, я стала доставать из кармана куртки мелочь. «А где мой кошелек?» – вдруг спросил он, пристально на меня глядя. «Да вот он!» – на голубом глазу сказала я, мысленно поблагодарив за подсказку своего Ангела Хранителя... Теперь уж с этим кошельком и помирять буду. Если только до того не потеряю...

Они разные.

Один молодой человек с бородкой приезжал к паперти на маршрутке...

Как-то раз, выйдя из храма, я увидела даму лет пятидесяти, сидевшую на стульчике, держа на коленях... раскрытый ноутбук...

Выйдя одним зимним днем из храма с сестричкой моей Любовью, мы, как обычно, поздоровались с нашими «девочками» (Ларисой и двумя Людмилами), подали им, а отойдя достаточно далеко, чтобы нас не услышали, рассмеялись и сказали: «Все трое в дубленках!» Конечно, принесенных в храм «с барского плеча». Но обе мы были в куртках на рыбьем меху, и нам эта ситуация была забавна...

Идя домой из храма, я вижу старушку, стоящую на одном и том же месте, держа в руках кусочек картона с корявой надписью: «Сгорела квартира». Стоит она так уже года два.

Просят много. Просят везде. Молодые и старые. С детьми и без. Поэтому «всякому нищему» – если только он не просит лично у тебя, глядя тебе в глаза – я подавать просто не в состоянии. Приходится выбирать. «Пусть пятак запотеет в руке твоей, прежде чем ты решишь, кому его

дать», – сказал кто-то из отцов. Лично у меня «пятак» в руке не запотеваает. У меня давно уже определились критерии выбора. Но я не стану их называть и тем навязывать...

...Примерим к себе, через что пришлось переступить душе, прежде чем однажды она согласилась прийти с тобой на паперть... или встать на углу... или в вагоне, или на переходе в метро... и протянуть к людям твою руку...

29 января 2012

У подсвечника

Так вышло (оставим за скобками подробности), что четыре месяца я прослужила в храме «на свечах». Приходила ранними утрами, уходила – поздними вечерами. Два Божьих дня – в храме, два – дома. Было это в самые сумрачные, темные месяцы (с октября по январь), и по утрам в храме стоял полумрак, в котором призрачно мерцали лишь негасимые храмовые лампадки да свечечки, уже кое-где поставленные прихожанами, забежавшими спозаранку по пути на работу. Прежде всех дел подойдешь к Спасителю: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный... Ты рекл еси...». И после – тихое, сосредоточенное возжигание лампад и свечей. Это тебе – как аванс от Господа, дар Божий, который потом целый день «отрабатываешь». В храме еще полная тишина и безлюдие, лишь кое-где уже стоят перед иконами молящиеся. Когда появляется священник, подходишь к нему: «Благословите, батюшка, на труды дневные!» «Бог благословит, матушка!» – осеняет он тебя священническими перстами.

Вот некоторые, наиболее яркие, эпизоды...

Крестили грудного мальчишечку. Крещаемый безостановочно верещал. Но когда отец П. взял малыша на руки и понес в алтарь – тот затих. По возвращении же из алтаря опять запищал, только теперь уже оттого, что не хотел переходить с рук батюшки на руки отца...

В середине дня в придел вошли человек 10–15, и с ними – девочка лет четырех в белом пышном платьице и с огромными белыми же бантами в волосах и молодой мужчина с грудным ребенком на руках. Понятно было, что пришли они ради чьих-то крестин, и я была уверена, что креститься будет девочка, потому и наряженная, как инфанта. Однако на самом деле крещалась девочка-грудничок. И по всему чувствовалось, что для всех, кто пришел на эти крестины, сегодня был большой личный праздник. И отец К. совершал свое священническое дело с видимым удовольствием...

Крестились вместе Светлана и Галина, невестка и свекровь... Галина, невысокая старушка с белоснежными, подстриженными под горшочек волосами, стояла, не шелохнувшись, держа руки по швам, как солдатик. Ей 82 года, приехала к семье сына из Архангельска, и вот, перед тем как ехать обратно, окрестилась. Вместе с невесткой. «Теперь хоть отпоют», – сказала Галина...

– Скажите, пожалуйста, у вас принимают записочки об армянах? – спрашивает пожилая женщина с выраженным кавказским акцентом.

– Да, конечно, почему же нет, они ведь православные.

– А вот в грузинской церкви сказали: нельзя. Знаете, здесь грузинская церковь есть...

– Трудно сказать, почему там так сказали...

– Только вот как написать? Имя-то у него не русское...

– А как его зовут?

– Гигам.

– Честно сказать, я не знаю, как в таких случаях быть. Спросите у батюшки, а потом мне скажете, чтобы впредь и я знала.

– Ну что? – спросила я, когда после короткого разговора с отцом П. она подошла ко мне снова.

– Он сказал: напишите имя, а в скобочках – «крещен». А вас как зовут? Я и о вас помолюсь...

– Матушка, а панихида когда будет?

– Только что закончилась, буквально пять минут назад!

– Ой, что же делать! Отцу моему сегодня сороковины... Как это я так не рассчитала!.. А еще панихида будет?

– Нет, но вы можете попросить батюшку послужить, раз уж у вас сегодня такой день...

– Ой, мне неудобно очень... А вы не можете его попросить?

– Я могу, конечно, объяснить ему ситуацию, а там уж как получится...

Долго ли, коротко ли, отец Г. панихиду послужил. После я подошла к кануну, убрать огарочки, и, когда повернулась от него обратно, наткнулась взглядом на радостно кивавшую мне уже от выхода из придела женщину. Я улыбнулась ей в ответ и, кладя в свой поднос очередную порцию огарков, вдруг с изумлением увидела в нем... две десятки.

– А это еще откуда?! – вырвалось у меня.

– А это вот та женщина вам положила, – сказали мне. – А вы и не видели?

Нет, я не видела... Я кинулась вдогонку, но ее уже и след простыл. Я подошла к церковной кружке и опустила туда свой «гонорар»...

В тот же вечер подходит женщина и, стесняясь, говорит:

– Вы не обидитесь, если я попрошу вас взять этот пирожок, на помин?

– Нет, конечно! А кого помянуть?

– Татьяну, ей годовщина сегодня...

Вечером, сев выпить чаю перед уборкой, преломили этот пирожок с моей напарницей...

Вчера вечером ко мне подошел молодой человек с каким-то смурным, темным лицом и сказал, что ему нужен батюшка.

– Батюшка только что ушел, – сказала я.

– А вместо него кто-нибудь может со мной поговорить?

Я ответила, что нет, священника никто заменить не может.

– Ну, тогда я *вам* расскажу. Вы можете меня выслушать?

Я утвердительно кивнула.

– Я осквернил этот храм, – сказал он, как в воду бросившись.

– Когда это было?

– Давно, мы здесь мальчишками всюду лазили, собор тогда еще не работал. И я все ронял сверху крест. А потом мы его сожгли.

– Вы крещеный?

– Нет.

– Ну, тогда это не так страшно, – после некоторой паузы сказала я. – Тогда этот грех не вменится вам так серьезно, как если бы вы были крещеным. Хорошо, что вы пришли. Но теперь бы вам все-таки к батюшке надо, приходите хоть завтра.

Он молча кивнул мне и ушел. Сегодня дежурил отец Г., и я ему об этом человеке рассказала.

– Как его зовут? – спросил батюшка.

– Увы, этого я у него не спросила... Помолитесь о нем хоть как-нибудь...

Он обещал. Кто-то из тех, кому я эту историю рассказывала, справедливо заметил, что, как бы то ни было, главное этот человек сделал: покаялся, и покаялся в храме.

– И всем девочкам скажи! – доносится до меня голос Р., нашей уборщицы, стоящей, опершись на швабру, и о чем-то говорящей с Л., моей напарницей. Я подхожу, интересуюсь, о чем речь.

– Да вот, подходит одна бабка и говорит: «Вот, ходите тут, свечки наши снимаете, чтоб у вас, проклятых, руки отсохли!» Я ей ничего не сказала, а про себя молитву: «Предложение твое, враже, на главу твою!»

– «Мати Божия, помози ми!» – подхватываю я.

– Во-во-во, и: «Богородице, Дево...», сколько сможешь. Надо нам уметь защищаться. Здесь ведь не одни ангелы летают...

– Матушка, скажите, пожалуйста, где икона Николая Чудотворца?

– А вот она, прямо перед вами.

– О Господи, ну да!

– Где у вас Ксения Блаженная, не подскажете?

– Вот, вы на нее смотрите.

– Надо же, как это я не увидела...

– У вас есть Казанская?

– Да, конечно. Вы перед ней стоите.

– Ой, и правда!

Каждый Божий день приходится удивляться этому феномену: люди ищут икону, не зная, что уже нашли... Как будто она сама приводит их к себе...

Сегодня крестился какой-то удивительно кроткий младенец, месяцев восьми-девяти. Все, что с ним делали, он принимал без единого звука. В своем желтеньком комбинезоне, с прямыми сомкнутыми ножками, он смотрелся как оживший оловянный солдатик. «Кроткий какой, да?...» – сказала и напарница, с минуту постояв рядом со мной.

От южных дверей вошли в храм молодой мужчина и девочка лет четырех. Дойдя до собственно храмового зала, девочка высвободила руку и остановилась. Папа снова взял ее за руку и потянул за собой. Девочка стояла как вкопанная. Папа отпустил ее. Тогда она сложила руки на груди, как перед Чашей, трижды степенно, в пояс, поклонилась – и только после этого двинулась дальше. Папа послушно пошел за ней.

– Можно вас спросить?

– Да, конечно.

– Понимаете, скоро сорок дней со смерти матери. Мне сказали так: «До сорока дней говори: пусть ей земля будет пухом, а уже после – проси ей Царствия Небесного». Это правильно?

– Нет, конечно! С самого первого дня просите Царствия Небесного! – горячо вырывается у меня. – Как только человек умер. Во всех заупокойных молитвах, с первой же панихиды, на отпевании мы слышим: «...и даруй ему Царствие Твое Небесное...». Мы же не о теле молимся, о пухе каком-то для него, а о душе, и что же – целых сорок дней она не будет видеть от нас помощи?..

Спросивший – человек лет пятидесяти, с лицом толкового инженера, – слушает внимательно и задумчиво. Потом благодарит и уходит. Господи, вот и еще одно нелепое суеверие!.. Откуда берутся все эти басни? Кто-то же их придумывает... И почему им так легко верят?..

Кто-то поставил на канун огромную красную – пасхальную (а на дворе – декабрь) – свечу. И она горела очень долго и красиво, не оплывая, а просто потихоньку тая. Я вспомнила, как в самом начале моего воцерковления одна женщина рассказывала со слезами, как ее буквально вытолкали из храма, куда она принесла более дешевые свечи, купленные в другом месте. Грех ее (кстати, обозначенный и в «официальном» перечне грехов) состоял в том, что деньги, уплаченные ею за свечи, пошли в доход другому храму. Когда я об этом размышляла, мимо как раз проходил отец П., и я решила спросить, как относиться к «чужим» свечам.

– Очень хорошо относиться! – мгновенно ответил он, даже не став дослушивать. – Человек принес то, что у него было, то, что *хотел* принести. Все свечи у нас бледно-желтые, а эта – посмотрите, какая красота! – красненькая! Вон, видите, какая!..

И он даже отошел на несколько шагов от кануна, как бы любуясь свечой.

– Никогда не делайте замечаний! – продолжил он. – Любое замечание в храме вызывает отторжение. Если что не так – батюшка сам скажет.

Это я крепко запомнила и удерживаю себя от замечаний даже тогда, когда кто-нибудь протискивается со своей свечой к кануну и ставит ее, вставая впереди батюшки, уже служащего

панихиду...

Исподволь постигаешь своеобразную этику своего дела здесь. Вначале я как-то не ощущала себя как помеху молящимся и могла потихоньку «работать» с подсвечником, не обращая внимания на стоящего возле человека, в уверенности, что не мешаю его молитвенной сосредоточенности: я «при исполнении». Пока не услышала однажды: «Никогда не дадут помолиться!..» и не увидела, как сказавшая это с досадой отошла от иконы, перед которой стояла. После этого случая я старалась без особой необходимости не подходить туда, где стоит молящийся. Особенно, конечно, нежелательно нарушать уединение тех, кто стоит перед распятием... К сожалению, не всегда это возможно.

Каждый день, уже перед самым закрытием храма, кто-то ставит на все подсвечники по свече и оставляет их, не зажигая. Жаль, этот человек не видит, как утром, когда мы их зажигаем, полутьма храма наполняется живыми, трепетными огоньками. Когда он снова придет вечером, он их уже не увидит...

Пришли две женщины с грубыми, непросветленными лицами, нелепо одетые, видно, с соседнего рынка зашли, и спросили, куда поставить о здравии (такой вопрос задают не по одному десятку раз в день). Помогавшая нам в тот день матушка стала их стыдить, что они таких вещей не знают. «Пойдемте вон туда, – тихонько сказала я им и повела в другой угол храма, к иконам Тихвинской и Милующей. – Поставьте свечечки Божией Матери. Попросите Ее, о чем вам нужно, Она всех жалеет, милует, и вас пожалеет». Я взглянула на них. В оживших, ставших осмысленными глазах блестели слезы. Вот Она уже их и пожалела...

– Зачем вы переставляете свечи? Вы берете в руки умершие души!

Свечек на кануне столько, что мы с И. хлопочем вокруг него вдвоем и еле управляемся: люди идут и идут, и если не переставлять свечи, освобождая место для новых, их просто некуда будет ставить. Да и руки люди обжигают, когда тянутся через горящие свечи к свободным лункам. Пытаюсь объяснить это женщине, сделавшей замечание, но она в упор не слышит. В первый раз за эти месяцы во мне поднимается глухое раздражение. Спустя какое-то время женщина уходит. И вдруг меня как осеняет: «Какие умершие души?! Душа бессмертна!». Говорю об этом напарнице, она тоже за голову хватается: «И в самом деле – какие умершие души?! Мы-то тоже!..» И тягостный осадок, оставшийся на душе от недобрых слов и глаз, почему-то мгновенно рассеивается...

Смотрела «Остров» – и острее, может быть, чем многие другие зрители, воспринимала сцену экзорцизма, потому что нечто подобное пришлось пережить совсем незадолго перед тем, в обычное воскресное утро. Тогда еще службы шли только в приделе, главный алтарь еще не был готов. И вот, когда, закончив протирать иконы в приделе, я вышла в большой зал, возле иконы Спасителя увидела какую-то непонятную возню, а потом раздался грохот. Я подбежала к иконе и услышала: «Читай *Отче наш*, читай *Отче наш!*». Это лихорадочно повторяла девочке лет двенадцати молодая женщина, вцепившись в оклад иконы и буквально распластавшись по стеклу. Снова раздался грохот, и стало понятно, откуда он: женщина зачем-то приподнимала икону над аналоем, и она глухо падала обратно. Проходивший в это время с кадиллом диакон (а уже шла исповедь, читались Часы, в алтаре совершалась проскомидия, и никто из клира не мог отвлечься на этот инцидент) тихо сказал мне: «Святой воды!..».

Я уже и сама об этом подумала, но как их оставить у иконы, святая вода в другом конце храма? И тут я увидела бегущих на шум сторожей. Без долгих разговоров они потащили возмутительниц покоя к выходу. Я побежала перед ними, к баку со святой водой. Бежала и думала: нельзя их просто так вот вытолкать на улицу, нельзя! Слава Тебе, Господи, на помощь бежала уже и Л., моя напарница. Уже в дверях я выплеснула на женщину, прямо на

простоволосую голову, стаканчик святой воды, потом выбежала вслед за ней на паперть и приставила к ее губам второй. Она жадно, захлебываясь, стала пить. Л. в это время каким-то незнакомым, низким и сильным голосом начала читать Псалом 90-й (чему потом сама удивлялась), а я налила еще два стаканчика и снова стала поить беднягу святой водой. Девочка в это время бегала вокруг мамы и все причитала сквозь плач: «Только не убивайте маму, только не убивайте!». Мужчины, слава Богу, ушли в храм, и мы остались на паперти вчетвером. Л. все читала псалом... Но вот женщина выпрямилась, перевела дух и сказала: «На голову!..» Я вылила ей на голову стакан воды. Потом она показала себе на лицо. Я выплеснула ей на лицо второй стакан. И тут она подняла лицо к серому зимнему небу, и я увидела совершенно чистые, как два синих озера, глаза. «Всё!..» – выдохнула она и улыбнулась...

– Матушка, простите, пожалуйста, вы не могли бы сказать: вот у меня сегодня день рождения, и мне захотелось прийти в храм. Что я должна сделать? Свечки поставить?

– Свечки поставить? Ну да, наверное... Но, может быть, и со священником поговорить?..

– Не знаю, мне как-то неловко... Я очень недовольна собой...

– Так это-то и есть самое замечательное! – говорю я. – Вот если бы вы были *довольны* собой, это было бы гораздо хуже.

– А можно позвать батюшку? – нерешительно спрашивает женщина.

– Сейчас попробуем...

Прошу сторожа позвать отца П., и в скором времени он появляется. Начинается тихий разговор, и я ухожу из придела, чтобы не мешать. Потом я вижу, как она уходит с потаенно счастливым лицом...

В пятницу перед самой Литургией ко мне подошла женщина средних лет и, протянув букет из пяти темно-красных роз на необычайно длинных стеблях, сказала:

– Поставьте, пожалуйста.

– Кому? – спрашиваю.

– Господу Богу.

Слова эти меня поразили. В священных текстах, в богослужебном контексте – да, но так вот, как имя собственное... Я побежала искать достаточно высокую вазу, чтобы розы встали в нее. Слава Богу, подходящая ваза нашлась, и я поставила ее к иконе Воскресения Христова.

Вечером того же дня, часов в шесть, ко мне подходит молодой человек... с точно такими же, темно-красными, на длинных ногах и числом пять, розами:

– Поставьте, пожалуйста!

– Кому?.. – спрашиваю я, уже предчувствуя, что он ответит. И не ошиблась:

– Господу Богу.

– Послушайте, но сегодня утром уже приносили точно такие же цветы, и тоже Господу Богу... Может быть, это была ваша мама или кто-то из знакомых, по одному и тому же поводу?

– Нет... – удивленно ответил он.

Мне стало как-то не по себе. Ведь он мог подойти к кому-то другому, думала я потом, и тогда нельзя было бы сопоставить эти два факта. Но он подошел *ко мне*...

На Новый год мои дежурства выпали на последний день старого года и первый день нового. Сказала отцу Г.:

– Я вначале не очень была этим довольна, а вчера, на новогоднем молебне, вдруг поняла, что это ведь дар Божий: проводить в храме один год – и в храме же встретить другой...

– Конечно, это благодать!.. – охотно откликнулся он. – Я очень люблю служить в этот день. Все говорят: “О-о-о!.. Бедный!..” А мне очень нравится, я люблю быть здесь первого!..

И мне тоже в этот день в храме очень понравилось... На Литургии было человек десять–двенадцать, на панихиде после – и того меньше, и как-то очень быстро собор опустел. Примерно до часу дня, кроме «служащих и труждающихся во святем храме сем», не было ни души. Такое бывает вечером, когда мы уходим домой. Но сейчас, среди бела дня?.. Спали прихожане, и вместе с ними, в пол-глаза, в пол-уха, спал храм... Потом потихоньку, тонким ручейком, потек народ, то тут, то там замерцали свечечки, появилось дело...

Сегодня работала не в своей смене, с другой напарницей. Когда переодевались в конце дня в нашей «келье» – поразилась метаморфозе, случившейся с нею. Сняв свою всегдашнюю черную спецовку и простецкий белый платочек и переодевшись в «мирское», из вечно озабоченной чем-то полумонашки она превратилась в современную, совсем еще молодую женщину. Откуда это странное представление, что храм и радость – «несовместны»? Что здесь есть место только скорби, покаянию и ощущению своей (и, увы, других...) неизбывной греховности?..

В последнее мое дежурство я увидела, как прямо ко мне издалека бежит мальчик лет пяти. Добежав до меня, он протянул листок бумаги, на котором были нарисованы классический детский домик с избыточным дымом из трубы и облачка на небе, и сказал: «Это я подарок Богу сделал!»

11 июня 2007

Две встречи

Сегодня, ради праздника любимой нашей Казанской, помещаю необременительный, но, думаю, нелишний рассказ о двух мимолетных встречах. Случившихся в совсем разных обстоятельствах, с совсем разными людьми, но имеющих между собой нечто глубоко общее. Общее же это можно описать одной, по виду банальной, фразой: никогда нельзя судить о человеке по первому впечатлению, потому что каждый человек неизмеримо богаче того представления, которое мы о нем, на основании своего житейского опыта и «физиогномических» способностей, на скорую руку стряпаем.

Встреча первая

Как-то раз я очень поздно возвращалась из гостей и едва успела в метро до закрытия. Пересаживаясь на станции «Невский проспект», долго ждала поезда, как это всегда бывает в метро уже «под занавес», и, когда он, наконец, пришел, я вошла в вагон вместе с громадным гориллообразным молодым человеком. Кроме нас с ним, в вагоне не было ни души. И, хотя он мог сесть на любое место, сел он рядом со мной. Я теперь уже мало чего боюсь: мои седины – надежная охранная грамота в подобных обстоятельствах, кошелек мой не набит золотыми дублонами, и мне было просто интересно, почему он все-таки сел рядом со мной.

– Вы не скажете, а скоро станция «Озерки»? – спросил он минуту спустя.
Я ответила, что минут через двадцать и что я тоже там выхожу.
Прошло еще какое-то время, и вдруг он вынимает из кармана пакетик жвачки и, развернувшись ко мне, с самой обворожительной улыбкой протягивает пластинку:
– Хотите?
Я тоже улыбнулась по возможности обворожительно и сказала:
– Спасибо, я не хочу.
Едем дальше. А потом мой знакомец снова разворачивается ко мне и говорит, совсем уже как свой:
– Скоро НАША станция?
Когда мы приехали на НАШУ станцию, выйдя из вагона, он дружески помахал мне на прощанье. И я ему.

Встреча вторая

Эта встреча произошла буквально два дня назад (спешу ее записать, пока помню) и тоже в пути. В тот день я гостила у Т., с которой познакомилась в поездке на Святую Землю. Живет она в одном из пригородных поселков. Наступил вечер, пора было ехать домой, и она пошла меня проводить.

На станцию мы пришли минут за 15 до прибытия электрички. Сели на скамейку. Сидевший там мужчина лет сорока с готовностью подвинулся. Жаловаться на болезни и говорить о них Т., человеку жизнерадостному, несвойственно, а тут она, по-видимому, неудачно сев, упомянула о проблемах с позвоночником.

– Послушайте, что я скажу! – вдруг заговорил наш сосед, преодолевая некоторые речевые трудности известного свойства. – У меня тоже... были проблемы с позвоночником...

– Извините, – сказала Т., – у нас свой разговор.

И, встав со скамейки, отошла в сторону.

– Да нет, вы послушайте! Я церковный строитель. Я храмы строю!

Мы с Т. взглянули друг на друга. Дело принимало какой-то иной оборот.

– Садитесь, – тихонько сказала я ей...

– Вот у меня тоже была межпозвоночная грыжа, – продолжал незнакомец. – А я был тогда в Узбекистане. И там один костоправ мне ее вправил. За две тысячи, представляете? Всего за две! Четыре раза я к нему ходил – и всё. Клянусь! Вот уже четыре месяца – и всё в порядке.

Представляете?

– Ну, в Узбекистан я вряд ли поеду, – сказала Т.

– Да нет, он теперь уже в Татарстане, а потом сюда переберется. В Питер. Хотите, дам телефон?

Я взглянула на него. Ну да, выпил малость, под глазом синяк, но производит впечатление человека хоть и простого, но прямого и искреннего. Такой вряд ли станет выступать в роли посредника-толкача.

– Вот вы говорите, вы церковный строитель, – перевела я разговор с таинственного целителя на другую тему. – Вас как зовут?

– Романом.

– Роман, а что за храмы вы строите?

– Ну, это... В Невском районе, такая деревянная церквушка... В Александровской больнице... В Красной Долине. В Красном Селе...

– А в Красном Селе какой? – оживилась Т. – Там у меня тетя, Царство ей Небесное, много чего для Церкви делала. Какой храм? Там ведь не один...

– В Красном-то? А синенький такой!

– На горке?

– На горке!

Роман помолчал, а потом сказал:

– С этим храмом чудо было!.. Чудо было! Я, вообще-то, плотник. И вот ставим мы с напарником кресты. Два креста. А дело в декабре. Холодина, ветер, небо всё в облаках... И вот мы поднимаем кресты. А батюшка внизу молится. Мы ставим, а он молится. И вдруг видим – солнышко. Прямо над храмом – чистое небо, как окошко, представляете! Солнышко! Кругом хмарь – а над нами синее небо! Это такое чудо было!

Я посмотрела на Романа. Лицо его, мужественное, но грубоватое, просветлело, речь, до того отрывистая, трудная, стала быстрой, ровной, легкой!

Но тут подошла электричка. «Вы запишите его телефон», – шепнула мне, прощаясь, Т. Вагон был полон людей. Но одно местечко для меня нашлось. Длинный, размашистый, Роман стоял возле меня, задевая всех своей сумкой, висевшей через плечо, и не замечая этого.

Здесь, в вагоне, он снова повторил эту историю, уже, как я поняла, для всех. Но все молчали.

– Никто не верит! – с горечью сказал Роман. – Это чудо было, а никто не верит...

– Ну, я-то верю! – сказала я. – Я-то верю!

– Ну да, вы-то верите... Только вы и верите... А знаете, это всё из-за моего синяка. Вид у меня такой, не очень... Это я под монтировку попал...

– Давайте телефон-то ваш запишу, – сказала я, – Т. просила записать, ей нужно.

Достала ручку, записала на билете.

Поезд подходил к Девяткино, где все пересаживались на метро.

– Ну, давайте попрощаемся, а то тут мы с вами сразу растеряемся, – сказала я и подала церковному строителю Роману руку. Он крепко пожал ее и сказал:

– Вы к нам приезжайте, в Красную Долину. Всегда приезжайте!

– А вы больше под монтировку не попадайте!

– Спасибо! – засмеялся он. – Постараюсь!

21 июля 2011

«Звезды падали со лба...»

Гиацинт

Еду в гости. Люди хорошие, и хочется сделать для них что-то приятное, сверх того, что уже приготовила. И, прежде чем нырнуть в метро, захожу в цветочный магазинчик. Что бы такое купить?.. Тюльпаны? Гвоздики? И вдруг вижу сочные стебли, выпирающие из крохотного горшочка. В серединке – готовые вот-вот раскрыться толстенькие бутончики.

– Уже гиацинты!.. – говорю продавщице, маленькой, некрасивенькой девушке.

– Да, уже гиацинты! – приветливо отвечает она. – Хотите взять, да? А вам какие – синие, розовые или красные?

Скоро Пасха, и я выбираю красные.

– Знаете, когда их привезли, как раз была дочка нашего директора...

– Маленькая? – спрашиваю я.

– Да, четыре года! И вот как привезли, так она не отходила: «Буду ждать, когда распустятся!» И каждую минуту всё спрашивала: «А скоро они распустятся? Скоро?»

– Ну, и как: дождалась?

– Дождалась! – радостно отвечает девушка и становится почти красивой.

...Вечером возвращаемся с сыном домой. У нас идет оживленный разговор, но при этом я сижу, а сын надо мной нависает, согнувшись в две погребели. И тут сидящий слева от меня человек азиатской внешности, то ли таджик, то ли узбек, встает и делает перед моим сыном красивый жест рукой:

– Садитесь!

Человеку этому лет сорок пять, и сын, а он гораздо моложе, смущенно отказывается:

– Что вы, что вы!..

Тогда он опять повторяет свой жест и, склонившись к нам, говорит:

– Садитесь, вам же поговорить надо!

В вагоне есть и другие свободные места, но наш азиат просто отходит в сторонку и остается стоять...

...Гиацинтик моим друзьям понравился. Скоро он и у них распустился. А потом они прислали мне фотографии... «Наше Вам! – писали они. – Гиацинт уже отцвел, но фотографии остались».

Улыбка

Глядя на эту девушку-продавщицу, я вспомнила другой, очень похожий внешне, случай, десятилетней, не меньше, давности, потому что это было время, когда был введен и, поначалу (как это обычно у нас бывает), строго соблюдался порядок на любой торговой точке иметь для отчетности кассовый аппарат и выдавать покупателям чеки. И вот кто-то из друзей поделился своей идеей собирать чеки и таким образом контролировать и планировать семейный бюджет. Идея, спору нет, замечательная, и мы с сыном принялись воплощать ее в жизнь. Месяц собирали, но, когда подвели итоги, оказалось, что примерно таким мы свой дебет-кредит и представляли и резервов экономии не обнаружили. Но все же решили продолжить.

И вот однажды, выбрав что-то и заплатив названную сумму, я попросила чек. «Зачем вам?» – поджав губы, сумрачно спросила вдруг продавщица, и лицо ее, и без того некрасивое, стало совсем уж непривлекательным. И мне стало ее жалко... «Да вы не обижайтесь! – с улыбкой сказала я. – Просто мы с сыном решили взять на учет свои расходы». И на моих глазах случилось чудо: лицо девушки осветилось ответной улыбкой, которую даже и подозревать в ней было нельзя. «А, ну да, да, конечно! – сказала она. – Всё так дорого и каждый день дорожает!» И она с какой-то даже радостью нажала клавиши, и аппарат, весело зажужжав, выдал чеки.

Самое интересное во всей этой истории с контролем бюджета – то, что на этом инциденте он и закончился.

Гвоздички

Ну, тогда уж и третью историю такого рода.

Я шла в храм на Казанскую. И мне почему-то очень захотелось купить Ей цветы. Непременно голубые или синие. Обычно в это время сидят во множестве продавцы цветов, зелени, ягод.... Однако сегодня там сидела только одна старушка. Но у нее, я издалека увидела, были синие цветы! Колокольчики и еще какие-то, на прямом стебле, усеивавшие его сверху донизу.

Колокольчики были уже немного увядшие, а те, другие, сидели ровно и прямо. Беря их и протягивая деньги, я сказала: «Это я в храм... Сегодня – Казанская. Мне как раз и нужен Богородичный цвет, синий». Она посмотрела на меня с каким-то неясным вопросом, но ничего не сказала. Мы поблагодарили друг друга, и я пошла.

Я уже поднялась по ступеням и почти подошла ко входу в метро, как вдруг услышала сзади: «Подождите, подождите!..» Почему-то сразу подумалось, что это – мне... Обернулась – и увидела свою цветочницу, грузно переваливаясь с ноги на ногу, бежавшую ко мне. «Вот! – с трудом переводя дыхание, сказала она. – Возьмите Ей и от меня эти гвоздички!..»

«Я тоже так хочу!»

Не знаю, почему – по маловерию, конечно же, скорее всего, – я как-то осторожно, из опасения впасть во что-то вроде «магизма», отношусь ко всяческим «прикладываниям». А вернее сказать – относилась. До тех пор, пока, будучи в мае в вотчине Батюшки Серафима, не приехала на прощанье в Дивеево. За три дня перед тем начались непролазные дожди, но для паломников их как бы и не было: в дождевиках, под зонтиками, шел и шел к святыням народ Божий.

Уже перед отъездом обратно в Знаменский скит зашла я в Троицкий собор, попрощаться с Батюшкой. Было редкое «окошко» меж служб и акафистов, и в соборе почти никого не было, кроме одной паломнической группы. И вот я заметила, что около витрин с подлинными вещами

Преподобного толпится народ. А подойдя поближе, увидела, что священник возлагает на голову или проводит по спине, куда покажут, ...каким-то орудием. Оказалось, это та самая мотыга, которой Батюшка начинал копать Святую Канавку на месте, указанном ему Пресвятой Богородицей. «Я тоже так хочу», – вдруг сказала я себе и послушно встала в очередь. И священник и по моей спине провел Батюшкиной мотыгой...

Потом я увидела, что около иконы «Умиление», пред которой молился Батюшка на камне, не то что очереди нет, но и вообще никого нет. И я пошла поклониться Матери Божьей и оставалась возле Нее столько, сколько душа вмещала. А отойдя, увидела в сторонке батюшку, который на секунду надевал на голову своим паломникам... тот самый знаменитый чугунок, в котором Батюшка Серафим изготавливал свои знаменитые сухарики и в котором их изготавливают и освящают и по сию пору. «Я тоже так хочу!..» – опять сказала я себе, уже не думая ни о каком магизме. И попросила этого приезжего батюшку, в виде исключения, допустить до святыни вместе с его группой и меня. На что он милостиво согласился...

(Теперь, правда, Матушка Игуменья наложила на подобную практику прещение. Ну, может, и правильно...)

Огоньки

Один очень хороший друг, почти сестра (да и без почти: сестра во Христе):

– Знаешь, в детстве, перед самой школой, у меня было такое время, что я очень любила ложиться спать. Вот лягу, полежу – и вдруг в темноте появляются огонечки. В углу под иконой Матери Божьей, Казанской, где моя железная кровать с занавесочкой стояла... Сначала их было три-пять, а потом они заполняли всю комнату, так что были только они, комнаты не было. Огоньки составляли узоры – цветы, какие-нибудь завитушки... Они были голубые, знаешь, как звездочки на ночном небе. И мерцали – как звездочки мерцают. Такой огонечек можно было даже взять: вытащишь руку из-под одеяла, подставишь – и он сядет на ладошку. Он теплый – не горячий, не обжигает, просто теплый.

– Это что-то вроде Благодатного огня было?

– Когда я впервые увидела трансляцию Схождения Благодатного огня, я сразу вспомнила те детские огоньки... Но это всё тогда было очень недолго. Когда пошла в школу, огоньков не стало. У меня отец был очень верующим, мама тоже, но отец – особенно, и, пока не пошла в школу (в шестидесятых), я даже не представляла, что в Бога можно не верить... А оказалось, что не только можно, но и нужно...

– А потом, взрослой, ты их когда-нибудь видела?

– Только один раз. На нашей коммунальной кухне. У меня уже была дочка. Только когда они с мамой ложились спать, и наша соседка тоже, я могла выйти на кухню помолиться. И вот как-то, когда все уже спали, я вышла на кухню и только начала молиться – появились огоньки... А когда вернулась в комнату, дочка сказала: «Мама, у тебя звездочки над головой!..» У кого-то – не помню, у кого, – я потом встретила такие слова: «Звезды падали со лба»... Значит, кто-то еще это ощущал?..

Я потом нашла эти слова у Вероники Долиной:

Ничего не помню, кроме.

Нет и не было покоя!

Нет и не было покоя!

Звёзды падали со лба.

– Няня, что это такое?

– Няня, что это такое?

– Детка, что ж это такое?

Это всё – твоя судьба.

11 августа 2012

Алтарница Тамара

Сегодня я была у себя в соборе, на Литургии, и среди прочих молитвенных нужд была у меня нужда помянуть ныне приснопамятную матушку Тамару, служившую у нас в храме... алтарницей. Когда я, при случае, о ней рассказываю, все удивляются: женщина? алтарница?.. Да, это было именно так. Почему это было так, я не знаю, Господь знает, и этого достаточно.

Когда я пришла в Троицкий собор, «я моложе и лучше, кажется, была» и потому бывала там очень часто, гораздо чаще, чем теперь. И, когда бы я ни пришла, всегда встречала там высокую, худенькую пожилую женщину со светлыми серыми глазами на иконописно строгом лице.

Она приходила в храм самая первая – и уходила самая последняя, позже даже свечниц, которые сидят за свечными ящиками до семи вечера. Уходила с пакетами – и приходила с пакетами же, где лежали выстиранные и выглаженные полотенчики, или покровцы, или облачения на аналои, срачицы на престол, или еще какое-нибудь храмовое облачение. В своей квартирке она только ночевала и спозаранку снова спешила в свой единственный настоящий Дом.

Я не могу сказать, что мы с ней были дружны. За те три года, что мы с ней почти дистанционно были знакомы, мы обменялись, быть может, десятком фраз. Но до сих пор помнятся те редкие случаи, когда она одаривала коротенькой улыбкой. Это было так, как иногда на затянутом облаками небе вдруг откроется синее окошко, брызнет оттуда солнышко – и опять сомкнутся облака...

Однажды я простыла и с неделю не была в храме. И вот как-то раз приснилась мне матушка Тамара. В своем черном рабочем халате, она просто стояла передо мной и смотрела на меня. Потом, ничего не сказав, растворилась. Я проснулась и почему-то сразу посмотрела на часы. Было ровно четыре ночи. Ночи со среды на четверг.

А в пятницу вечером мне позвонила одна наша прихожанка, Р., и сказала: «А у нас грустные новости... Матушка Тамара умерла...» (Р. очень ее любила и была с ней поближе многих из нас.) «Когда?!» – чуть не вскричала я, мгновенно вспомнив свой сон. «В ночь со среды на четверг...»

Оказывается, наша матушка Тамара лежала последние дни в больнице: было у нее белокровие... Но я знать об этом не знала, если бы знала – как-то думала бы о ней, молилась бы, быть может. Но в те дни, когда меня не было в храме и я сама болела, я о ней не вспоминала, так что, с точки зрения формальной логики, с моей стороны это ночное явление ничем не было индуцировано. Но если смотреть на него сквозь призму накопленных Церковью знаний о посмертии, оно находится в полном соответствии с представлением о том, что душа, расставшаяся с телом, посещает те места и тех людей, которых оставила на земле. И если среди этих людей ее посещения была удостоена и я, то, думаю, именно как одна из прихожанок ее Дома (а другого дома, повторюсь, у нее, можно сказать, не было), которых она в ту ночь напоследок обходила.

Было это 21 октября 2004 года, уже семь лет назад. И сейчас я решила об этом рассказать, чтобы кто-нибудь еще, кроме тех из клира, кто в те годы служил, и отца Сергия, нашего диакона, на ектеньях и на панихидах неизменно поминающего приснопамятную Тамару, да тех немногочисленных прихожан, которые ее еще застали, о ней помолился.

Матушка Тамара считала себя великой грешницей. И, если мы допустим, что это и в самом деле было так, то порадуемся тому, что долготерпеливый и многомилостивый наш Господь поставил ее как раз на то место, где ей удобнее всего было свои грехи искупить...

Вера

В тот праздничный день (на Крещение Господне) я пришла в храм рано и, поклонившись иконам и поставив свечи, села на свое обычное в последнее время место – скамейку у входа в придел св. Иоанна Воина. И через какое-то время увидела с трудом идущую на больных ногах к этой же скамье Веру Александровну, бывшую нашу свечницу, в сопровождении сестры, Лидии Александровны, тоже служившей у нас в Соборе, и тоже свечницей. Теперь же они, по немощам телесным, бывают в храме лишь по большим праздникам. Знакомы мы, что называется, «шапочно», но я всегда рада видеть этих приветливых и доброжелательных людей.

...Умостившись на скамейке и отдышавшись немного, Вера Александровна, как всегда, приветливо поздоровалась со мной, а потом сказала: «Я уже отцу Г. успела исповедаться, он ведь всегда рано приходит, и вот я его спросила, надо ли мне молиться о своих крестниках и как, я ведь даже имен их не знаю...» И, прочитав на моем лице безмолвный вопрос, пояснила: «Нет, я, конечно, о своих-то крестниках молюсь, но я про других "крестников" – партийцев, которых когда-то тайно крестила. И отец Г. мне сказал: "Молитесь, матушка, так: Помяни, Господи, всех, кому я помогла креститься, имена их Ты веши». «Столько всего было, если рассказать-то!..» – добавила она, помолчав.

И я ей сказала: «Вера Александровна, знаете что: давайте мы с вами встретимся, и вы мне, что сможете, расскажете! Вот мы с вами скоро уйдем, и всё это уйдет вместе с нами... Вы бы не дали мне свой телефон?» – «Да вы знаете, не хочется как-то все это ворошить... Такая жизнь была тяжелая!..»

Уже начались часы, исповедь, и, извинившись, я отошла... Пока меня не было, на мое место села пожилая женщина с костылями, и я перебралась в другой угол храма. А уже после Причастия, отходя от столика с запивкой, я снова увидела Веру Александровну и по ее взгляду поняла, что она что-то хочет мне сказать. И, когда я подошла, она сказала: «Знаете что, запишите мой телефон! Я сразу-то как-то растерялась... Запишите!» И я записала. Взяла благословение на это «интервью» у отца Константина, он с радостью его дал. Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается: дела, нездоровье, душевные нестроения... И вот, наконец, на днях я к ней выбралась.

Мне одна добрая душа подарила когда-то диктофон, и я, не надеясь на свою память, хотела было его взять, но потом подумала, что диктофон может лишит рассказ естественности, загипнотизировать рассказчика, держать же его тайно в сумке тоже не хотелось – и я просто взяла с собой ручку и тетрадь, где и записала, конспективно, намётками, то, что рассказала мне христианка с таким многозначным именем: Вера... И, когда стала свои намётки «разворачивать», оказалось, что я всё прекрасно помню: рассказ этот, как всё безыскусно подлинное, легко лег на душу. За день до того, к тому же, расчищенную исповедью.

...Я заводской девчонкой была, когда мой будущий муж начал за мной ухаживать. Приходил меня встречать к проходной... Но у меня душа к нему не лежала. И он маму просил меня уговорить. А она сказала: «Без венца не отдам!» А он был военный – и не испугался венчания! Пришлось согласиться...

Венчались мы в Никольском соборе, при закрытых дверях, без хора, без дьякона. Кроме нас, были только бабушка да мама. Да еще схимница Мария, она при храме жила, ночевала под прилавком у свечниц... Венчал отец Александр, фамилию, правда, не помню.

Было это в пятьдесят втором. Вскоре мужа отправили служить в Германию, а я осталась здесь: в то время еще был жив Сталин, а при нем жен военнослужащих за границу не выпускали. Но в 54-м пришлось ехать. Так тяжело мне было с мужем жить, что через год я пришла к командиру полка, просить разрешения уехать. И вы знаете, что он сказал? Я до сих пор этому поражаюсь:

командир полка, в то время... «Венчанная? Так и живи, и неси свой крест!» (Скажу сразу: у меня все-все венчаные – и дети, и племянница, и внуки!)

И я несла свой крест. Мне туда, в Германию, схимница Мария прислала крест и иконочку Николая Чудотворца. Так со Святителем Николаем мы потом везде и проездили. Сейчас, подождите, я вам ее покажу...

И Вера Александровна принесла мне из другой комнаты, где большой семейный иконостас (она живет вместе с женой сына (Царство ему Небесное!), тоже Верой, работающей у нас в Соборе, и с внучкой), эту иконочку – эмалевую, в тяжеленькой латунной (?) оправе, с удивительной надписью изящным курсивом на обороте: «Буди милость Божия всегда на ней».

...Я этой схимнице, когда венчались, ничего не говорила, а ей, видно, что-то открылось, потому что, как мне потом передали, она сказала: «Она будет нести тяжелый крест!»

Потом мужа демобилизовали. Во время войны он бежал из немецкого плена босиком по снегу, и вот спустя годы у него стали отмирать пальцы на ногах, и одну ногу пришлось отнять. Его демобилизовали, и мы вернулись в Ленинград. Потом ему и вторую ногу отняли, до колена...

Мама моя работала в Никольском соборе: продавала свечи и шила облачения: поручи, епитрахили – для бедных батюшек. Я от нее тоже этому научилась. И в 78-м году одна моя подруга взяла меня в Лавру, шить облачения. А потом серьезно заболела одна свечница, и меня взяли на ее место.

Работать было тяжело: свечница, рядом с которой меня поставили, постоянно ко мне придиралась, жаловалась на меня. А там, над входом в помещение, куда мы сдавали деньги, был очень красивый образ Спасителя. И вот как-то раз я вижу сон: подхожу я к этой двери, и сверху ко мне спускается Господь. И я Ему говорю: «Господи, я всю жизнь с Тобой! Никогда никому не делала подлости. Так почему же мне такое?» И Он спускается и кладет мне руку на голову: «Оставайся такой, какая есть». Так с Его благословением я проработала в Лавре двадцать лет.

...Я там на требах работала. И многие ко мне подходили и потихоньку просили с батюшкой договориться, чтобы покрестил. Тайно, конечно, при закрытых дверях: всё больше партийцы подходили. Спрашиваю: «А почему вы ко мне-то с этим?» – «А у вас лицо доброе!»

Подходит как-то раз мужчина со скорбным таким лицом. Оказывается, погиб сын, студент. Ехал куда-то с ребятами, и его электричка сбила. Заочно его отпели. И вот снится он отцу и говорит: «Папа, как ты от меня далеко! И какой-то ты черный...» Мальчик-то, оказывается, был крещен где-то на Украине, а папа – некрещеный, вот сын и видел его черным. «Вам надо креститься», – говорю ему. «Не могу...» – «Вы ХОТИТЕ креститься?» – «Очень!» – «Сейчас пойду, договорюсь с батюшкой».

...А однажды подходит ко мне молодая беременная женщина и говорит, что приехала откуда-то с Дальнего Востока специально чтобы окреститься! Такое время было... Я иду к батюшке, отцу А. Он идет к этой женщине, а через минуту возвращается ко мне и говорит: «Не буду я ее крестить! Молитв не знает, ничего не знает! Не буду». И ушел в алтарь. А откуда ей и знать? Молитвословов-то почти не было и у нас, а уж тем более там, где она жила. О Евангелии нечего и говорить. А тогда еще владыка Мелитон, архиепископ, жив был. Уже не служил, совсем старенький, но каждый день, рано утром, приходил пешочком в собор, он неподалеку, в Духовной Академии, жил. Я – к нему: «Владыко, помогите, отец А. не хочет беременную женщину крестить, говорит – ничего о вере не знает. А у меня душа не позволяет ее ни с чем отправить! А если с ними что случится?..» «Пойду, поговорю», – говорит владыка и уходит в алтарь. Вскоре выходит отец А.: «Ну что, пожаловалась?» «Да я же по-матерински, – говорю, – не могу их так вот отпустить!» – «Ну, сейчас мы их по-матерински и окрестим!»

...Но особенно мне запомнился такой Тимофей. Пришел однажды мужчина: «Хочу подать

жертву большую. И с батюшкой поговорить. Покаяться хочу». Кем он был, я не знаю, но он очень много помогал храму, очень! Приходил и говорил: «Веруня, покаяться надо! Позови батюшку». Причащался ли, не знаю, но один раз даже соборовался. А потом как-то прибегает и говорит: «Веруня, я умираю!» – «Да что с вами, Тимофей? Вы же человек богатый, найдите хорошего врача!» Но больше я его не видела. А потом пришла его сестра и сказала, что Тимофей умер, но хоронить его не на что. Так и не знаю, как это могло случиться – чтобы денег нисколько не осталось. Заочно отпели, предали земле. Вспоминаю его часто и поминаю, хотя почему – и сама не знаю...

...Однажды подошла ко мне монахиня, мы с ней разговорились, и я хотела подарить ей лампадного масла, но она ответила, что лучше послать его ее старцу. Так я и сделала. И потом... этот старец благословил меня уйти из Лавры. Не раз я хотела уйти, но батюшки не благословляли. Отец Иоанн Преображенский (знаете, у него сын, Николай, протоиереем в Казанском соборе?) не благословлял, и отец Иоанн Варламов. Ну, а потом у меня ноги стали сильно болеть: двадцать лет отстоять на сквозняках... Тут меня и благословил тот старец. И я перешла в другой Свято-Троицкий собор, Измайловский. И там проработала еще почти десять лет. Ну, а теперь вот ноги не ходят...

Но столько и светлого вспоминается! Я ведь еще с 85-го каждый год обязательно соборуюсь. Это теперь все совершается открыто, соборуются сразу двести-триста человек. А тогда, в 80-х, мы соборовались тайно. Это были частные соборования. Собирались у кого-нибудь на квартире, вместе с батюшкой, и соборовались. Молились на коленях... Всё было очень глубоко!.. А потом – была трапеза. Заранее готовили праздничный постный стол: борщи, пироги, кто что мог, ну, и, конечно, на стол ставилась бутылочка кагора... И это всё был такой праздник! Мы так его и называли: Первая Пасха!

Ну, а теперь пойдете чайку попьем, печение мое попробуете! Я, когда муж на погранзаставе служил, в горах, все время такие пирожки пекла. Солдатиков подкармливала. Придут с дозора, холодные, голодные, – а я им сразу пирожков! Горячих!

3 марта 2013

От бабы Мани

Разбирая недавно свои архивы, я наткнулась на тоненькую школьную тетрадку образца 50-х годов прошлого века, пожелтевшую и выцветшую, – теперь уже, можно сказать, не просто старую, а старинную. На обложке изображен Николай Александрович Добролюбов (1836–1861), а под его портретом – цитата: «В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро сколько возможно более и сколько возможно лучше». Как бы ни относиться сегодня к плеяде революционных демократов, сама по себе мысль хорошая и верная. Но речь сегодня – не о Добролюбове, а о Прп. Сергии Радонежском, «егоже память ныне совершаем», бабе Мане, рабе Божиим Геннадии и нашем священнодиаконом отце Сергии, ныне тезоименитом.

Тетрадоочка эта, исписанная почерком уже «ушедшей природы», так хорошо знакомым всем, у кого сохранились письма и записки бабушек, хранит на себе сгиб, красноречиво говорящий о том, что ее складывали вдоль пополам и клали в карман либо небольшую сумочку, идя в храм. Как ее владелице удалось списать все эти тропари и кондаки, я не знаю: ведь в те времена литературу эту найти было если не невозможно, то трудно. Может, у батюшки какого-нибудь попросила, или чтеца... А, быть может, из молитвословов, сохранившихся от предшествующих поколений сродников. (Обратите внимание: при всех ее мелких описках, она написала «Пренесение мощей...». Да, это было для нее органично, и тут она не ошиблась.) Звали эту владелицу бабой Маней. В ее времена, как можно судить и по литературе, эта

уменьшительная форма имени Мария была очень распространена, и не только в простонародной среде, но и в интеллигентной: баба Маня происходила из профессорской семьи. Я ее никогда не видела, получила же тетрадку эту вместе со старинным сборником акафистов и служб Преподобному Сергию Радонежскому от З., бывшей моей сослуживицы, бывшей жены внука бабы Мани Сергея. «Они всё равно потом всё это выбросят», – сказала она З. И та, сама уже будучи в преклонных годах, потом передала все это мне, по тем же самым соображениям.

Сборник этот, напечатанный на толстой, грубой и шершавой бумаге с голубоватым отливом крупным и неровным (так и видишь, как брал все эти буквы из кассы наборщик и выставлял их в ряд...) славянским шрифтом, со всеми положенными титлами, надписаниями и т.д., в здравице в конце его содержал имя Императора Александра Павловича как ныне здравствующего, то есть был напечатан никак не позднее 1825 года. Такой же печати и того же времени Псалтирь в деревянном переплете с застежками, обтянутом кожей, мне подарили когда-то... Но, в отличие от моей Псалтири, эта книга была почти вся рассыпана, лишь некоторые ее части оставались сброшюрованными, а многие страницы состояли из отдельных фрагментов.

Как-то раз после службы я была в гостях у Елены Б., нашей прихожанки, и там я рассказала об этой книге. «Давайте, я ее переплету», – сказал вдруг Геннадий, муж Елены. Человек он был не церковный (что составляло предмет печали и боли его жены), но очень хороший, надежный и, что называется, с золотыми руками, и я со спокойной душой книгу эту ему отдала. И где-то через месяц получила красивый томик в светло-серой коленкоровой обложке, где все листики были расставлены на свои места и аккуратно наклеены на бумажную основу...

Вскоре Геннадий умер, и теперь книга Преподобному Сергию наполнилась для меня каким-то новым содержанием... Беря ее в руки для чтения акафиста, я пыталась представить, что думал этот «неверующий» человек, разбирая и склеивая эти ветхие листки... Но что мы можем об этом знать? Как и о том, кто верующий, а кто нет...

На ближайшую память святого я подарила книгу нашему священнодиакону, отцу Сергию, написав на ней: «*На молитвенное воспоминание о рабе Божием Геннадии*». Сегодня наш отец Сергей тоже именинник, многая и благая лета этому доброму, светлому и радостному человеку. «Горнисту небесной рати».

P.S. Только сейчас я поняла, что надо было написать еще: «...и о рабе Божьей Марии». О бабе Мане... Ну, ничего, даст Бог, допишу.

8 октября 2011

Три Марии

Запечная бабушка и Тамилла-Ксения

Я уже не однажды вспоминала здесь об Антонине, друге своей юности, а затем уже и молодости. В этот второй период в моей жизни появился еще один друг, Тамилла. Человек, тоже, только по-иному, незаурядный.

Отец ее, крупный партийный деятель Азербайджана, в 37-м был расстрелян, а мать с двумя детьми сослана в Казахстан, в голую степь, на самостоятельное выживание. Выжили. И по смерти Сталина, в середине 50-х, они были реабилитированы. Дочери приехали в Ленинград учиться, мать, врач от Бога, вернулась в Азербайджан.

Т. поступила в Университет, на геофак, там встретила своего будущего мужа. Муж привел ее в свою сорокаметровую комнату в коммуналке на Васильевском, где, кроме него, жили его мать

и бабушка, тоже (если кто помнит мою запись «От бабы Мани») баба Маня. Так что на тот момент, когда мы с Т. познакомились (мы с ней пришли в Издательство в августе 60-го, с разницей в три дня), у нее уже был годовалый сын, и, таким образом, в этой сорокаметровой комнате теперь жили три поколения.

В углу справа от входа была старинная (как и всё в этой комнате и в этой квартире) печка, и за этой печкой была устроена выгородка для бабы Мани. Когда Т. заходила к ней в гости, за печку, баба Маня пускалась в воспоминания. Особенно она любила вспоминать, как танцевала когда-то на балу с губернатором... Нигде не бывая, не выходя на улицу, она оставалась в категориях Церковного календаря, и азербайджанка Тамилла была в курсе его событий и, как могла, просвещала и нас, нехристей.

Но не очень-то мы просвещались, по верхам все было, да и у самой Т. тоже. Однако посеянные запечной бабушкой семена все же взошли: под конец жизни она крестилась, приняв имя Ксения. Недалеко от часовни своей святой покровительницы она и лежит.

Из записок 2009-го:

«На понедельник 22 июня, день начала Великой Отечественной войны (почему-то все обследования и операции, связанные с моей «злой» болезнью, выпадают не на рядовые дни, а, например, на праздник Казанской иконы Божией Матери, Архангела Михаила, Николая Чудотворца и т.д.), еще очень загодя было назначено очередное МРТ... Ехать надо было на Васильевский, в Покровскую больницу, бывшую больницу Ленина. Еще заранее я решила, что после больницы пройду на Смоленское кладбище, к бабушке Агриппине и Тамилле-Ксении, в этом сезоне я еще у них не была.

Едва выйдя из троллейбуса на Детской улице, я попала в плен прошлого: сюда, в школу на Детской, мы с сестрой моей Валентиной бегали на новогодние праздники, и среди них ярче всего запомнился спектакль по шварцевским «Двенадцати месяцам» (а как раз в эти дни я читала «Верую!» Леонида Пантелеева, где о Евгении Шварце говорилось в совсем неожиданном ключе...) По пути в Приемный покой довелось миновать морг, где 11 (уже!..) лет назад отпевали мою Тамиллу, непривычно строгую из-за бумажного венчика на лбу. После больницы был долгий-долгий путь на Смоленское...

Уже дома я взяла в руки книжечку Уильяма Блейка, в переводе Самуила Маршака, о котором только что читала у Пантелеева, и, открыв книгу, увидела на форзаце забытую за давностью лет надпись: «Другу от друга». Книгу эту еще в 1967 году подарила мне Тамилла, и через столько лет я открыла ее именно сегодня...»

Моя «карьер», стремительно взлетев в самом начале издательской жизни, сразу же уперлась в потолок, и не только по причине упорной беспартийности, но и в силу «непрофильности» моего образования. Образование же Т., выпускницы геофака ЛГУ, было профильным, благодаря чему и, впридачу, светлому уму, она росла и росла и с годами доросла до главного редактора. Ее любили и тянулись к ней душой: она была великая «утешительница», и кабинет ее нередко превращался в исповедальню. Бывала на «исповедях» у этой азербайджанки с христианской душой и я и, выходя от нее с размягченной и просветленной душой, слышала вслед: «Не тоскуй!..»

А через много-много лет, отходя от исповеди уже отцу К., с такой же размягченной и просветленной душой, нередко слышала вслед так похожее: «Не грустите!..»

Петербурженка

Было это лет пять назад, в день равноап. Марии Магдалины. Я уже исповедалась и, отходя в сторону, видела, как некая дама в черном подвела к исповеди старушку с палочкой, о которой

даже при самом беглом взгляде было ясно, что это — петербурженка. И была она такая крохотная, что отец К., наклонившийся к ней с ласковым, умиленным лицом, показался рядом с ней просто великаном...

Женщина, ее сопровождавшая, вскоре отлучилась по каким-то своим делам, и, когда вынесли Чашу, она еще не вернулась. Я подошла к старушке и сказала: «Давайте, я вас провожу». Благодарно на меня взглянув, она подала мне свою совсем детскую, прохладную ручку, и так мы подошли к Чаше. «Имя?..» — спросил отец К. «Мария!..» — был ответ. И я почти была уверена, что в памяти ее пронеслась при этом длинная череда воспоминаний о бывших когда-то, в незапамятные времена, быть может, даже в этом же соборе, Причастиях Святых Христовых Таин... «С Причастием!» — сказала я, подводя ее к скамейке от столика с теплотой. «Благодарю вас!» — сказала в ответ Мария. И в это время как раз вернулась ее сопровождающая.

Чекистка

Как-то раз этой осенью по одному делу мы встречались с отцом Константином в Лавре. «Батюшка, — сказала я, когда мы вышли из Свято-Троицкого собора, — помните, я вам говорила, что у меня здесь, на коммунистической площадке, тетушка лежит? Совсем рядом... Не зайдете к ней?..»

Он кивнул, и мы пошли по архиерейской дорожке, ведущей от собора в Митрополичий корпус...

Минуты через две мы стояли у скромного надгробья, с надписью на нем: «Константинова Мария Алексеевна. Член РКП(б) с 1918 года». (Фамилия по мужу, в девичестве она была Петрова, как и моя мама, ее сестра.) Это было то самое важное, необходимое и достаточное, что считали нужным сообщить о человеке в те времена... В нескольких словах я рассказала то немногое, что знала о тете Марии от двоюродной сестры Софии, ее дочери: что она была чекисткой, а потом работала по ведомству Крупской, то есть социальному, и, как говорят, очень многим помогала... Умерла от опухоли головного мозга в 30 с небольшим лет.

«Давайте помолимся!..» — помолчав, вдруг сказал отец Константин. И начал служить литию... Впервые за 80 лет, прошедших с тех пор, как она сюда легла, над работой Божьей Марией молился священник... Там, где дозволено мирянину, подпевала и я.

И один только Господь знает, каким эхом отдавались эти молитвы в бессмертных душах лежащих рядом ее «товарищей по борьбе»...

Когда мы с отцом Константином уже отошли от тетушкиной могилки, он спросил: «А как вы вообще ее нашли?» И я коротко рассказала, как это было, а потом записала, пока помнила...

...Когда я крестилась и стала подавать первые поминальные записки, я с ужасом поняла, что не знаю, как звали мою бабушку, маму мамы. Спросить было уже не у кого. Оставалась одна надежда: может, Софа, моя двоюродная сестра, которую военным ветром занесло сначала в Ташкент, а оттуда в Харьков, помнит? И я к ней поехала... (Об этом – в рассказе [Андрей-семинарист](#).)

О чем только не переговорили две сестры, не видевшиеся тридцать лет!.. А в последний вечер сестра сказала: «Знаешь, я очень прошу тебя — найди мамину могилку!.. Я-то уж никогда не выберусь в Ленинград... Я у нее в последний раз была лет тридцать назад, в последний свой приезд к вам...» И она рассказала, что могилка — на коммунистической площадке в Лавре, недалеко от Троицкого собора, где-то вправо от дорожки. Я обещала.

Разговор этот был под Новый год, зимой искать не было смысла, и я поехала в Лавру, когда стоял снег. Бродила меж могил, наверное, с час — и уехала ни с чем.

И вот уже летом, вернувшись как-то с Литургии, я прилегла отдохнуть, под какую-то передачу радио «Мария» (я тогда еще продолжала слушать эту католическую радиостанцию, во многом способствовавшую моему приходу к вере, и особенно благодаря участию в ней православных священников), — и вдруг, уже почти сквозь сон, услышала: «Сегодня вспоминаются святые София и Мария...»

Я сейчас, прежде чем писать обо всем об этом, стала искать в церковном календаре тот день, в который сходятся вместе эти два имени — моей тети Марии и моей сестры Софии, но... не нашла. Возможно, они в этом сочетании есть в католическом календаре, но туда я уж не заходила. И вот только сейчас я подумала, что эти слова могли мне и присниться, в тонком сне.

...Как бы то ни было, откуда бы эти слова ни исходили, они мгновенно развеяли дремоту, и я сразу поняла, что должна ехать в Лавру. Немедленно, сейчас. И тут же поехала. А, приехав, так же, как и в прошлый раз, ходила меж могил... и не находила. Молилась — но не находила. Начал накрапывать дождик, потемнело. И я уж совсем собралась домой, как вдруг, наклонившись к очередному надгробию, увидела: «...Алексеевна». И, поспешно переведя взгляд влево, прочитала: «Мария». Ну, а уж затем и «Константинова»...

Уже вовсю шел дождь, но я побежала к собору, возле которого по дороге сюда заметила какие-то цветы, купила, даже уж и не помню, что, всё повторяя продавщице: «Я тетушку свою нашла, представляете?!».

Я вернулась к тете Марии, нашла какую-то палку, взрыхлила ею землю и посадила первый за многие, многие годы цветок. В дождь сажать особенно хорошо.

11 декабря 2011

*Андрей-семинарист**

«И самым в этой новой жизни поразительным, — писала я когда-то, в свои «раннехристианские времена», — было то, что вдруг наполнились абсолютно новым содержанием кровные узы. Прадеды, прабабушки и бабушки, мать и отец, тетки и дядья, братья и сестры, отшедшие из мира сего, заполнили вдруг мои мысли...»

Помню, с каким радостным чувством села я писать первые в своей жизни поминальные записки... Но, дойдя до бабушки с маминой стороны, с ужасом поняла, что не знаю, как ее зовут... Мамину маму. По мужской линии обоих родов естественным порядком, благодаря отчествам моих родителей, имена дедов были известны. Знала я и имя бабушки по отцу. А вот как звали бабушку по матери — узнать было уже не у кого...

Мама-мама, знала бы ты, как теперь, оказавшись, через Святое Крещение, лицом к лицу с тем фактом, что «у Бога все живы», как же теперь я жалела о том, что пропускала мимо ушей, досадливо говоря про себя: «Опять...», твои рассказы... Об отце-столяре (деде Алексее), о братьях и сестрах, коих, вместе с мамой, было семеро, о том, как жилось «при царе-косаре», о замечательной учительнице, с которой она, вместе с другими детьми из бедных семей, провела одно лето в Озерках (в тех самых Озерках, где я живу сейчас...). Так и стоит перед глазами ее лицо, озаренное каким-то далеким теплым отсветом. Только теперь, «зрячими» глазами, я вижу его, этот отсвет... А тогда — просто терпеливо слушала. Но вот что странно — о ее маме, моей неведомой бабушке, память не сохранила ничего. Ни слова... Ну ладно, что уж теперь поделаешь! — но хотя бы уж как ее звали? Как же мне ее поминать-то, как просить о ней Бога?..

* Комментарий — здесь: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/andrej-seminarist.2047/>

Я вспомнила о папке с письмами родителей, которые перепечатала когда-то на машинке, еще сама не зная, зачем, и пересмотрела их все, в надежде, что найду хоть какое-то упоминание о бабушке. Но нет, нигде ни слова. По всей видимости, умерла она рано и в маминой взрослой жизни ее уже не было...

Оставалась единственная надежда на Софию, дочку самой старшей из маминых сестер, которую все уважительно звали «Мария» – и никак иначе (о ней см. «Три Марии», глава «Чекистка»). Софию военным ветром из блокадного Ленинграда занесло сначала в Ташкент, а оттуда в Харьков, где она и осела. Вдруг она помнит? Ведь она на 14 лет меня старше, и я очень надеялась на то, что она еще застала бабушку в живых и помнит ее живой памятью.

Я перерыла все свои залежи в поисках старенькой записной книжки, где, я отчетливо это помнила, значился телефон сестры. И нашла ее! И сразу стала звонить, без всякой, впрочем, надежды на успех: столько лет прошло с тех пор, как мы виделись и общались в последний раз, и, чтобы, когда радикальнейшим образом изменилась вся наша жизнь и даже Украина за это время стала «нэзалэжной», не изменился какой-то телефон?!.. И вдруг – услышала голос сестры: «Кто это?» А после объяснений: «Людка, это ты?!» (Так у нашей родни когда-то повелось: Людка, Софка, а у старших – Дуська, Лизка, Зотька.) «Слушай, Софка, – сходу спросила я, – ты не помнишь, как звали нашу бабушку?» – «Не помню... Знаешь, не помню...». «Тогда, – сказала я, – давай я к тебе приеду, и мы вместе постараемся вспомнить».

И я к ней поехала. Было это поздней осенью 1999-го, года «Великого перелома» – года, когда я приняла Святое Крещение и вошла в обновленную жизнь. (Я была тогда еще легка на подъем: всего-то шел 62-й год! С высоты нынешних моих лет – «всего».) Сказано – сделано. Сын мой эту поездку всячески одобрял (в нем явно пропал архивист). Взяла билет, какой был: плацкарта, место боковое, правда, нижнее. «Место последнее, около туалета. Будете брать?» – сказала кассир. «Да ничего, девятнадцать часов как-нибудь перетерплю, – сказала я, – давайте!»

Проведя меня сквозь длинный полутемный вагон, сын помог мне разместить вещи, мы попрощались, потом поделали друг другу уже через вагонное стекло ритуальные прощальные жесты – и поезд тронулся.

В вагоне было тихо, народ неспешно разбирался в полутьме с поклажей, и уже где-то звенели о стекло чайные ложечки...

Напротив меня сидел молодой, лет двадцати пяти, лысоватый худощавый человек. Какое-то время мы ехали молча, глядя на сиротские пейзажи, уже еле проступавшие сквозь угрюмую мглу за окном, и вдруг мой спутник сказал: «Вот, ждали снега на Покров, а его так и не было. Теперь, может, на Николу будет...» «Ну надо же!..» – подумала я и, помолчав, спросила: «Скажите, пожалуйста, а вы случайно не духовное лицо?» «Пока еще нет, – сказал он. – Я еще только учусь».

И пошел разговор. Он рассказал, что учится в Курской Духовной семинарии, на иконописном отделении. В Петербург приезжал за красками – у них таких нет, а у нас, в одной мастерской во дворе Лавры, есть какие-то особые краски, не помню уж, чем они особы, кажется, тем, что на меду и на яичных желтках. Потом он, как классический «человек с поезда», рассказал мне свою жизнь. Потом мы говорили о вере. О Спасении. Сошлись на том, что, «пока есть хоть один праведник...». В вагоне было тихо, только время от времени люди проходили в туалет, возле которого были наши места, и мы говорили тихо-тихо, но, хотя не слышать наши голоса все-таки было невозможно, никто не проронил ни слова, не сказал: «Может, хватит? Люди спят!»

Уже почти светало, когда мы разошлись по своим местам. Сколько-то я поспала, а когда встала и украдкой взглянула наверх, где спал мой ночной знакомец, поразились – он лежал навтыжку,

и я тогда подумала, что, наверное, он будет монахом...

Потом он легко, по-военному, спрыгнул со своей полки, умылся, принес два стакана чаю, и мы еще немного поговорили. Немного, потому что скоро был Курск. Но он успел показать мне свой тревник, и я впервые увидела вблизи эту священную книжицу, с характерными красными буквами в конце страницы, упреждающими начальными словами следующей (мне потом мой батюшка объяснил, что эти буквы выделяются для облегчения чтения – чтобы чтецу не надо было делать пауз при переходе на новую страницу).

На подъезде к Курску он стал доставать с третьей полки свой багаж – какие-то неподъемные ящики, очевидно, с красками. «Как же вы всё это потащите?» – спросила я. «А, ничего, не привыкать!» И вдруг, уже развернувшись к выходу, сказал: «Кто бы обо мне молился!..» «А как вас зовут?» – спросила я. «Андрей...» – «Ну вот, Андрей, считайте, что одна молитвенница у вас уже есть!»

И он ушел, со своими ящиками. Человек с поезда... Которого Господь, с известными только Ему целями, посадил напротив немолодой уже неофитки... Ушел, оставив по себе в моем синодике одну строку: «Андрей-семинарист». Так я о нем и молюсь. Он, конечно, давно уже никакой не семинарист, а, вполне возможно, даже и не Андрей, а, может, о. Варфоломей или о. Мефодий, потому что я почти уверена, что он идет по монашеской стезе. Но я об этом ничего не узнаю, и у меня он так и пребудет Андреем-семинаристом.

...А когда я приехала к сестре, мы тоже говорили, говорили и говорили... И она плакала по своему родному городу, который вряд ли теперь уже, по немощи своей, увидит: «Я ведь готова без конца смотреть про улицы разбитых фонарей и про бандитский Петербург, только чтобы хоть мельком увидеть Неву, набережные, мосты!..» И мы вспомнили очень, очень многое... но только не то, зачем я ехала так далеко. Долгое эхо пионерского детства...

Уже летом я разыскала по просьбе Софии могилку ее мамы, а моей тети Марии, на коммунистической площадке, что напротив Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры, убрала ее, посадила цветы, стала и за эту свою тетю, как за всех сродников, подавать прошения Богу, а они ей как бывшей чекистке особенно нужны... А, поминая нашу бабушку, келейно и в храме, говорю: «Имя ее, Господи, Ты веши...», но записочку за нее подать не могу. Вечный мне укор...

Правда, я извлекла из этого урок и успела расспросить и записать то, что рассказала мне о корнях с отцовской стороны наша тетя Клава («Дед Никифор»).

10 июня 2015

*Дед Никифор**

Когда дед мой Никифор умер, мне было восемь месяцев. Он, может быть, и успел поддержать меня на руках, но я его помнить не могу и знаю лишь по семейной фотографии, где по бокам от него и бабушки Агриппины сидят и стоят восемь их детей. Сейчас в живых из них из всех осталась только маленькая девочка, сидящая на руках у матери, да и той уже далеко за 80... Спокойное, задумчивое лицо этого совсем не старого еще человека, сидящего, как патриарх, в окружении своих взрослых уже, как на подбор, красивых детей, притягивало мое пристальное внимание, особенно после того, как я узнала, что был в жизни моего деда эпизод, когда он... «заменял попа». К тому времени, когда я очнулась от родового беспомыслия, еще жива была тетушка моя Клавдия

* Фотографии и комментарии – здесь: <https://azbyka.ru/forum/xf-a-blog-entry/ded-nikifor.820/>

Никифоровна, «Нестор» нашего рода с отцовской стороны. И что-то я записала с ее слов, что-то записала для меня она сама...

Родился дед в 1875 году, в селе Покровские Селищи, Спасского уезда Пензенской волости Тамбовской губернии. Года два назад я предприняла целое интернет-исследование и узнала, среди прочего, что ныне Спасский уезд — Zubovo-Полянский район Мордовии, что «в 1996 году на месте обычного прихода, в селе Покровские Селищи (! — Л.Н.) Zubovo-Полянского района, на расстоянии 186 км от г. Саранска, возник Свято-Варсонофиевский женский монастырь». Я зашла на сайт этого монастыря. И вот что там прочитала:

«Селищенские мокшане, по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1740-х годах, уже вскоре проявили себя как хорошие православные христиане, построив себе сразу два деревянных храма — холодный Покровский и теплый Никольский (1756 год). От летнего Покровского храма пошло второе, церковное, название села — Покровские Селищи. К началу XIX века образовался большой Покрово-Селищенский приход, насчитывавший более 5500 человек. Постепенно он разделился на два прихода: в селе Покровские Селищи — теплый Никольский храм, а в соседнем селе Новые Выселки (Бозуновка), насчитывавшем 3900 жителей, осталась деревянная Покровская церковь с Никольским приделом. В 1854 году в с. Новые Выселки на собранные жителями села пожертвования был возведен грандиозный по размерам и облику каменный храм с тремя престолами: Покрова Пресвятой Богородицы и придельными в честь святого равноапостольного великого князя Владимира и святой великомученицы Ирины. Храм был спроектирован по подобию нового Спасо-Преображенского собора Серафимо-Дивеевского монастыря. В 1903 году, по милости Божией, селищенские и бозуновские мужики вошли в состав охраны царского поезда по пути следования высочайших особ с железнодорожной станции до Сарова в канун канонизации старца Серафима. С тех пор иконы преподобного [Серафима Саровского](#) особо почитаются местными прихожанами».

Этот факт многое может сказать о том, откуда «пошел есть» мой дед Никифор, но его среди тех мужиков не было: он в это время уже отбывал солдатскую службу в Петербурге. В солдатах Никифора, рослого красавца, определили к генералу Крюкову денщиком. В генеральском доме его женили на молоденькой горничной Агриппине, от греха: ею слишком уж интересовался Крюков-младший. Родом она была из деревни Янголахта Зарубкинской волости Белозерского уезда Новгородской губернии (теперь деревня эта относится к Вологодской области). К 1903 году у них уже была дочь Лида, потом появился на свет Божий Федя, за ним — Шура (мой отец), и т.д., и т.д.: всего восьмеро.

После солдатчины Никифор какое-то время был городовым, стоял на посту на углу Невского и Большой Морской: на такие видные места ставили молодцов особого, гвардейского, разбора. От тех времен до меня чудом дошел костяной свисток... Потом была какая-то неясная история, связанная с «кровавым воскресеньем»: Никифор вроде бы взбунтовался и его из городских попросили. Пошел работать на завод «Севкабель», что в Гавани, там он жил тогда с семьей.

О том, что было дальше, повествует школьная тетрадка, куда тетя Клава записала по моей просьбе все, что помнила об отце. Записи эти сделаны в начале 90-х и еще несут на себе приметы того, советского, времени...

...Родилась я 24 июня 1912 года в городе Санкт-Петербурге, в семье рабочего завода «Севкабель». Семья моя была многочисленной. Жили мы на Васильевском острове, в Гавани. До революции я помню жизнь плохо, а с 1918 года помню ясно, в этот год мы уехали (из голодного Петрограда) в Сибирь, и «путешествие» это длилось более года, т.к. смогли доехать только до ст.

Верещагино, это недоезжая Пермь. Дальше шли бои с беляками, Урал был занят ими. К весне красные их прогнали, и мы поехали, но доехали только до Екатеринбурга, ныне Свердловска, потому что в пути мать, старшая сестра Лида и я заболели сыпняком. Нас в Свердловске положили в больницу, отцу и детям дали для жилья вагон, дети были малые, самому старшему 14 лет, а младшей, Оле, 9 месяцев. Трудно было отцу с пятью детьми. Как только он справлялся?

К лету мы все поправились, и путь был свободен. Мы поехали в Сибирь, к брату отца, дяде Мите, который проживал недалеко от Абакана, в деревне Кныши. Но, когда мы приехали, оказалось, что жить нам негде: у дяди Мити семья была большая, и у нас тоже. И стал отец искать место, где бы поселиться. В Петрограде мы жили у моря и очень хотели, чтобы отец подыскал место жилья у реки. И он нашел. Станица Бузуново стоит как раз на очень красивом месте, высоко над Енисеем. Посреди Енисея — остров в несколько кв. километров. Летом косят траву на сено, собирают ведрами в запас на зиму черемуху крупную, сладкую. Сено перевозят зимой, а также заготавливают дрова.

Через станицу проходил тракт, по которому шли в царское время ссыльные и каторжные. Она уходила в степь, эта столбовая дорога. Сзади станицы были горы, как бы прикрывая ее от ветров и метелей, а когда выйдешь по дороге, за горами начинается степь бескрайняя. Земли было в этом краю много.

Пришел отец в станицу, а она словно вымерла, только кое-где слышно мычанье коров да телят.

Оказалось, что население ушло от набегов белых кто куда. Только в баньке на берегу кто-то стонет.

Открыл отец дверь — и увидел умирающего деда, а возле него старушку. Очень они были старые: деду 92 года, а его жене 90.

Рассказала бабушка, что они одинокие старики, детей у них не было, был приемный сын, жил он богато и про них забыл. Детсья было им некуда, вот они и спрятались в бане, да, входя в нее, дед упал, сильно поранил голову, лечить нечем, вот и умирает дед.

Дом у них был недалеко, отец перенес деда, обмыл, перевязал, но, видно, потерял много крови дед, умер. Деда похоронили, а отец договорился с бабушкой Анной, что мы будем жить у нее в доме, а она будет членом нашей семьи. (Бабушка Анна прожила с нами три года. Народился еще мальчик Коля, и она очень его любила, но прожил он всего два года, умер, а через некоторое время умерла и бабушка Анна, так и лежат они, старый да малый, вместе рядом.)

Народ стал возвращаться в Бузуново, жизнь пошла своим чередом.

Промышленности в то время там не было, и отец вначале поработал немного в милиции, а потом занялся крестьянством. Сельсовет выделил нам корову, лошадь и землю.

Станица делилась на три улицы: первая — параллельно реке, третья — параллельно тракту. На средней жили Бузуновы, кулаки, на задней — Ивановы и пр., а на береговой — тоже богатые. Бузуновы были не такие, как кулаки в России. Они по Енисею сплавляли хлеб и были богатые, но помогали бедным.

Сельские машины у них были из Америки. Сначала они все себе засевали, а потом — бедным.

Вначале, когда мы приехали, к нам отнеслись настороже. Говорили: «Никифор Степаныч, вы думали, тут на стволах караваи висят, а на пнях — котлеты жарятся?» — «Нет, я так не думал».

Семья наша трудилась, каждый по способности. Мама жила заботами о детях, ведь их нужно было напоить, накормить, обшить. Но дети старались помочь — девочки по дому, мальчики в поле. Уже на следующий год у нас все было. Федя с Шурой подросли и работали. Дед все умел делать — и корову забить и освежевать, и обувь починить, и плот сбить. На нас стали смотреть иначе.

Изучение истории села, где прошло детство деда, позволяет предположить, откуда у него были все эти навыки и умения, например, плот сбить. «В XIX веке, — читаю на историко-этнографическом сайте «Зубова Поляна», — старые храмы обветшали, на смену им в разные годы были воздвигнуты более величественные каменные и деревянные строения. На карте 1883 года в той части Спасского уезда, которую ныне занимает Зубово-Полянский район, церкви отмечены в 19 селениях, причем в некоторых из них было по два храма. Позже церкви строились и в других поселениях. Причем отметим удивительный факт: в XIX веке общины неграмотных крестьян строили (или, во всяком случае, являлись инициаторами строительства) церковные здания, которые своей архитектурой вызывают восхищение и сегодня (в отличие от строящихся наспех в наши дни в Зубово-Полянском районе неказистых бревенчатых сооружений)».

А дальше рассказчица упоминает о крайне интересном для нынешней меня факте биографии Никифора:

В деревне не было священника, и отец заменил попа в здешней церкви: надел поповскую рясу и служил. На Пасху отец отслужил в церкви и пошел по избам с кадилом. Домой привез целый воз продуктов.

Как это могло быть — чтобы дед служил, я, на тот период, когда это читала, еще далекая от церкви, не уточнила. Скорее всего, и теперь я в этом почти уверена, мальчиком дед прислуживал в своем Покрово-Селищенском приходе; не мог же он служить, не имея о том представления. Кроме того, едва ли это все могло быть без ведома и благословения церковного начальства, а оно еще сохранялось, даже в условиях гражданской войны. Просто эти подробности прошли мимо внимания тетушки, тогда еще девочки. Но продолжу:

На следующую зиму отец съездил через Енисей в Монголию, сменял лошадь, мануфактуру, привез телку и кобылу, та принесла жеребят, корова — телят, получилось 5 коров и 6 лошадей. Когда возвращались из Сибири, отец построил плот из бревен, плывших по Енисею, и погрузил на него всю семью — жену и восьмерых сыновей и дочерей, 2 коровы, 2 лошади, кур, петуха и собаку Джека. Бабушка сшила красный флаг. Провожать нас вышла вся деревня, и даже из других деревень пришли. И долго стояли на высоком берегу, пока могли нас видеть. Ведь мы прожили здесь, на Енисее, с 1918-го до половины 1922 года.

Наверное, это были наиболее яркие годы в жизни моего деда (ну, кроме, разве что, времени стояния в мундире городского на углу Невского и Большой Морской). Вернувшись в Петроград-Ленинград, он погрузился в прозаическую жизнь обычной рабочей семьи. Дети один за другим женились и выходили замуж, жена (моя бедная бабушка Агриппина) в 36-м умерла, всего-то в 52 года, девочкой по сравнению со мной сегодняшней... В мае 39-го, в 33 года, умер их сын Шура (мой отец), 16 декабря того же года погиб на финской войне его погодок Федя. А под самый конец того же 39-го, на Спиридона Тримифунтского по новому стилю и на Рождество Христово — по старому, умер и сам Никифор. Похоронен он, между прочим, на Богословском кладбище... Я его очень жалею и часто о нем думаю. Мне кажется, и он обо мне.

...Несколько лет назад в день памяти деда, на исповеди, я попросила отца Константина помолиться о нем, показала свисток... «Вы можете мне его дать на время?» — спросил батюшка. А после службы подошел ко мне и, возвращая дедов свисток, сказал: «Помянули мы вашего Никифора всем причтом. И даже в свисток посвистели».

25 декабря 2011

*По-братски, по-ленинградски!..**

В конце декабря 2013-го я ездила в Харьков, навестить двоюродную сестру Софию, самой ей дорога в родной город давно уже не под силу. (О ней и ее маме, а моей тетушке, — «Три Марии».) Ездила не зря: удалось пригласить батюшку, причастить ее, мы с ней хорошо и о многом повспоминали-поговорили, но из того, что можно было бы рассказать всем, поделюсь лишь одним, на сегодня главным, — рассказом о начале войны и блокады и о жизни сестры в Ташкенте, куда вывезли ее из блокадного города. Я уже слышала его в прошлый свой приезд, но и подробности подзабыла, и не до конца еще понимала тогда, как важны живые свидетельства еще живых людей о прожитом и пережитом нашей страной... Итак:

Я всегда очень любила ездить в пионерлагерь. В тот год я окончила 9 классов и в начале июня поехала в пионерлагерь под Лугой, около деревни Шалово. Нас, взрослых ребят, назначили пионервожатыми. На 22 июня была назначена военная игра, и мы все к ней с увлечением

* Фото и комментарии — здесь: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/po-bratski-po-leningradski.1763/>

готовились. Рядом была войсковая часть, и военные уже выделили нам полевые кухни. И вот утром 22-го мы все собрались на торжественную линейку – и вдруг слышим: цок-цок-цок! Всадник мчится! Вот он спрыгивает с коня, бежит к руководству лагеря... И мы узнаём, что сегодня ночью началась война...

Стали собираться в Ленинград, сворачивать лагерное хозяйство, а лагерь наш был большой. Дней через пять-шесть всё было готово. Военные выделили нам машины, и нас отвезли на Лужский вокзал.

И вот мы сели в поезд, а лагерь, как я сказала, был большой, два или три вагона заняли, ждем отправления – и вдруг на огромной скорости на станцию влетает состав, и, когда он останавливается, мы с ужасом видим лежащих вповалку прямо на открытых, в потеках крови, платформах раненых бойцов, в пропитанных кровью бинтах, изможденных... И мы выскакиваем из вагонов и отдаем им свои пайки, выданные на дорогу... «По-братски, по-ленинградски». Потом уже нам сказали, что состав этот вырвался из-под Порхова, где уже шли кровавые бои, Порховские бои.

Вскоре ушел на фронт мой двоюродный брат, Андрей. Мама его, наша тетя Дуся, не нашла в себе сил пойти его провожать, в таком она была горе, как чувствовала, что он не вернется. Так что провожала его я, и на прощанье он сказал: «Не дрейфь, Софка! Мы с тобой еще будем пить пиво в Мюнхене!» (1 февраля 44-го он погиб. Смертью храбрых. Так мы с ним пива и не попили...)

Дежурства на чердаках, тушение бомб-зажигалок, вой сирен воздушной тревоги, стук метронома, бомбежки, бомбоубежища, первые разрушенные дома, первые погибшие, карточки, очереди за хлебом, стремительно уменьшающиеся пайки и, наконец, – голод... Ну, ты всё это тоже помнишь, хоть и маленькая еще была...

(Мы с сестрой жили в одном доме, на Марата, 3/22, только она на втором этаже, а мы – на третьем, ее окна тоже выходили на храм, о котором я недавно рассказывала: «Под сенью Святой Троицы...»).

Только уже зимой отцу удалось вывезти нас с бабушкой, с братом Юрой, на два года младше меня, и нашей мачехой (мама наша умерла еще в 32-м, и отец потом женился) из осажденного города. Сначала говорили, что едем в Сибирь, но ленинградский эшелон еще не доехал до Екатеринбурга, как было принято решение передислоцировать нас в более теплые края: и одеты мы были не по сибирским морозам, и ослаблены. Так мы попали в Ташкент.

Я в дороге сдружилась с двумя девушками-ленинградками. В Ташкенте встретили нас хорошо. А когда подкормили, подлечили – встал вопрос о том, чем будем заниматься. И вот мы – Нина Рабинец, Искра Уткина и я – пошли в райком комсомола, просить дела. «Мы вам, девчата, что-нибудь полегче найдем!» – сказали нам. «Как это полегче! – возмутились мы. – Страна сражается, а мы будем бумажки переключать?! Нет уж, дайте нам настоящее дело!» «Ну хорошо, в таком случае постараемся подобрать», – сказали нам.

И вот через неделю нас вызвали и сказали: «Есть для вас дело, очень трудное и даже опасное. Это очень тяжелая, мужская работа, с большой ответственностью. На Ташкентской ТЭЦ три турбины остались без машинистов, их взяли на фронт. Замены нет. Если не боитесь – поучитесь и начнете. Срок стажировки – два месяца. Освоить устройство турбины, эксплуатацию, ремонт и сдать экзамен государственной комиссии. Но справитесь ли с такой работой?...» – «Справимся! Как это не справимся, мы же ленинградки!»

Так мы, 16-летние девчонки, стали машинистами паровой турбины. На турбинном цехе лежала

огромная ответственность за электропитание всех заводов в округе, работавших на победу. А в Ташкент были вывезены из Европейской части страны многие заводы...

Когда мы приступили к работе, нам сказали, что будут платить пятьсот рублей и давать килограмм хлеба. «В месяц?» – переспросили мы. Нам, трем ленинградским дистрофикам, совершенно невозможно было представить, что кому-то могут выдавать килограмм хлеба В ДЕНЬ!

Турбины были полуавтоматические, и я всю вахту металась по мостику: надо было постоянно заниматься регулировкой поступления пара за счет изменения диафрагмы внутри турбины. Еще один раз за смену надо было открыть люк и промыть сетку. Вода забиралась из реки, и, если сетку не освободить от речных наносов – песка, ракушек, мусора, – ее забьет, перестанет поступать вода и турбина пойдет вразнос. Чтобы открыть крышку люка, диаметром более метра, надо было отвернуть 12 огромных, тяжеленных болтов. А после промывки – снова наглухо завернуть. Когда мне в первый раз пришлось заниматься этим самостоятельно и никак было не стронуть с места болт, я увидела лежащий в стороне кусок трубы – и меня осенило, что с его помощью можно увеличить рычаг (в школе я училась хорошо и физику знала)!

Старшему машинисту, Топтунову, нянькаться со мной было некогда: на нем бойлерная, азраторная и т.д. Но он по-отцовски меня опекал. Работал в турбинном цехе один инженер. И вот он повадился заходить ко мне наверх, и по поводу, и без повода, и со мной заговаривать. И Топтунов посмотрел-посмотрел, а потом ему сказал: «Обходить мою машину стороной! На турбину не подниматься! *Это мой ребенок!*»

Машинистам и кочегарам полагался усиленный паек. Но мясо, конечно, было редкостью. И вот кто-то вспомнил о горных черепахах! Сначала ездили за ними в горы, потом устроили при ТЭЦ черепашник. Суп из черепахи – королевское блюдо! Но, когда в рабочей столовой подали его в первый раз и я поделилась им с сидевшей рядом девушкой: привыкла делить всё «по-братски, по-ленинградски», – мне строго-настрого запретили это делать. «Мясные блюда, – сказала заведующая столовой, – положены только вам, машинистам и кочегарам. И хлеба все рабочие получают по восемьсот граммов, а вы по килограмму – как бойцы на передовой!»

Я еще после вахты успевала в госпиталь забегать, помогала сестрам, читала для раненых. Я в школе занималась в балетном кружке, и вот однажды мне захотелось станцевать для раненых бойцов чардаш. Успех был оглушительный, в прямом смысле слова: кто мог, хлопал в ладоши, кто не мог – стучал лбом по спинке кровати или костылем по полу. Так что несколько раз я повторяла свой чардаш на бис.

Уже здесь, занявшись «расшифровкой» конспективной записи рассказа сестры, я вспомнила фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Там ведь дело тоже происходит в Ташкенте. Я зашла в Интернет и увидела там рецензию на фильм Александра Караганова: «В детстве, пятилетним мальчиком, Алексей Герман попал в Ташкент в числе эвакуированных из Ленинграда. В 1977 году, снимая «Двадцать дней без войны», режиссер вспоминал ранние, навсегда отложившиеся в душе впечатления: ощущение общей беды; детали тылового быта, не голодного, но бедного пайковым хлебом, неустроенного, неуютного; тоску по отцу, который служил в ту пору на Северном флоте; разговоры о похоронках, делавших сиротами десятки ташкентских сверстников Алеши. В домах исчезли праздничные застолья. Лишь в воспоминаниях остались свидания девушек в нарядных платьях и парней с цветами, духовые оркестры и вальсы на многолюдных танцплощадках. Мальчишки, гонявшие мяч на улицах и школьных дворах, стали к станкам. В домах воцарилась теснота: местные жители приютили эвакуированных. В кухнях выросло число керосинок и разделочных столиков, пицца ускорчилась до невозможного. На улицах — тысячи идущих на работу или с работы плохо одетых людей,

подростки — часто в пиджаках и пальтишках с чужого плеча, бывшие модницы — в выдавших виды кацавейках и ватниках».

Поздравляя вчера сестру с наступающим праздником 70-летия снятия блокады, я коротко пересказала эту рецензию и спросила: «Так всё и было?» – «Да, так всё и было... Идешь, девчонка, одна на ночную вахту, к 12 часам: грязь, снег сыплется, темень, еле лампочки видны, по сторонам – заводы, заводы, громада "Ростсельмаш"... И ничего: надо – значит, надо». Сколько я сестру, уже со своего сознательного возраста, помню, слышу эти два правила-девиза: «Надо – значит, надо» и: «По-братски, по-ленинградски!» Да, и еще одно: «Ничего, прорвемся!»

Так мы проработали два года. И вот однажды нас троих собирают на одной из турбин, и к нам навверх поднимаются трое в военной форме. Встают на колени и целуют нам руки. Наши чумазые руки. И вручают нам по букету цветов и коробке конфет. Это с войны вернулись машинисты...

Нас всех троих наградили потом медалью «За доблестный труд в ВОВ»...

Нас отозвал райком комсомола: заканчивать среднюю школу (у нас было всего 9 классов) по ускоренной программе и затем поступать на подготовительные курсы в институт. Инженерный корпус страны понес во время войны большие потери, и надо было его восстанавливать. Конечно, я хотела вернуться в родной город и учиться там, но, когда я послала запрос на разрешение вернуться в Ленинград – мне отказали, потому что комната моя была продана. Тут знакомые ребята сказали мне: «Айда с нами в Харьков, Софка!» И я поехала в Харьков. Так там и живу... Но готова без конца смотреть любые «Разбитые фонари», лишь бы видеть родные улицы, набережные, мосты, ты знаешь...

– Открой-ка вот этот шкаф, – сестра после тяжелой операции на суставах пока еще только начинает вставать, – там в левой половине, на второй полке, справа, должен быть листочек бумаги. Нашла? Прочитай его. Это мне тетя Таня (сестра отца) дала уже после войны и сказала, чтобы я его хранила.

Я осторожно развернула пожелтевший, протертый на сгибах листок.

*Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!
Он избавит тебя от сети ловца, от губельной язвы,
Перьями Своими осенит тебя...*

Весь, от начала до конца, от руки переписанный 90-й псалом.

27 января 2014

Семеро Николаев

В дни празднования памяти Святителя Николая Чудотворца я поминаю семерых Николаев. Здравствующих Николаев среди моих близких нет. И вот сейчас, в преддверии «зимнего Николы» (наверняка без него тут не обошлось!..), неожиданно пришла мысль рассказать о его одноименниках, оставивших тот или иной след в моем сердце. Их семеро. Печальнее и больше всего — память о моем не виданном никогда брате, сыне тетушки моей Лидии. С него и начну.

Уб. отрок Николай

У моего отца было семеро братьев и сестер. Старшей — и самой красивой, хотя и все остальные

не обделены были красотой, — была тетя Лида. Лет с семи я знала, что у тети Лиды был сын, который умер в блокаду, рассудок ее этого горя не вынес, и ее время от времени укладывали в психиатрическую больницу, что на Пятой линии. Подробностей я не знала. И лишь совсем недавно от самой младшей из всех (на семейной фотографии она сидит на руках у бабушки моей Агриппины) и единственной еще здравствующей я узнала, как это было.

В блокаду тетя Лида работала на одном из заводов, была, как и почти все тогда, на казарменном положении, то есть ее отпускали домой лишь изредка, а подросток Коля, сын ее, находился, тоже на казарменном положении, в ремесленном училище. И вот однажды тетя Лида пришла навестить сына. «Вы к кому?» — спросили ребята. «К Коле Васильеву». — «А мы вашего Кольку съели». — «Как... съели?!..» — «А вот так. Съели».

История Ленинградской блокады полна примеров подлинного братства и самопожертвования, но и случаи людоедства из нее не вычеркнешь. К тете Лиде блокада повернулась вот таким страшным ликом...

Конечно же, этот юный мученик прямоком попал на небеса, в этом нет сомнения. Но молитв и он, конечно же, ждет. Помолитесь о нем и вы. Он будет рад.

Николай Васильевич

Он был одним из первых директоров издательства, в котором я проработала без малого тридцать лет. Сегодня, в век новых полиграфических технологий, издательство наше едва теплится, а в 30-х — 90-х годах прошлого века оно было всесоюзным издательством первой категории. Было оно ведомственным, и исторически сложилось так, что здесь, в Ленинграде, была «метрополия», а в Москве — всего лишь филиал. И Н.В. постоянно катался в Москву, в Главк, и всегда был в курсе всех его новостей, должностных перемещений и сплетен. Пришло время, когда Н.В. отправили на пенсию, и я, придя в издательство, застала его уже в ином качестве — как редактора-составителя одного научно-популярного ежегодника. Я, будучи в редакции научно-популярной литературы, с этим изданием тоже так или иначе соприкасалась. Редактором я тогда была еще без году неделя, и Н.В. меня в многообразных редакторских «бедах и скорбях» (в основном исходивших от цензуры — ведь мы, редакторы, находились, как тогда было принято говорить, «на переднем крае идеологического фронта») часто утешал и всячески поддерживал. В качестве утешения любил рассказывать всякие ведомственные истории. Например, о том, как один наш ученый, контр-адмирал, вызвал на дуэль своего коллегу, тоже контр-адмирала, и они дрались на шпагах (это в сороковые-то годы 20-го века!). Или о том, как знаменитого молодого полярника судили судом чести и публично снимали с него погоны за то, что он, советский генерал, на дружеской встрече обменял свою генеральскую фуражку на меховую шапку не менее знаменитого американского адмирала-полярника... И потом сослали его из столицы на Северный Кавказ, в захудалый тогда институт. Было это было в конце 1940-х годов, во времена борьбы с так называемым космополитизмом. (О чем, кстати, нелишне напомнить тем, кто скучает по советским временам, даже не представляя, что это были за времена. Достаточно сказать, что Интернет, никому не подконтрольный, не просуществовал бы, вернись они, и суток.) Худое лицо Н.В. со всегда смеющимися глазами и ехидной улыбочкой, с вечной папиросой во рту, вдруг всплыло в моей памяти год на третий моей жизни в Церкви и всплывало все чаще и чаще, пока я не поняла, наконец, почему: ведь уж, наверное, этот всезнайка и там им остается и знает, что я молюсь о дорогих мне издательских, пребывающих ныне там же, где и он. Уже по году своего рождения (явно до переломного 1929-го) он не мог не быть крещеным, и я стала молиться и об этом Николае.

Прости, Коля...

Летом 1986 года мы с восьмилетним тогда сыном две недели провели на Валааме. Попали мы туда в рамках восстановительно-реставрационной акции добровольной общественной организации «Мир». (Я рассказывала об этом в одном из своих дневников.)

Лет десять спустя я приехала в Приозерск, откуда, как мне сказали, ходит на Валаам монастырский теплоходик. Так захотелось теперь снова там побывать...

На привокзальной площади я увидела автобусную остановку и у сидевшего на скамейке мужчины лет сорока пяти спросила, как проехать к причалу. «Я тоже туда, — сказал он, — если хотите, поедем вместе». Автобуса ждать пришлось довольно долго, завязался разговор, и в ходе его выяснилось, что мой знакомец — капитан небольшого экспедиционного судна, принадлежащего институту, который я прекрасно знала. «Заходите к нам на борт на обратном пути», — сказал Николай (так звали капитана). С Валаамом, против ожидания (а я почему-то была уверена, что упоминание о моем участии в восстановительных работах откроет мне двери), ничего не получилось: надо было идти за благословением к настоятелю какого-то неведомого мне храма, а как это все делается, я, тогда еще далекая от Церкви, не знала. Несолоно хлебавши, по неширокому деревянному мосту прошла я обратно, на противоположный берег узкого заливчика, где стояло судно Николая.

— У меня к вам такое предложение, — сказал он. — Если хотите, возвращайтесь в Питер с нами: завтра утром выйдем и к вечеру придем. Но такая просьба: у нас заболела повариха, не могли бы вы ее заменить, сготовить нам сегодня ужин, а завтра — завтрак и обед?

Предложение, прямо скажем, было неожиданно и пикантно. Хотя в городе меня никто не ждал (сын был в лагере, и я могла домой не торопиться), однако переквалифицироваться в коки, готовить на всю команду, восьмерых здоровых мужиков?.. Однако авантюрно-романтическая жилка, еще жившая во мне, пересилила, и я осталась.

Что я сготовила на ужин — не помню. Когда кубрик опустел, я помыла посуду и вышла на палубу. Дело было, кажется, в середине июля, и допоздна было светло. Далеко на горизонте садилось в воду солнце, тихо шлепала в борт вода, негромко кричали чайки. Николай рассказывал мне, «человеку с поезда», свою жизнь. Жаловался на жену, прижимистую, базарную (в его изложении) тетку, на восемнадцатилетнюю, тоже непутевую, дочку. Сказал, что несколько лет назад на островке, где до недавних пор располагался испытательный полигон, облучился, единственный изо всей экспедиции, теперь заболевание крови...

На ночь он уступил мне свою каюту. К чести Николая, не встретив с моей стороны ответных объятий, он больше не делал попыток нарушить мое одиночество.

Завтрак я готовила уже на ходу. Дверь камбуза была у самого борта, отделенная от него совсем узенькой в этом месте палубой, так что глаз сразу упирался в блестящую под солнцем, стремительно мчавшуюся, вспененную воду. Время от времени с мостика заходил Николай, спрашивал, как я, не укачало ли, не надо ли чем помочь.

Мне ничего не было нужно, меня не укачало, все было прекрасно.

Часов в двенадцать появилось какое-то суденышко, оттуда что-то просигналили, а потом, осторожно маневрируя, суда встали борт к борту, и после недолгих переговоров в камбузе оказался ящик серебристых, один к одному, торпедообразных сигов. Часа два я потрошила и чистила рыбу, чистила картошку, еще с час — жарила то и другое на нескольких сковородах, и все получалось так, словно я всю жизнь стояла на камбузе. Я даже сорвала комплименты от команды. Чудны дела Твои, Господи!

...Часа в четыре вечера мы вошли в Неву, а еще через какое-то время ошвартовались у причала.

Мы обменялись телефонами. Время от времени Николай мне звонил, я — ни разу: он дал мне домашний телефон, и звонить туда мне было неловко, да, честно говоря, и не хотелось.

Здоровье у него все ухудшалось, голос все грустнел; мужское влечение (явное поначалу) уступило в нем место тихой дружбе, поиску простого участия. В нем — я не отказывала, выслушивала, расспрашивала, жалела.

Потом он перестал звонить, и я о нем за своими делами забыла. Когда же вспомнила — встревожилась и позвонила. «Николая вам? А кто его спрашивает?» — после некоторой паузы, мгновенно прояснившей для меня случившееся, неприязненно ответил женский голос, и в самом деле базарный. «Просто знакомая, как-то раз он подбрасывал меня до города», — ответила я, и это была чистая правда. «Так вот, знакомая, он уж с марта на кладбище!». Я извинилась и тихо положила трубку...

Вспомнив эту историю и описав ее, уже будучи в церковной ограде, я внесла в свой помянник с пометой «аще крещен» и этого раба Божия Николая и теперь поминаю его среди прочих людей, о которых, я это точно знаю, уже никто не молится. У меня есть причины думать, что он — из них.

Прости меня, Коля.

Коля-олимпиец

Несколько лет назад в храме ко мне подошла пожилая женщина по имени Тамара, с милым, улыбчивым лицом и сказала: «У меня сын три дня назад утонул... Помолитесь о нем, Игорь его зовут!..» И рассказала, что он шел с 12-летней дочкой на байдарке, и случилось так, что лодка перевернулась и ушла под воду. Отец толкал девочку к берегу, пока хватало сил. К ним подоспел друг, видевший с берега происходившее, и спас девочку, а Игорь не выплыл. Мне ли, на себе испытавшей это горе горькое, было не откликнуться сердцем?..

Но тогда я еще не знала, что у Игоря был брат-близнец, который тоже умер, за 16 лет до него... (Об этом Тамара рассказала мне, когда я гостила у нее в деревне, о чем — ниже.)

Коля, 27-летний лыжник-олимпиец, задохнулся на печи в деревенском доме, рядом с братом (они приехали навестить мать). Тамара спала внизу, и ее разбудил крик: «Мама, Коля не дышит!». На вскрытии выяснилось, что он перенес два инфаркта (советская «рекордогонная» система...), но никто, в том числе он сам, об этом не знал. Брат Игорь потом бежал бегом в больницу, куда отвезли мертвого Колю, нес ему вещи: «В чем он обратно домой пойдет?!» Зная при этом, что с братом случилось, но не в состоянии этому поверить: «Мама, я бежал, и Коля всю дорогу со мной бежал!..» Близнецы...

У Игоря была семья, была дочь, он был крещеный, и о нем мать может подавать прошения на проскомидию; есть у него и еще молитвенники. Коля же, перемолотый «Большим спортом», ничего не успел: ни жениться, ни креститься (на уговоры матери отвечал: «Я уважаю веру, но креститься еще не готов»). Я поминаю обоих братьев, но Колю мне как-то особенно жалко...

Коля и Орлик

Как-то Тамара подошла ко мне в храме и сказала: «Ты куда-нибудь летом едешь? Если нет, то поехали со мной: у меня в Псковской огромный дом, и я в нем одна». И я согласилась: отдых в деревне — нечто милое и для меня уже забытое... Тамара уехала в начале июня, а я собралась лишь через месяц.

И вот — поезд, потом автобус, потом, через два часа, — другой автобус, и, наконец, я выхожу — и вижу красавца-коня, впряженного в телегу, и около него — мою Тамару и худощавого человека лет шестидесяти со светлым, «божеским» лицом (при том, что, как Тамара сказала мне потом, он, хоть и крещеный, и слышать о Боге не желает...). Это Тамарин сосед Коля. Коня он зовет милым именем «Орлик». И Орлик везет нас по лугам, по полям, в горку и под горку, по ухабам и рытвинам, только держись: телега без бортиков... А часа через полтора вдруг открывается мягко всхолмленное, оконтуренное темными полосками леса огромное поле, и Тамара говорит: «Вот это наши Никулинские горы!..». От этого внезапно открывшегося вида перехватывает дыхание...

В первый же день я утопила в колодце ведро. Коля молча пошел, достал его и принес полным. Так же молча он сладил Тамаре обветшавший за зиму плетень, окучил картошку, поменял у нее в доме пробки, розетки, и т.д., и т.п., и все это молча, говоря лишь самые необходимые слова своим мягким, тихим голосом... По субботам с утра начинал таскать воду для бани и не принимал, как и за все прочее, никаких вознаграждений, кроме разве что пары бутылок пива. Чуть свет уходил по ягоды, по грибы, на рыбалку. Свое собственное хозяйство, довольно

обширное, содержал в образцовом порядке. И Орлик у него всегда был чист, блестящ и весел.

Коля был очень больным человеком. Ему давно обещали путевку в санаторий, на месяц. И вот, наконец, ее дали. Орлика оставить было не на кого: поймать его и завести в стойло мог только сам Коля. Мать и гостившую в то лето сестру конь и близко не подпускал. Никто из односельчан (в большинстве — немощных и старых) взять коня к себе на время Колиного отсутствия не решился. Пришлось Орлика продать.

Через несколько месяцев Тамара позвонила мне и сказала: «А у нас беда: Колюшка умер...». Я подала об этом «безбожнике» на сорокоуст и записала в помяннике: «Николай (Никулино)». Орлик, когда его продали, тосковал по Коле и совсем вскоре после него тоже умер. Я часто их обоих вспоминаю, и непременно на фоне никулинского косогора.

Николай и Антонина

В конце моего помянника значится: «соседи по Марата», без перечисления имен. Поименно я называю их в те дни, когда молюсь «полным списком» (он у меня немал, и весь его целиком, по совету свт. [Феофана Затворника](#), я прочитываю лишь раз в неделю). Мне достаточно прочесть это слово — «соседи», чтобы у меня перед глазами необычайно ярко возник наш длинный, всегда темный (из экономии) узкий коридор и жившие за смутно белеющими в нем дверьми люди. Года через два после своего вхождения в Церковь я внесла запись о них в свой помянник: я прожила вместе с ними, худо ли, хорошо ли, свои первые тридцать лет, и, как бы то ни было, но именно рядом с этими людьми поставил меня с первых дней жизни Господь, хотя тогда я о Его существовании не подозревала...

Я так и молилась о своих соседях, мысленно идя от комнаты к комнате. И вдруг года два назад, дойдя до комнаты Репиных, я явственно увидела перед своим мысленным взором человека лет сорока, с лицом вечного интеллигента, в очках, в сером костюме, и рядом с ним — женщину, тоже лет сорока и тоже с милым интеллигентным лицом. И в моей памяти медленно всплыли два имени: Николай Николаевич и Антонина (кажется, Ивановна). И я вспомнила, что они жили в соседней с нами комнате, а потом исчезли (как я впоследствии узнала, там же, где навсегда исчезали в те времена люди, где исчез другой наш сосед, Тулкин) и в их комнате поселились мать и сын Репины.

Самое поразительное здесь — то, что я никогда за все минувшие годы не вспоминала об этой паре, и вспомнились они именно вдруг. Но, раз напомнив о себе, Николай и Антонина теперь уже неизменно поджидали меня у двери Репиных, пока однажды я, наконец, не сообразила, для чего...

Best 73/88

Николай Николаевич Стромиллов был бортрадистом на небольшом самолете, впервые побывавшем над Северным полюсом в ходе разведывательного полета, предварившего высадку на льдину знаменитой папанинской экспедиции, за которой в то время, затаив дыхание, следила вся страна. Это был конец 1930-х годов, время полярной героики... И вот, уже годы спустя, Н.Н. написал об этом книгу, «Впервые над полюсом», а я была ее редактором. Тогда и началась моя многолетняя дружба с Н.Н. и его женой и преданным другом Мариной Ивановной, дружба, за которую я особенно благодарна судьбе (сегодня под этим бесцветным словом я, конечно же, подразумеваю Промысл Божий)...

В войну Н.Н. был начальником радиостанции на острове Диксон — нашем форпосте в Арктике, на который была возложена ответственнейшая задача — следить за обстановкой в Северном Ледовитом и оперативно оповещать о передвижениях фашистских крейсеров, подлодок,

эскадрилий и десантов. Там, на Диксоне, Н.Н. и свела судьба с молоденьким синоптиком Мариной. Как это все было — они потом, сорок лет спустя, наперебой рассказывали мне за дружеским застольем на своей милой кухне, в доме на тихой московской улочке под забавным названием Новая Бодрая... Я в то время по разным делам два-три раза в год бывала в Москве и всегда радостно предвкушала, как увижу снова долговязую, «донкихотскую» фигуру Н.Н. и услышу милый голос М.И. Мы переписывались, перезванивались.

В 1980-м я получила от Н.Н. письмо, в котором он сообщал, что у него нашли «туберкулому»; к нему тайком было приложено письмо от М.И., где эта «туберкулома» называлась своими словами — рак легких...

Из письма Марины Ивановны:

«Он не лежал, продолжал работать на радиостанции (последняя связь — от 3/XI-80 г., за две недели до смерти), вел огромную переписку, включая ЦК ДОСААФ. ... Он шутил, как мог, до последнего дня, когда потерял сознание. ... Он совершенно не мучился, у него не было болей, его до последней минуты окружали все свои, любящие его люди и которых он любил, в знакомой, привычной ему обстановке, на собственном диване, где он любил лежать. Так что умер хорошо, спокойно, главное — без болей. ... Хоронили его очень торжественно, было много народу, друзей, полярников. Его кремировали в центральном Донском крематории. Удалось достать место на Ваганьковском. ... Я попросила, чтобы на его мраморной доске выгравировали его позывной: «ua3bn». И, что самое поразительное и до меня не сразу дошло, — номер его ниши в колумбарии — 88. Помните, что означает эта цифра? Он Вам не раз, очевидно, подписывал письма «73/88», правда? Это означает “Любовь и поцелуй» — Вы, конечно, помните.

На поминках, 9-м и 40-м днях было очень много народу. Много полярников. Много было разговоров об Арктике».

Мы никогда не говорили о Боге. Я тогда еще не отдавала себе отчет о Его всеопределяющем существовании в моей жизни. Не знаю, отдавала ли себе в этом отчет М.И. (ведь 9-й и 40-й дни у всех у нас, русских, в крови, и упоминание о них в ее письме еще ни о чем не говорит), но, когда я сейчас, спустя почти 30 лет, перечитывала ее письмо, у меня было такое чувство, что я читаю описание кончины праведника. Да упокоятся они (М.И. тоже сегодня уже нет с нами...) «в месте злачнем, месте покойнем, идеже несть печаль, ни въздыхание»...

Добавлю только еще одно: родился Н.Н. 22 мая, на Николу летнего...

Строка синодика...

Лет десять назад мне подарили книгу прот. Бориса Старка «Вся моя жизнь – чудо». И в книге этой есть глава под названием «Мой синодик», где он рассказывает о людях, за которых молится. Я тогда подумала – а не написать ли и мне что-то вроде этого? Ведь, когда я крестилась и стала заполнять свой первый синодик, оказалось, что число имен как ныне здравствующих, так и усопших, насчитывает не одну сотню, и с каждым годом число последних естественным (увы!..) образом увеличивалось! И за каждым из этих имен стоит чья-то неповторимая жизнь... Если рассказать хотя бы о нескольких десятках из этих жизней, таких несхожих между собой по образованию, происхождению, интеллекту, характеру, роду занятий и т.д., мог бы получиться уникальный срез поколений...

Однако когда на горизонте возникла идея книги о жизни, мечте этой суждено было остаться мечтой: «Боливару не снести двоих». И все же в этой моей книге довольно много от синодика. Вот сейчас в ней появится еще одно имя – Евгений...

«Ослепительный мартовский день, – писала я когда-то в рассказе «Семь лет после войны». – Мы у Тани во дворе. Скоро идти в школу (в этот год мы учимся во вторую смену), а так не хочется! Звенит капель, синеют на изломе огромные льдины, на которые дворники уже

расчленили ломами смерзшуюся за зиму в лед снежную кору, скрывающую асфальт. Между льдинами уже бегут ручейки, подмывая и подтачивая их, и вот с одной льдины на другую мы с Таней прыгаем. Мы играем в папанинцев. Мы перепрыгиваем через трещины и разводья – наше ледяное поле разломало, и мы выбираем себе обломок понадежнее. Мы играем в папанинцев, не подозревая о том, что над одним из них, блестящим молодым генералом от метеорологии, уже нависла грозная туча и, может быть, в эту самую минуту он сдает свое личное оружие и свои генеральские погоны, чтобы на долгие годы кануть в неизвестность, разделив судьбу многих... И я еще не подозреваю о том, что много лет спустя меня сведет с ним, и на долгие годы, редакторская судьба».

И что в эту минуту незримо возникла еще одна сквозная нить моей жизни...

Передо мной – стопка листов плотной, пожелтевшей за годы бумаги с моими заметками о Евгении Константиновиче Федорове, написанными (тогда еще – от руки, шариковой ручкой...) в январе 1982 года, вскоре после его неожиданной кончины, последовавшей 30 декабря 81-го. Я даже не подозревала о том, что они сохранились, – наткнулась на них, как принято говорить, «случайно», перебирая папки со своими архивами...

Кое-что оттуда:

Перечень титулов, званий, должностей, обязанностей академика Евгения Константиновича Федорова не уместится и в несколько строк. Начальник Главного управления Гидрометслужбы СССР, председатель Советского Комитета защиты мира, «переговорщик», депутат Верховного Совета, и т.д., и т.п... Понятие «автор» в подобных перечнях обычно не фигурирует. Мои же с ним отношения описывались так: автор – редактор. Те, кто знаком с практикой работы книжных издательств, знают, что, если автор и редактор сработались, оказались совместимы, – редактор «закрепляется» за автором и ведет потом все его книги. Мне посчастливилось сработать с Е.К., оказаться с ним совместимой.

...Я работаю с книгой более 20 лет. Срок достаточно большой, чтобы сделать твердый вывод: чем больше масштаб личности, тем больше в этой личности готовности к самокритике (и наоборот). Евгений Константинович Федоров подтверждал этот вывод на сто процентов. Передавая в издательство новую рукопись, он всегда говорил: «Пусть Л.А. посмотрит и сделает свои замечания». Я смотрела, ехала к нему, излагала свои соображения – и всегда встречала со стороны Е.К. полнейшую готовность принять то, что будет на пользу книге. Если же он в чем-либо был не согласен со мной – терпеливо и аргументировано объяснял, почему он написал так или иначе. С ним можно было спорить. В нем жило любопытство к логике другого.

Как-то я спросила его: «Евгений Константинович, я не могу понять, когда вы умудряетесь писать?» – «Да вот здесь, на даче, в выходные, в отпуске, в санатории...» Выходные, отпуск... Да он в Москве-то едва ли был половину года! Совещания, встречи, конференции, симпозиумы и т.д. в разных концах мира... В этом смысле он так и остался для меня загадкой... (Такой же, между прочим, какую сейчас являет для меня и отец Константин Пархоменко...)

...И вот у меня на столе – рукопись книги «Полярные дневники». 22 листа, написанные теми же отрывками, но на одном дыхании...

Помню, зашел с одним автором разговор об этой книге. «Наверное, за Федорова весь институт писал!» – сказал он. «За Федорова, – сказала я, – я кому угодно горло перегрызу. – (Честное слово, так и сказала.) – Он всё писал сам, до последней буквы».

Он показывал их мне, эти школьные тетрадки, заполненные карандашным бисером, видевшие купола Земли Франца-Иосифа, бескрайние тундры Таймыра и сполохи северного сияния над

дрейфующей льдиной с четверкой смелых...

...Я знала автора этой книги уже много лет. Знала, уважала и ценила. За какую-то не по чинам простоту, доступность, уважение к чужому мнению. За человечность, в которой могла убедиться на своем личном опыте. В самый черный день моей жизни (совпало так, что именно в этот день наш директор был на приеме у Федорова и поделился с ним только что полученной от издательских печальной вестью...) он пришлет мне телеграмму со словами соболезнования на синем правительственном бланке, скажет: «Передайте Л.А., что, если она захочет отправиться куда-нибудь в экспедицию – в любую, – я всё сделаю». Я этим так и не воспользуюсь – от себя никуда не уйдешь... – но помнить всегда буду.

Но во время работы над «Полярными дневниками» передо мной открылся совершенно иной, новый для меня Федоров. Если до этой книги, несмотря на всю простоту и доброжелательность Евгения Константиновича, я все же ощущала в общении с ним некоторую скованность и робость, то теперь этот невидимый порог исчез. Конечно, сыграло свою роль то, что, если раньше он принимал меня в Главке, в Комитете защиты мира, еще где-то, словом, в официальной обстановке, то над этой книгой мы работали у него на даче, в санатории, дома... Он и сам расковался. Он любил эту свою книгу, она была ему дорога, и не только потому, что дорого все, что связано с молодостью: за каждой ее страницей он видел свою Анютку (Анну Викторовну Гнедич), которую потерял незадолго до того...

...К этим заметкам приложены еще три листа, с поздравительными стихами по случаю 70-летия Е.К. Исключительно с целью избежать юбилейных торжеств он сбежал на несколько дней на дрейфующую станцию... Эти мои стихи носят на себе некоторую карандашную правку моего начальства... Были ли они отправлены юбиляру – увы, не помню. Но здесь, в своей книге, я их... отправлю!

Они состоят из трех частей, повторяющих названия частей «Полярных дневников»: «По следам», «Целиной», «Визиты». Приведу лишь обращение к юбиляру и стих третий, «Визиты».

Дорогой Евгений Константинович! Мы, гидрометиздатовцы, настолько Вас любим и настолько ценим как своего давнего и верного автора и просто как прекрасного Человека, что в день Вашего 70-летия не сочли возможным огорчать Вас еще одним: «внес выдающийся вклад в...», «всегда на переднем крае науки», «выдающийся», «успехов в труде и долгих лет жизни». А посему разрешите преподнести Вам эти домотканые вирши:

III. Визиты

Где ж вы, лайки-собаки?

Я мотаюсь без вас

Из Москвы – в Нагасаки,

Из Нью-Йорка – на Марс!

Лишь порой в Антарктиду

По пути заверну

Да летучим болидом

На Эс Пэ загляну.

*Из Гаваны на Лиму
В «каравелле» летя,
Я тоскую о пимах,
И совсем не шутя...
Не махнуть ли на льдину
Юбилеям назло?
Пусть подует мне в спину
Старикашка Эол!
Пусть завоюет надрывно –
Шут с ним*, эго добро!
Вдохновлюсь я порывно
И возьмусь за перо!
Пусть бушует, расстрига!
Под арктический шум
Свою лучшую книгу
Я еще напишу!*

...В августе 1981-го я ездила к Е.К. для работы над книгой «Переговоры». Книгой, написанной еще одним неожиданным для меня Федоровым – «переговорщиком», дипломатом, государственным деятелем. Речь в ней шла о его многолетнем участии в международных переговорах о запрещении ядерных испытаний в трех средах, переговорах, имевших первостепенное значение для всего человечества...

И вот рукопись отредактирована, сдана в набор. Но корректуру читать будет уже некому. Эта книга оказалась последней. Не написана книга военных лет. Не увидели свет антарктические заметки. Не успел. Но мыслимо ли успеть больше, чем успел за свою не столь уж длинную жизнь этот удивительный человек?

Осталось сказать словами самого Евгения Константиновича о его друге Эрнсте Кренкеле: «Больно говорить об этом человеке в прошедшем времени. Очень больно».

...Имя «Евгений» идет в моем синодике сразу после имен моих сродников. И сразу за ним – «Николай». Тот самый, уже знакомый вам бортрадист Николай Строилов с маленького самолета-разведчика, что впервые пролетел над Северным полюсом, проложив путь тяжелым самолетам, высадившим на льдину четверку папанинцев...

Благодарение Богу, что эти люди в моей жизни не только были, но и снова есть!..

* «Шут с ним» — любимое присловье Е.К.

Иов

Эта и две последующие истории — о моих Абаевых, с которыми я не расстанусь уже седьмой десяток лет. «Иных уж нет, а те — далече», но это совершенно неважно. В одном из своих блоговых очерков я рассказывала о том, как познакомилась с некой монахиней, настолько почитающей Святителя Николая, что решила выучить греческий язык, чтобы молиться ему на его родном языке. А тут как раз приехала из Греции Оля Абаева, и я их познакомилась. Потом уже мать N. попросила меня рассказать, откуда я ее знаю. И я рассказала, что Оля — младшая сестра Антонины, моего душевного друга со студенческой скамьи, упомянув при этом, что мамы наши, раба Божия Елизавета и раба Божия Мария, умерли в один и тот же день одного и того же года: 30 августа 1991 года. Никогда не видел друг друга в этой, земной, жизни. «Так вот почему вы так с Олей и не растерялись! А ведь могли... — задумчиво сказала мать N. — Это мамы ваши о вас вместе молятся...»

В 1999 году (увы, только!..) я приняла Святое Крещение. Одним из самых важных следствий этого события стало обретение возможности молиться о ближних своих. Я составила синодик. Некрещеные (или те, кого я считала таковыми) стояли у меня в нем последними. Список некрещеных усопших открывала Антонина, искренняя моя, которую как-то не хочется обозначать расхожим словом «подруга», а вернее всего было бы назвать alter ego, потому что она и на самом деле была моим вторым, а иногда, может быть, даже и первым, «я». В первый же свой «христианский» вечер я обо всех помолилась. И в ту же ночь моя Тоня мне приснилась. Похудевшая, ставшая выше ростом, но все в том же так хорошо знакомом мне серо-голубом платье, она смотрела на меня молча и, показалось мне, строго.

Это было весной, а где-то в июне мне очень захотелось навестить ее отца. Нашей Тони к тому времени не было здесь уже девять лет, а мама ее пережила дочку лишь на год. Все эти годы мы с Анатолием Евстафьевичем, так зовут Тониного отца, перезванивались, не виделись же очень давно. И вот я к нему поехала, «по-деревенски», без предварительного звонка, всецело положившись на волю Божию.

Видно, воля Божия на то была, потому что Анатолия Евстафьевича я застала дома и он встретил меня с непритворной радостью и всем своим осетинским гостеприимством. Само собой, я рассказала ему о самом главном событии последнего времени и всей моей жизни вообще: о моем Крещении. Рассказала и о том, как именно я помолилась о Тоне и как она мне после этого приснилась.

— А она крещеная, — помолчав, сказал он. — Бабушка Варя ее тайком окрестила в восемь лет, где-то под Бахчисараем, — прибавил он в ответ на мой безмолвный вопрос. (А.Е. служил в те годы на Черноморском флоте, и жили они в Севастополе). И сразу вспомнилось строгое лицо Антонины из сна после первой же моей молитвы за нее — как о некрещеной... Вот откуда была эта строгость!.. «Отчего же. Я крещеная», — словно хотела сказать она.

— И Толик крещеный, — продолжал он. — Тонечка его в десять лет окрестила, ты помнишь, как он тогда много болел? А мой отец был священником, его в гражданскую расстреляли. На дворе стоял уже 1999-й, и все эти ошеломившие меня известия военный моряк-гидрограф в отставке и бывший член КПСС выложил с некоторой даже, как мне показалось, затаенной гордостью. Больше всего поразило то, что даже мне, самому близкому после родных человеку, о крещении сына Тоня ничего не сказала. Бояться, что я «настучу», она не могла. Стеснялась, как какого-то суеверия?..

Прошло пять лет. Одним мартовским вечером сын пришел ко мне на кухню и сказал:

— Тебя к телефону. Никогда не угадаешь, кто! Анатолий Евстафьевич! — ответил он на мой немой вопрос.

В тот же миг я поняла: что-то случилось. Мы не созванивались уже довольно давно, и столь

поздний (а было уже половина одиннадцатого) звонок не мог быть рядовым.

— Анатолий Евстафьевич, случилось что?!

— Толю убили!.. — ответил он и заплакал.

Как, что — я не спрашивала. Сказала только: «Я сейчас приеду».

Убили Толю. Вот и его бедный Иов пережил — как пережил дочь, как пережил жену, свою Мусю, а теперь и внука. Анатолий Евстафьевич давным-давно укрепился в моем сознании как лучший человек изо всех, кого я знаю, и ответ на вопрос, «за что» ему все это, следовало искать ровно там же, где и до сих пор ищутся ответы на вопросы Иова праведного и многострадального.

Оставим за скобками, как, что и почему случилось с Толей. Все это еще слишком свежо, за прошедший с тех пор месяц не стало понятней, и вообще, это, как говорится, совсем другая история. Вернемся в дом, куда я приехала по ночному звонку.

Мы просидели в горестном полумолчании-полубеседе часов до двух ночи, и когда хозяин предложил лечь и мы разошлись по комнатам, я долго еще лежала без сна в ошеломлении от случившегося и услышанного, от жалости к бедному мальчику, а этот «крутой» генеральный директор какого-то там завода все равно же оставался для меня мальчиком, названным братом моей Девочки, давно уже пребывающей там, куда сейчас вселялся и Толя. Да и как было заснуть, ощущая и на себе самой крепкую руку Господню: могла ли я подозревать еще несколько часов назад, где окажусь в эту ночь?..

Засыпая, я знала, что утром прямо отсюда поеду к себе в храм, заказать панихиду и подать на сорокоуст. Наступал день третий, самый трудный для покидающих землю душ.

Наутро мы встали часов в восемь.

— Я поеду? — сказала я. — Вы мне потом позвоните, когда похороны, где, что...

— Как это «поеду»? Это чтобы Людочка у меня не позавтракала? Поешь, выпьешь кофе, и поедешь.

Появились на столе бутерброды с сыром, с колбасой, и хотя стоял Великий пост,

Крестопоклонная неделя, язык мой не повернулся заводить об этом речь.

А после завтрака снова пошел разговор, тихий и долгий. И услышала я вот какую историю.

«У меня ведь отца расстреляли не красные, а шкуровцы, за сотрудничество с советской властью. Фамилия отца стоит на почетном месте в книге об организации советской власти в Осетии. В книге этой он значится как народный учитель. Так мне и мать всегда о нем говорила. И лишь многие годы спустя я узнал, кто он был на самом деле...

После того, как отца расстреляли, я стал жить с матерью в детском доме. Она была там директором, но мы с братом Борисом были на общих правах со всеми, без каких-либо привилегий. Когда мы подросли, мать отправила нас в Москву к родственникам, и мы несколько лет жили у них «нахлебниками» (так тогда называли тех, кто жил у чужих людей и, как мог, отрабатывал свой хлеб).

Окончив школу, приехал в Ленинград, поступил в Военно-Морское училище им. Фрунзе. На втором курсе приезжала мать. Я знал, что она говорила с начальником факультета, Андреем Павловичем Белобровом, Царство ему Небесное! Но о чем именно она с ним говорила, я не знал. И, ты знаешь, я заметил, что после приезда матери отношение ко мне как-то изменилось. И до этого ко мне хорошо относились: учился я хорошо, анкета у меня была хорошая: сын организатора советской власти, народного учителя, — но теперь стали относиться особенно хорошо, я бы даже сказал, особенно тепло. А ведь это был тридцать восьмой год... Помню, все разъезжаются на летние каникулы по домам, а двоечники никуда не едут. А я как раз по геодезии двойку получил. И вот встречает меня Андрей Павлович и говорит: «А ты что здесь сидишь?» — «Да двойка у меня...» Тут же повел меня к преподавателю, тот задал мне какие-то пустяковые вопросы и поставил тройку... «Езжай!»

И вот подходит дело к выпуску. Я подал рапорт с просьбой отправить меня на Тихоокеанский

флот, на экспедиционное гидрографическое судно. Долго пришлось распределения ждать, всем, не мне одному. Потом пронесся слух, что пришли разрядки. И вот, как сейчас, помню: сидим мы за одним столом с лейтенантом Вале́й Емельяновым (сыном того самого рабочего Емельянова, под которого в 17-м был заgrimирован Ленин, помнишь?) и с комиссаром. Вот тут я, тут, в серединке, Валя Емельянов, а тут — Саша Беккер. И Саша спрашивает Валю:

— А куда меня, не знаешь?

— Не знаю.

А потом, когда Саша получил назначение и ушел, ко мне наклоняется и говорит:

— Тебя на Черное море.

— Ты ж говорил: не знаю.

— Для него не знаю, а для тебя знаю.

Направили меня и в самом деле на Черное море, на очень хороший корабль, старшим помощником командира. Нет-нет, не старпомом, а именно старшим помощником. Порт приписки — Новороссийск. А там был один, тоже осетин, и вот он услышал мою фамилию, а у нас же в Осетии все фамилии на слуху, да еще узнал, что я из детдома, и говорит:

— А, ну знаю! В детдоме только один из Абаевых был, сын священника.

Вот тогда только я и узнал, кто был мой отец... И если тогда я не понимал, почему все везде как-то особенно хорошо ко мне относились, то теперь уже все сопоставил, проанализировал — и понял: мать сказала начальнику факультета о том, что мой отец был священником, и, наверное, просила меня побережь. Ну, а уже тот сказал еще нескольким своим особо доверенным подчиненным, и так вот негласно меня берегли, по цепочке... — А, ну знаю! В детдоме только один из Абаевых был, сын священника.

Вот тогда только я и узнал, кто был мой отец... И если тогда я не понимал, почему все везде как-то особенно хорошо ко мне относились, то теперь уже все сопоставил, проанализировал — и понял: мать сказала начальнику факультета о том, что мой отец был священником, и, наверное, просила меня побережь. Ну, а уже тот сказал еще нескольким своим особо доверенным подчиненным, и так вот негласно меня берегли, по цепочке...

Но я-то не знал, что отец мой был священником, и везде писал в анкетах на вопрос об отце: «народный учитель». А Андрей Павлович был уверен, что я знаю, кем был мой отец, но скрываю это, почему и прозвал меня «скрытым курсантом». Вот такое вот!..

Потом, помолчав, прибавил:

— А у этого Вали Емельянова страшная судьба. Когда началась блокада, эвакуация, на огромную баржу погрузили несколько тысяч курсантов и выпускников морских училищ, и посреди Ладоги она разломилась. А на ней был Валя с женой и маленьким ребенком. И Валя попросил у командира разрешения застрелить свою семью: он знал, что он-то выплыл бы, он сильный, а жену с малышом ему не дотащить. Командир разрешение дал, и он застрелил сначала жену, потом ребенка, а потом уже застрелился сам...»

После я уехала в храм, сделала там все, что хотела и что могла сделать для Толиной души. А вечером прилетела из Греции Ольга (еще в 90-м она перебралась туда с мужем, кавказским греком по имени Одиссей), Анатолию Евстафьевичу — младшая дочь, а Толе — тетушка и самый близкий друг. Летела она по делам своей турфирмы, а прилетела — на похороны...

Еще через два дня были похороны. Хоронили Толю на Сосновском кладбище. Чтобы подойти к могиле, надо было подняться по пригорочку, пройти по неширокой тропке, и, чтобы на этой тропке разойтись, приходилось отступать назад, но Анатолий Евстафьевич был возле Толи неотступно. Нам с Олей и Одиссеем не всегда удавалось оставаться вблизи от Толи, но деда людской поток как-то обтекал, и он всегда оказывался вблизи внука и стоял, неотрывно глядя на него, потом на закрытый уже гроб, потом на землю, которой его засыпали, маленький, худенький, с пушистым венчиком волос, светившимся надо лбом, словно нимб...

Вечером того же дня он выехал в Севастополь — хоронить своего родного брата Бориса. Известие о его смерти пришло через два дня после смерти Толи, и пришлось просить немного задержаться с похоронами брата, чтобы смочь быть на похоронах внука...

В первое же воскресенье по возвращении из Севастополя они с Олей пошли в тот храм, куда ходил Толя. Оля не причащалась, а отец... причастился. В первый раз за минувшие восемьдесят семь лет. Он просто подошел к Чаше, и его спросили: «Вы исповедовались?» Он, как показалось дочери, стоявшей немного поодаль, даже не понял, о чем его спросили. И его причастили. Сам Господь его и исповедал, и причастил, неслышно указав священнику на венчик-нимб, светившийся над лицом Иова, многострадального и праведного.

В Страстную Пятницу (выпавшую в этом году на Толин день рождения) Оля улетала к себе в Грецию и просила захватить к ним утром попрощаться. В любое другое время быть в этот День не в храме и скорбеть о земном было бы непредставимо, — но так же непредставимо было сейчас не приехать...

С нею вместе летел отец: сажать там, в Салониках (тех самых первоапостольских Фессалониках!..), деревья... Последние годы он увлекался выращиванием кедров. Но, зная, что греческой жары эти сибирские произрастения не вынесут, решил посадить ореховые деревья. (На днях Оля звонила и сказала, что отец уже выкопал три огромных ямы, куда, прежде чем посадить деревья, навезет хорошей земли. Я не спрашивала, но почти уверена, что один орех будет в честь его Муси, второй — Тони и третий — Толи.)

16 апреля 2004, Светлая Пятница

*«Мороженое кончилось... Мороженое кончилось...»**

Возвращаясь вчера из гостей с душой, переполненной впечатлениями, думала о том, что, вот, утром сяду – и все это из души извлеку, облеку мысли и чувства в слова. И... сев утром к компьютеру, зашла вначале на форум – и увидела очерк Наталии Белоусовой «Экипаж машины боевой»!.. Ну, значит, Сам Бог велел рассказать и о моем «нестаром старике», в гостях у которого я вчера как раз и была.

Анатолий Евстафьевич кому-то из читателей, возможно, уже знаком по моему рассказу «Иов». Ему недавно исполнилось 94 года**, и как раз в тот день ему вручили долгожданные ключи от нового дома). Это отец моей дорогой Антонины, не раз

В гости я была звана по поводу символического новоселья. Символического потому, что, кроме явственной крыши над головой и груды еще не разобранный мебели и вещей, в этом доме пока еще ничего не было. Но свет и вода – то главное, без чего в наше время уже не мыслится человеческое жилье, – уже были, и, значит, можно было справлять новоселье, тем более что на носу был Новый год, а главное – на несколько дней приехала по делам из Греции младшая дочь Анатолия Евстафьевича Оля (о ней я тоже упоминала в своих рассказах о Греции).

И вот мы сидели за праздничным столом, скромным (по неустроенности нового жилья), но не без шампанского. «Как это, Новый год без шампанского!» – говорил Анатолий Евстафьевич, сосредоточенно откупоривая бутылку. И вот, наконец, – легкий дымок из мастерски вскрытой бутылки, тихое шипенье разливаемого по так хорошо знакомым синим чайным чашкам (когда-

* Фото и комментарии – здесь: <https://azbyka.ru/forum/xf-a-blog-entry/morozhenoe-konchilos-morozhenoe-konchilos.839/>

** А в ноябре 2016-го я имела честь быть в его доме по случаю 100-летия!

нибудь извлекут и бокалы, а пока...) шампанского, и: «С Новым годом!» Так что Новый год я уже встретила – в кругу людей, которых знаю с 17 лет, можно сказать – в семейном кругу!

Спустя какое-то время к нам присоединилась Лена, Олина дочь. В это время где-то совсем рядом заработала дрель. «Не знаю, куда от этого деваться! – посетовала Лена. – И днем, и ночью даже! Я же сижу дома за компьютером, занимаюсь делом, которое требует сосредоточенности, а под такую музыку это невозможно». Все мы принялись ее утешать, что же, мол, делать, новый дом есть новый дом, люди обустраиваются. Лена была безутешна. И тут я вспомнила рассказ одной своей хорошей знакомой о том, как, в мрачном предвкушении новогодней ночной пальбы, она пришла по подсказке сына... в магазин «Оружие» и потребовала наушники для стрельбищ. (Я живо представила себе, как на эту хрупкую интеллигентную женщину смотрели, раскрыв рты, бывалые мужики в камуфляже.) И я утешила Лену, пообещав ей прислать по почте название этих наушников. (Могу поделиться: Наушники Peltor Optima III (это максимальная степень защиты. Peltor Optima II – поменьше). Производство Швеции. Для работы на шумных производствах и аэродромах. Магазины «Охота/рыболовство» или «Оружие». Можно еще успеть купить.)

В это время где-то внутри дома раздалось какое-то странное завыванье. «Это пожарная сигнализация!» – упредил мой вопрос сидевший напротив меня Анатолий Евстафьевич. И дальше пошел фантастический рассказ. «На днях сижу дома, что-то делаю, – рассказывает он, – и вдруг явственно слышу где-то в глубине дома: «Сорок семь. Сорок семь. Сорок семь». Ничего понять не могу, почему "сорок семь"? И кто это говорит? И так было минут десять, потом стихло. На другой день слышу: "Мороженое кончилось. Мороженое кончилось". Ясно так говорят. Почему мороженое? Какое мороженое? И всё говорят и говорят. Ну, кончилось и кончилось!»

Но и это было еще не всё! «Тут внизу, в служебке, – продолжал Анатолий Евстафьевич, – живет узбек. Так вот, он пришел в наше ТСЖ и говорит, что ему нужен... живой петух. "Живой петух? – говорят ему. – Да где же мы его тебе возьмем? А зачем тебе?" "Это духи! – говорит узбек. – Это они воют! У нас верят, что от духов можно избавиться, только если зарежешь живого петуха..."»

Когда мы все отсмеялись, Анатолий Евстафьевич пояснил, что это завывание рождает сверхчувствительная пожарная сигнализация, которая строительную пыль (от перфораторов и т.д.) принимает за дым и, включаясь, так причудливо резонирует в бетонной коробке.

Было уже поздно, и я засобиравшись домой. «Я тебя провожу!» – сказал Анатолий Евстафьевич. И пошел – совсем уже маленький, со своим ставшим громадным на исхудалом лице осетинским носом... Когда подошла маршрутка, он порывисто меня обнял и расцеловал.

...Это тот самый Анатолий Евстафьевич Абаев, который был одним из организаторов знаменитой Керченской операции, который разминировал после войны Черное море, и в том числе наспигованную минами Новороссийскую бухту. Ходил гидрографом на знаменитом океанографическом судне «Витязь». Избороздил промерами камчатские воды. Несколько лет служил на Кубе. Оттуда привез кораллов, морские раковины, собственноручно добытые на дне Карибского моря. И чучело крокодилчика. «А крокодил-то цел?» – первое, о чем я спросила Олю, когда мы встретились с ней и вместе ехали в новый дом отца. «А как же! Упакован и пока живет в лоджии!» – с гордостью ответила она.

31 декабря 2011

*Посещение Господне...**

30 сентября мне позвонил Анатолий Евстафьевич, старый наш друг, чрезвычайно взволнованный, и стал говорить, что ему звонила из Греции Оля (дочь) и рассказала о том, какое случилось сегодня чудо с их родственниками, на несколько дней приехавшими в Грецию. Как они приехали в какой-то монастырь, как их благословил священник и какое потрясение они все испытали. В тот же день я открыла, в режиме черновика, новую запись, где в двух словах записала, о чем шла речь, и стала дожидаться, пока Оля вернется к себе в Салоники из очередной поездки с паломнической группой и расскажет мне все сама.

Но, пока она вернулась и сама мне все рассказала, пока она потом написала (не надеясь на свою память, я попросила ее коротко все описать), пока, наконец, села за рассказ я – прошло почти два месяца. Но чудеса (а случившееся было если и не из разряда чудес, то проявлением изобильной благодати) «срока давности» не имеют...

Итак, письмо Ольги, которое дополню несколькими фотографиями.*

«В Греции они были впервые, и я хотела начать их знакомство с ней с того, что, на мой взгляд, интереснее всего тринадцатилетнему мальчику: с исторической экскурсии по местам, связанным с Александром Великим. Но взрослые, Наташа и ее мама, захотели прежде всего поехать в монастырь Св. великомученицы Анастасии Узорешительницы. Так мы и сделали. Но, когда мы приехали, еще шла служба, народу было очень много, а храм небольшой, и, поскольку мои гости – люди не слишком воцерковленные, я решила пока что немного рассказать им о монастыре, и мы вышли на улицу. Расскажу заодно и тебе.

Монастырь Святой великомученицы Анастасии находится на полуострове Халкидики, недалеко от Святой горы Афон. По преданию, на этом месте во времена императора Диоклетиана была тюрьма, в которой томились христиане.

Святая великомученица Анастасия была родом римлянка. Отец ее был язычником, мать – тайной христианкой. Учителем святой Анастасии в юности был благочестивый и образованный христианин Хрисогон. Он утешал узников, говоря, что темнее всего бывает перед рассветом. Святая Анастасия тоже посещала эту тюрьму, утешала, исцеляла страждущих христиан. Своим подвигом святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так как разрешала от тяжких уз долговременных страданий исповедников Имени Христова.

В V веке мощи св. Анастасии были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм. В 888 году византийская императрица Феодора основала на месте бывшей тюрьмы мужской монастырь и привезла сюда мощи св. Анастасии – честную главу и часть ступни. Монастырь этот неоднократно разорялся и сжигался. Лишь в 16-м веке его удалось восстановить усилиями святого Феона, мощи которого и по сей день находятся в этом монастыре.

А мощи св. великомученицы Анастасии Узорешительницы, так чтимые всеми греками, постигла печальная судьба: в ночь с 22 на 23 апреля 2012 года они были похищены... Грабители взломали пять дверей...

Можно себе представить, какой траур переживает монастырь и все верующие!..

...Но вот из храма стали выходить люди, и мы вошли внутрь. Хотя служба закончилась, народу было много: должно было состояться Крещение. Пока шли приготовления к нему, я подошла к иеромонаху Хрисогону (получившему свое монашеское имя в честь учителя Анастасии!) и

* Фотографии и комментарии – здесь: [Посещение Господне...](#)

попросила благословить моих родных. Сказала, что это семья того самого убиенного Анатолия, моего любимого племянника и друга, о котором я всегда прошу его молитв: сын и жена с матерью...

Перед тем я рассказала им, как себя вести, испрашивая благословение: как поклониться священнику, как сложить руки, и т.д. Взяла руки Наташи и сложила их, как надо... Но, когда она подошла к отцу Хрисогону и он начал благословлять ее – она забыла все мои наставления. Она стояла, как светом и громом пораженная...

Потом подошла под благословение Наташина мама, женщина очень сильная, не страдающая сентиментальностью, но и она отошла от священника под большим впечатлением, вся в слезах и в радости.

Но самое удивительное было с Павликом. Отец Хрисогон обнял его – и мальчик тоже обхватил монаха руками, и так, обнявшись, они стояли долго-долго...

Когда мы, наконец, вышли из храма, то никуда уже не поехали. При монастыре есть кафе, в котором все греки после службы пьют кофе и общаются, и мы тоже сели пить кофе. Мои родственники были в состоянии между небом и землей и ни о чем другом не могли ни думать, ни говорить. Наташина мама сказала, что отец Хрисогон очень красивый, на что Наташа, молодая и тоже красивая женщина, ответила, что она этого даже не заметила...»

...Они приехали на пять дней. Уезжая, сказали, что обязательно приедут снова в следующем году, но только на этот раз – уже на месяц.

Недавно Оля навещала отца, и я, как всегда в ее приезды, с ними виделась. «Как они все? – спросила я. – Еще помнят, что с ними случилось в Греции?..» «Ты знаешь, что они мне рассказали? – ответила Оля. – На фотографиях у Павлика над головой видно какое-то сияние...» «Они в Греции его фотографировали?» – «Нет, здесь, недавно».

После этого разговора я и села, наконец, за этот нелегкий рассказ...

...Толю, сына Антонины (Царство ей Небесное!), друга моего сердечного, старшей сестры Ольги, я знала всю его короткую жизнь. Жену его Наташу и ее маму видела только один раз в жизни, на похоронах Толи. Павлика же, Толина сына, не видела ни разу: когда убили отца, ему было 4 года и на похороны его не взяли. Но опосредованно знаю о них достаточно, для того чтобы испытывать трепетное удивление перед непостижимым Промыслом Божиим об этих людях: неверующими их не назовешь, в храме они бывали время от времени и до Греции. Но для Посещения Своего Господь избрал именно эту далекую страну и именно этого священника, даже не русского. Притом посетил их *всех вместе* – чтобы, если один забудет, другие сказали: «А помнишь?..»

Хотела на этом и закончить, но вспомнила одну запись из своего дневника 2006 года:

«Павлик, сын нашего Толи, пошел в первый класс. Недавно учительница предложила детям написать слово или несколько слов, самых значимых для каждого. И Павлик написал нечто, отчего та расплакалась: «Папа. Россия. Род». В этом «символе веры» семилетнего мальчика самое поразительное — это, конечно, слово «род».

Об этом рассказал мне Анатолий Евстафьевич, его прадед. И добавил: «Павлик, когда отца убили (а ему было тогда четыре года), сказал: «Я тоже хочу умереть: я закрою глазки, а потом открою и тихонько посмотрю, как там папа».

И сейчас я подумала, что тогда, в греческом монастыре, он и увидел, *как там папа*.

«*Азь есмь съ вами*»...

В конце 2007 года у меня обнаружили опасную внутриглазную опухоль. Профессор из Военно-Медицинской академии, к которому меня направили на консультацию, на мой вопрос, сколько

у меня времени, сказал просто: «Полгода». Через два месяца, на Николу Зимнего, мне подшили так называемый аппликатор, который десять дней облучал мой глаз, потом его сняли (это была вторая операция). Через год с небольшим меня снова положили в больницу для повторного облучения. И вот, через три с лишним года после приговора того профессора, я все это пишу. Не вдаваясь в подробности, засвидетельствую великую силу молитв. Молитвами моего священника и друзей моя «злая» (выражение лечащего врача) опухоль не исчезает, но и не растет, так что, еще одним чудом Божиим, продолжаю заниматься своим любимым делом. Все это я говорю только для того, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах произошло мое знакомство с рабой Божьей Людмилой...

...Февраль 2009-го. «Плановая операция», повторение прошлогодней попытки одолеть мою опасную опухоль.

С собой у меня – иконочки, которые я беру в больницу: миниатюрные триптихи «Спаситель – св. вмц. Варвара – свт. Николай Чудотворец» и «Споручница грешных». Кроме них, на этот раз я взяла с собой и икону «Азь есмь съ вами, и никтоже на вы». Богородице с Младенцем в белой рубашечке, с распахнутыми навстречу Руками, изображенным на ней, я молюсь каждое утро о сыне. Эту иконку я поставила на тумбочку, и ярким радостным пятнышком она осветила (осветила?..) нашу палату.

«И вот я так и вижу ее – селедочку, а на ней – лук, тоненькими колечками, представляете, и еще – ломтиками нарезанную картошечку, и все это полито маслицем, – и рюмочку запотевшую!.. С лета ведь маковой росинки во рту не было!» Это говорит в момент, когда я в первый раз вхожу в палату № 15, высокая, худая, с изможденным лицом, с волосами почти под нуль, женщина неопределенного возраста. «Пойду, отравлюсь!» Закончив этими словами свой монолог, она берет сигарету и идет курить.

И вот цена первому впечатлению, первому нашему суждению (осуждению) о людях: летом, рассказывает она позже, – внезапный подъем температуры, экстренная госпитализация, диагноз – воспаление легких, при врачебном осмотре выявляют огромную опухоль в боку. Рак кишечника. Радикальная операция. Реанимация, химиотерапия. Выпали волосы, исхудала до 48 кг (при росте 170 см...). Томография показала метастазу в глаз. Так она попала сюда, в «двойку» (Городскую больницу № 2).

У нее – тот же диагноз, что у меня (только опухоль побольше), и сейчас ей подшит тот же бета-аппликатор, который в прошлом году подшивали мне и который, после того как снимут у нее, снова поставят мне. Так что мы с ней – «молочные сестры по аппликатору», как мы определили наше родство. К тому же мы еще и тезки.

Мы находим почему-то все больше и больше забавного во всех этих совпадениях и очень много смеемся. Не помню, когда в последний раз я столько смеялась, как здесь, в палате № 15...

В ночь на пятницу, перед операцией, Л. вдруг дает свечку – 39,5. Но аппликатор все равно оставлять дольше положенного нельзя, он просто выжжет глаз. И вот сначала увозят ее, потом, часа два спустя, везут и меня. Кто-то говорит мне в коридоре: «С Богом!», и я вижу больную, которую вчера и я напутствовала тем же словом, только я ее еще и перекрестила (сначала просто немного подняв руку со сложенными пальцами, как бы испрашивая ее разрешения на крестное знамение, и, получив в ответ легкий кивок головой и благодарную улыбку, сотворила его...).

Возят в операционный блок, и я вдруг замечаю над дверью «предбанника» Спасителя и Пресвятую Богородицу. В прошлом году Их не было. От радости я даже голову приподняла. «Тиха!!! Ввожу!» – страшно кричит операционная сестра. И я вижу у себя в вене шприц (когда только она успела его воткнуть?..) – и, не успев даже сказать про себя: «В Руце Твои,

Господи...», отключаюсь...

К вечеру отхожу от наркоза. Третья наша, Г.И., выписалась, и до понедельника мы будем одни. Л. тихо рассказывает о себе, о своей жизни, такой же нелегкой и путаной, как у всего нашего поколения (она на десять лет помладше, но это не принципиально). Институт, работа в КБ, потом работы не стало, пошла в торговлю, увидела жизнь с изнанки. Это и чувствуется во всей ее повадке: в угловатых, резких движениях, язвительном, нервном лице, острым языке, грубоватом юморе...

И вдруг она задушевно говорит: «Мне так плохо... Голова болит, спина болит, тошнит... Знаешь, я бы сейчас больше всего на свете хотела подержать за руку своего сыночка...». И рассказывает, как много лет назад окрестила его (ему тогда было 16 лет) перед предстоявшей ей очень серьезной операцией. И, когда она заговаривает о своих родителях (их давно нет здесь), мне уже легко спросить, молится ли она о них. «Ну как... Захожу иногда в церковь, ставлю свечки, хожу к ним в колумбарий, говорю с ними, рассказываю всякие новости – о сыне, о внучке...». И тогда я объясняю ей, что свечки – это больше для нашего утешения, а они, наши усопшие, ждут от нас совсем другого – молитв. «Когда они у тебя умерли?» – спрашиваю. «Точно не помню, но что в ноябре, оба, – помню». – «Ну вот, в ноябре как раз Димитриевская Родительская суббота, очень хорошо их поминать. И в дни именин обязательно надо. Как их зовут?» – «Василий и Александра». – «Про Александру я очень хорошо помню – 6 мая, Василий тоже где-то в это время, я потом посмотрю в календаре. Ты уже будешь дома, сходишь в церковь, подашь о них записочки». – «Да я ведь ничего этого не знаю: приду, свечку поставлю – и привет!» – «Я тебя научу, что и как сделать. А если вдруг еще не оклемаешься, – прибавляю я, потому что на самом деле, как Л. ни хорохорится («Это чтоб я да не выжила?!»), всё у нее очень серьезно, – тогда я вместо тебя подам, Господь разберется». Слушает очень внимательно, а потом вдруг говорит: «То-то обрадуются! Они там с ума сойдут от радости!» Вечером звонит сыну, просит принести из дома крещенской воды (мою мы уже выпили). «Дома у меня ее много, я просто не догадалась сюда ее взять», – говорит Людмила. Такая вот «неверующая»...

В понедельник Л. вместо выписки домой (с глазом-то все дела уже закончены) переводят на пульмонологию: управляться с пневмонией, не леченной из-за более грозных онкологических дел. Дарю ей свою любимую «Споручницу грешных», купленную когда-то в Святогорском монастыре, даю три простейших молитовки – Господу Иисусу Христу, Богородице и Ангелу Хранителю, объясняю, когда и как молиться («А креститься можно?») Поцеловались. «Христиане три раза целуются! – с улыбкой говорю я. И уточняю: – Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!»

Вечером захожу к ней. Завтра мне предстоит вторая операция, будут снимать аппликатор. «Боишься?..» – спрашивает Л. «Нет», – отвечаю. Я действительно не боюсь. Сказано же: «В Руце Твои...». «Ну, хоть немножечко-то боишься?..» И только для того, чтобы она не расценила мои слова как браваду, говорю: «Ну, разве что немножечко...».

«Давай поцелуемся! – говорит она перед моим уходом. И прибавляет со значением, как заговорщица: – Три раза! С Богом!»

После второй операции дня три я была не в силах подняться на три этажа к Л. Но мы все время перезваниваемся. И каждый раз в конце разговора: «Целую. Три раза! С Богом!». Удивительно, как смиренно и кротко, при ее независимом нраве, принимает она мое «душепопечение»... Как раз только что я переслушивала проповеди митрополита Антония (читать я смогу лишь месяца через два), и одна из них снова меня поразила. «Если можешь *хоть сколько-то* веровать, – напоминает он сказанное Христом отцу отрока, одержимого бесами, – все возможно верующему!» Только бы не загасить в Л. эту искорку веры назойливым ее раздуванием, от которого так настойчиво предостерегает владыка! Не заглушить бы звучащее в ответ Господу: «Верую, помоги моему неверию!»

Договариваемся на прощание, что, как только она будет в силах, я свожу ее в наш храм, исповедаться и причаститься. («Я ведь ни разу еще не исповедовалась!..»)

Вторая моя иконочка, с Господом Иисусом Христом, св. великомученицей Варварой и Свт. Николаем Чудотворцем, тоже обрела новую хозяйку. Это Н., полная женщина лет 55-ти, с добрым лицом, почти глухая. У нее уже неоперабельная глаукома на обоих глазах, и ее пробуют лечить консервативно. Она очень расстраивается и переживает, и поскольку словесно утешать ее трудно, я просто обнимаю ее крепко... И она ответно припадает ко мне, с сияющими от слез глазами. Господи, как же легко убираешь Ты перегородки и условности между людьми Твоими, даже такими разными!.. Потом, как бы в подтверждение своих слов и жестов, я даю ей свою иконку. «Ой, да у меня дома много икон!..» – смущенно говорит она. «А здесь, – отвечаю, – нет». Н. убирает икону в тумбочку, а назавтра, уходя домой, я вижу ее стоящей наверху.

...Еще при поступлении в больницу мне надо было повторить В-сканирование глаза, и, когда я сидела у кабинета в ожидании врача, в компании еще нескольких больных, подошел человек лет сорока пяти, по виду узбек, в бархатной тюбетейке, и приятным голосом негромко спросил, кто последний. Он сразу привлек мое внимание своим красивым умным лицом. (Узбеки – вообще очень красивый народ.) Про себя я назвала его «имамом». И вот сегодня вечером, совершая обычную прогулку по круговому коридору, куда радиально выходят двери множества кабинетов и отделений, я вдруг снова увидела своего «имама», молившегося в сторонке на разостланном на полу коврик. Я тихо прошла мимо, чтобы невзначай не спугнуть его вечерний намаз...

И вот завтра – домой. В последний раз стою перед темным окном, потихоньку молясь перед сном. Мои соседки уже спят. Уже лежа, осмысляю свои двенадцать дней в этом огромном доме скорбей, душевных и телесных, – и надежд. «Господи! – думаю я. – Ты все это время был рядом, близ, рукой дотронуться, так близко, как в обычной жизни ощущаешь лишь в редкие минуты!..»

И сквозь теплые слезы говорю Ему, лепечу слова, которых даже не ждала от себя... И молюсь обо всех, здесь остающихся...

...Звоню Л.: «С праздником!» – «А какой сегодня праздник?» – «Твоей иконы, “Споручницы грешных”. Молись Богородице, проси, о чем хочешь...» – «Нет, я просить стесняюсь. Я только благодарю...» Благодарит Бога («Ты знаешь, мне от твоей просфорочки полегчало!»).

Благодарит отца К. за его молитвы, я просила его молиться о ней в решающие дни («Прямо чудо какое-то, не знаю, как твоего батюшку и благодарить!»)

Ведь *требуют* – от Господа, от Матери Божией: «Разменяй квартиру! Поменяй соседей! Смени начальника! Исцели!» А она, живого места на ней нет, – *просить стесняется, только благодарит*.

Четверг Крестопоклонной был, можно сказать, великим: я привела Л. в наш собор. И отец К. ее исповедал (и это было впервые в ее жизни!), и отпустил ей грех, который много лет не давал ей покоя, а потом мы с ней соборовались. И она выдержала. А боялась, что не высидит...

И вот мы идем уже домой, и я говорю, что теперь нужно побывать на Литургии и причаститься. «Это что же, не есть, не пить?!» Говорю, что да, не есть, не пить, прийти натошак. «И не курить, что ли?!» – «И не курить». «Не, ну тогда я просто не пойду! Я не смогу – не выкурить сигарету, не выпить чашку кофе!.. Нет!» – «Ну не пойдешь, а кому хуже-то от этого будет? Тогда зачем ты и сегодня сидела здесь два часа? Это ж тебе нужно, твоему же здоровью!» – пускаю я в ход эти прямолинейные аргументы. «Ну и пусть!» Тогда я делаю не совсем честный ход и проникновенно говорю: «Думаешь, я не понимаю, как это тяжело для курильщика – не покурить с утра? Я помню, как перед собеседованием с отцом Г. (он меня потом крестил) мне до двенадцати пришлось не курить. Я *очень* хорошо это помню. Но я тогда в первый раз совладала с собой, и это оказалось возможным!» Какое-то время мы идем молча,

а потом Л. с ненавистью говорит: «Ну, хоть чашку-то чаю можно выпить?!» Сторговались на том, что выпьет она этот чай не позднее половины восьмого (понимаю, что не имею никакого права «благословлять» это нарушение совершенного Евхаристического поста, но ведь, в конце-то концов, не человек для субботы, да еще и такой больной и ослабленный человек...). В результате вечером перед воскресной службой она мне звонит и говорит: «Я решила и чай не пить...» Господи, Ты взял это Свое бедное чадо за руку – и ведешь, и уже не отпустишь...

...И вот в службе наступил миг, когда все потянулись вперед, к алтарю, и я сказала: «Пойдем и мы, сейчас вынесут Чаши с Причастием». И она пошла, держась за мою руку, как ребенок, а когда идти рядом стало тесно, ухватилась двумя пальцами за край моего жакета... едва ли не как за край ризы Христовой, а потом – причастилась... Первый раз в жизни.

В Великий Четверг (2009-го) вместе со мной – слава Тебе, Господи! – в храме снова была моя болящая Л., а с ней – Н., ее родственница, которая давно хотела исповедаться и причаститься, но все стеснялась. И вот она стояла рядом со мной после первой своей исповеди – и ей предстояло первое в жизни Причастие!.. Когда запели «Верую!» – мне вспомнился вдруг рассказ епископа **Василия (Родзянко)**, сына эмигрантов первой волны, о том, как его потрясло мощное пение «Символа веры», услышанное в одном из московских храмов по приезду в Россию. И когда я представила, с каким чувством воспринимает сейчас это народное пение Н., – мне перехватило дыхание, и я долго не могла петь...

Каждое утро, молясь своей святой мученице Людмиле, прошу ее «молиться ко Господу нашему и Пресвятой Богородице и о другой соименнице твоей, тяжкоболящей Людмиле»... У нее — дела неважные: метастазы. Снова проходит курс химиотерапии. Первый сеанс прошел очень тяжело: все время закупоривались вены... Но она и об этом рассказывает все с тем же своим неистребимым юмором. От этого еще больше ее жалко. И, когда, 23 июля, я подавала на сорокоуст о упокоении души приснопамятной в тот день Антонины, целожизненного моего друга, подала и о здравии «тяжкоболящей Людмилы» (с такой пометой и попросила записать), с того же числа: в тот день ей предстоял второй сеанс.

Когда после этого отлежалась положенные два дня, она позвала с собой на дачку в Павловске, мы давно туда собирались, да все не совпадали во времени и пространстве. И вот совпали. «Посмотри, видишь? — говорит Л. и протягивает вперед обе руки. — Смотри: вот эта рука — после первой химии, а эта — после второй. Видишь разницу?» Левая рука до локтя — вся красная, с синюшными вздутиями, правая — рука как рука. Она и до этого, по телефону, говорила мне, что второй сеанс прошел легче («Я думала: это, наверное, там Людмила обо мне молится!..»). «Я, конечно, о тебе молюсь, — сказала я, — и во время первого сеанса я тоже о тебе молилась, но со второго сеанса о тебе начала молиться и Церковь: я о тебе на сорокоуст подала». Что такое «сорокоуст», Л. не очень знала, но сила *церковной* молитвы была ей явлена предметно и несомненно...

Для нее этот клочок земли, с то тут, то там прихотливо разбитыми клумбами и несколькими кустами смороды по периметру, — оазис жизни, здесь она буквально оживает, она бы отсюда и не уезжала никогда, но в крохотной, размером с нашу кухню, хибарке нет ни печки, ни электричества. Живет, пока тепло, радуется своим цветам. «Вот этот, — говорит она, показывая на диковинный куст каких-то белых цветов, — в ту осень аж третий раз зацвел, в октябре, представляешь?! Я ему говорю: да спасибо тебе, мой родной! и так ты меня два раза порадовал, теперь отдыхай, ты уж устал! Мне говорят: что это у тебя так все растет? А я говорю: потому что я с ними со всеми разговариваю, я их люблю!»

У святителя **Луки (Войно-Ясенецкого)** есть замечательная мысль: «Вечером цветы поворачиваются к солнцу, это их вечерняя молитва. Утром — на восток, это утренняя молитва. Благоухание — их кадильница. Совершенно очевидно, что растения обладают низшей формой Святого Духа — энергией жизни». Эта энергия жизни, только, конечно, более

высокого порядка, в высшей степени свойственна и моей Людмиле. Так что на ней, быть может, она еще и объедет свою онкологию, и надежда, как ей и положено, умрет последней... *Азь есмь съ вами...*

28 апреля 2011

*Хоспис**

«*Азь есмь съ вами.. (3)*». При этой моей давней, три с половиной года ей, записи стоит метка «Чудеса Божьи», которая за это время не только не потеряла свою справедливость, но и обрела еще большее право на существование. «Потому что речь в ней идет, – как писала я тогда, – не столько о каком-то конкретном “чуде Божьем”, сколько о чуде человеческого духа. Хотя оно и не было бы возможным, если бы его не подпитывал Дух Божий...» И, добавлю сегодня, милость Божия...

Но всему есть своя мера и предел. Всё, что могла сделать медицина – «химии», облучения, – сделано. Остались только обезболивающие. Их моя Людмила использует очень рационально и грамотно: как только замечает малейшее облегчение, уменьшает дозу или количество приемов. «Наркотики всегда успеются. Пока могу терпеть, буду терпеть».

В Великий пост хотела как-то умудриться приехать пособороваться, но, увы... Резко «поплохело» (ее словечко): начались невыносимые боли. «А знаете что? – сказал отец Константин, когда узнал, что она не сможет быть на Соборовании. – Мы сейчас, совершая Соборование, будем молиться и обо всех тех, кто хотел бы, но не смог прийти. Помолимся и о Людмиле». Я ей ничего об этом не сказала. Соборуют у нас в храме по четвергам. В пятницу звоню: «Ну, как ты?» – «Да ты знаешь, как-то вчера вечером вдруг легче стало...» – «А ты знаешь, почему?...»

На этом, на благодарности «Боженьке», Людмила моя продержалась еще несколько месяцев. Даже выбралась пару раз на свою «фазенду». Но в августе все же приехала с сыном забрать вещи, попрощаться со своими «девочками», обитательницами крохотных самопальных «скворечников». «Ты представляешь... Уезжать, после стольких лет, точно зная, что никогда больше сюда не приеду!...» И «девочки» тоже точно знали, что никогда больше ее не увидят. Живой.

Так и вижу их всех... Я ведь не раз там бывала и сидела с ними за «общей трапезой», куда каждый нес все, что у него есть...

Какое-то время спустя – звонок: «Знаешь, я на Березовой встретила врача, который меня еще с той больницы, где у меня опухоль-то нашли, помнит, так у него аж глаза на лоб полезли: «Как?! Вы еще живы?! Пять лет с третьей стадией?»

В конце сентября я собралась в Знаменский скит. Перед отъездом позвонила Людмиле: «Ты меня дождись!» Сказала в шутку: с ней можно так шутить, и даже нужно, ей от этого легче, чем от сочувственных вздохов. Раза два звонила ей оттуда, но никакой уверенности в том, что, вернувшись, застану ее еще здесь, не было.

«Я еще живая! – услышала я, позвонив ей по возвращении. – А я в хосписе. Как раз с сегодня!» Это был понедельник 14 октября, праздник Покрова. И день рождения Людмилы.

...«Я технарь!» – всегда говорит она о себе. Ни в какие богословские или интеллектуальные тонкости она не вдается. Обожает sudoku – от компьютера дети (сын с невесткой) ее отлучили. Усвоила лишь несколько простых молитв. Но всегда – сколько я ее знаю, а я узнала ее именно

* Фотографии и комментарии – здесь: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/xospis.1665/>

уже «тяжкоболящей», здоровой я ее не застала – благодарит Господа! Наверное, поэтому отец Константин как-то особенно тепло к ней относится. И, когда он узнал, что Людмила уже в хосписе, сказал, что обязательно ее навестит и причастит. Как только сможет. Я сказала об этом Людмиле. Очень обрадовалась, а потом спросила: «А ты с ним придешь?» – «Как батюшка благословит». Батюшка благословил.

В тот день, когда он совсем уже к ней собрался, не получилось (жизнь священника непредсказуема...). Чтобы скрасить ситуацию и заодно разведать дорогу, я поехала к ней одна. Был уже вечер (что отец К. не сможет приехать, выяснилось лишь к вечеру), и, поблуждав немного в темноте, я увидела ярко освещенную надпись: «Хоспис». До закрытия оставалось 15 минут, и сотрудница, хотя и впустила, сказала, что через 10 минут она закрывает двери.

...Это на моем церковном веку был уже третий хоспис... Мне здесь, если можно так выразиться, «понравилось» больше, чем в двух предыдущих. В палате всё как-то «камерно», по-домашнему: всего три кровати, две из них – у окошек (палата угловая), моя Людмила тоже лежала уютно, у стенки в уголочке. Но хоспис есть хоспис. «Она в коме...» – тихо сказала Людмила о своей соседке, лежавшей в глубоком забытии, со знакомым уже мне особым дыханием...

...Когда я уходила и уже спускалась по лестнице, мне повстречалась другая сотрудница, спросила, кто я, не сестра ли больной, я сказала, что нет, просто мы вместе лежали в больнице. «Ну, с Богом!» – сказала она. «С Богом!» – ответила и я. И вдруг вспомнила, что забыла оставить Людмиле платок: она очень переживала, как же без платка причащаться будет. Сестра, к счастью, еще не успела уйти. «Подождите, пожалуйста! – остановила я ее. – Я платочек забыла больной оставить, а то батюшка придет...» Она ко мне немного спустилась, взяла платок и, уже почти войдя внутрь, обернулась ко мне и сказала: «Чудно! "С Богом!" – и про платочек вспомнили!» Я молча улыбнулась, а она прибавила, уже как своей: «Ангела Хранителя!» Того же от души пожелала ей и я. И ушла с радостным каким-то ощущением, что всё будет здесь хорошо, насколько вообще что-то может быть хорошо в хосписе.

Назавтра на соседней с Людмилой кровати уже сидела другая больная, грузная пожилая женщина (хоспис – быстро меняющаяся реальность...) «Кто хочет исповедаться и причаститься?» – приветливо поздоровавшись со всеми, спросил отец Константин и повернулся к ней. «Не приставайте ко мне!..» – неожиданно ответила новая больная и даже отмахнулась от него рукой. Третья же больная, тоже, как оказалось, Людмила, так же неожиданно (против высказанного ею вчера моей Людмиле нежелания) согласилась...

На время исповеди я вышла, а спустя какое-то время, увидев, что в палату уже заходит молодая женщина, как оказалось, падчерица «другой» Людмилы, зашла и я. Отец Константин читал молитвы, причастницы слушали лежа, мы с падчерицей – стоя.

Когда всё совершилось, священник сказал: «Ну, Людочки, поздравляю вас с Причащением Святых Христовых Таин! Теперь – всё в руках Божиих, как Он рассудит. В любом случае это будет благо для вас. Примите спокойно и благодарно любую Его волю».

«Приходите к нам в Троицкий собор, – это уже падчерице, явно равнодушно присутствовавшей при Таинстве. – Если захотите со мной поговорить, спросите отца Константина, я буду рад».

«Отец Константин! – раздался вдруг громкий возглас, и в палату вошла сотрудница. – Ну, вы подумайте! Вы же мою внучку крестили, у вас в соборе!» Между ними завязался короткий разговор – про внучку, про хоспис и работу в нем, а потом батюшка сказал: «Да если вы здесь хотя бы просто честно несете свое послушание, то, думаю, уже этого достаточно для спасения. Помощи вам всем от Господа!» «Вы знаете, – смущенно сказала сестра, – мне одна больная

даже руку поцеловала...» «Конечно! Вы же все здесь как священнослужители!»

Пора уже было идти – и отца Константина ждали другие дела, и причастницам надо было дать покой, – но, подойдя к другой Людмиле попрощаться, он увидел на ее тумбочке какую-то продолговатую коробочку, оказавшуюся подарочным набором со Святой Земли. «О, что у нас тут?! Елей! Святая вода! – воскликнул батюшка, разглядывая содержимое коробки сквозь прозрачную пленку. – Вот ведь: кто-то старался, вёз – и так и лежит, даже не открытая! Можно, я открою? Вам не жалко?» И, не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, он решительно разорвал упаковку и, достав бутылочку со святым елеем, стал нас всех помазывать... И одну Людмилу, и другую, и меня, и сестру, еще стоявшую в дверях. «Давайте и вас помажем», – сказал он, подойдя к Марии, новой больной. И она тоже смиренно подставила лоб...

Я попрощалась со своей Людмилой, потом подошла к другой и сказала: «Знаете, у вас совсем другое лицо стало!» Лицо у нее было все такое же бледное, но теперь какое-то похорошевшее, нежное и ясно-прозрачное... как хороший цветочный мед... «Я очень, очень рада!» – светлым, глубоким голосом ответила она. «Давайте мы с вами прощаемся, по-христиански!...» – сказала я, наклонившись к ней. «Давайте!» И мы похристовались.

...Когда шли обратно, отец Константин сказал: «Может быть, Господь только и ждал, когда ее причастят. Ведь с 1990 года у нее онкология...»

Так оно и вышло. В эту ночь другая Людмила впервые спала тихо, не кричала, рассказывала моя Людмила. «На следующую ночь, правда, кричала ужасно, никто спать не мог. Под утро заснула – и к обеду тихонечко умерла. У нее муж сидел, так даже не заметил.»

«А Мария не жалела, что отмахнулась от отца Константина?» – спросила я потом у моей Людмилы. «Жалела. Спрашивала, когда еще придет батюшка Константин. Я ей сказала, что уж сюда-то больше не придет: скоро, если Бог даст, пойду домой». – «Зря я так...» – вздохнула она. «Конечно, зря. Ты же видела, как у нас тогда в палате потом было тихо. Все ночью спали как убитые, даже в туалет не вставали, и Людочка, а она перед тем две или три ночи кричала, тоже спала, и даже ты, хоть и не причащалась». – «Да знаешь, в чем исповедаться-то, у меня особых грехов-то и нет... Ну, аборт делала, так в мое время все делали...» (Этой Марии 82 года.) Я ей сказала, что не только аборт грех; вот, едешь ты автобусе, и кто-то тебе на ногу наступит, а ты про себя подумаешь: чтоб тебе провалиться! Это ведь тоже грех!.. Ну, не расстраивайся, тут приходит какой-то другой батюшка, может, ему исповедуешься да причастишься...»

И в пятницу пришли две женщины, сказали, что завтра придет батюшка, и если кто-то хочет «покаяться» («А если я хочу только благодарить Бога?» – спросила Людмила. – «Нет, благодарить Бога нельзя, нужно только каяться») и причаститься, нужно записаться. Мария записалась. Назавтра пришел батюшка, но причащать ее не стал: «Ничего не знаете! Ни что такое Причастие, ни про Троицу ничего не знаете! Ни грехов своих! Подумайте, я через неделю снова приду». И ушел.

«Ни за что! – сказала потом Мария. – Даже слышать больше не хочу!»

«Предбанник смерти». Так определила хоспис моя Людмила. Сказанные здесь жесткие слова звучат особенно гулко. И, если их не смыть покаянием, они уйдут с человеком в вечность. Страшно мне стало за эту Марию. Кто она мне? Никто. Я и лицо ее даже не помню. «Людочка, – попросила я свою Людмилу, – ты с ней поговори! Нельзя ко всем своим нераскаянным грехам прибавлять еще и осуждение священника! Ведь и его тоже можно понять: ты хоть под старость лет прибилась к Церкви, но тебе-то 60 с небольшим, а твоей Марии – 82! Ну ладно раньше, но сейчас-то только уж совсем ленивый живет так, как будто Церкви нет!» – «Да я всё понимаю, но только она больше про это всё и слышать не хочет. Наотрез! И навредить боюсь: я ведь тоже

не очень-то много знаю!» – «Хорошо, – сказала я. – Тогда я постараюсь к ней сама прийти поговорить». Катехизация в хосписе...

Этот разговор с Людмилой был в воскресенье. До пятницы, когда снова придут «тетеньки» (ироническое словечко Людмилы), было еще четыре дня. На понедельник у меня еще задолго до всех этих событий было запланировано одно абсолютно неотложное житейское дело. Вторник и среда были днями самой дорогой для меня памяти. Оставался только четверг. Но и на четверг выпало продолжение житейского дела, от которого я освободилась только к вечеру...

«Она же сама отказалась от милости Божьей... – сказал отец Константин. – Теперь уж как Господь рассудит. Будет на то Его воля – и исповедуется, и причастится. Самое-то главное, конечно, – в том, чтобы она ушла примиренная...»

Но, придя в пятницу, «тетеньки» сказали, что в эту субботу батюшки не будет, только через неделю... Представляю, как бы восприняла это Мария, если бы я все же к ней выбралась, поговорила с ней по душам, настроила на общение с батюшкой – а он бы и не пришел... Уйти с обидой уже вообще на Церковь было бы, наверное, еще хуже, чем «просто» с осуждением конкретного батюшки...

Как раз в эту субботу к Марии пришли сначала внук с девушкой, она смеялась, шутила с ними, после них пришла дочка, принесла лимонов, Мария с удовольствием их поела, густо посыпая сахаром, а потом повернулась на бок, к дочке спиной, и заснула. «Знаешь, – рассказывала мне Людмила, – у нее ведь огромный живот, грыжа у нее там, а вообще у нее рак легких, и вот этот живот все время вздымался, даже со спины было видно. И вдруг смотрю – перестал вздыматься. Я дочке сказала, та посмотрела внимательнее, а уже всё...»

...Больше всего, рассказывая об этом (а не рассказать не могла, потому что тут есть над чем поразмышлять...), я опасалась дать кому-нибудь повод сказать: «Ну, надо же, какой хороший этот ваш отец Константин и какой нехороший тот батюшка!» И тут мне, чудом каким-то, вспомнилась одна давняя запись отца Константина, **Духовничество на Руси**, где фигурируют два типа священников – отец Кирик и отец Нифонт. Они всегда жили, и до сих пор живут, и, наверное, будут жить в Церкви всегда, просто одним Господь посылает отца Кирика, другим – отца Нифонта. Ему виднее. Кто-то пропадет без Нифонта, кто-то – без Кирика. Мария же «отмахнулась» и от того, и от другого...

И еще: «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалю. Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. ... Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9, 15-16, 18).

И еще: «Господь долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление» (прп. **Амвросий Оптинский**).

Но предоставляю бедную Марию милосердию Божью и перейду к размышлениям о хосписе в «Дневниках» отца Константина Пархоменко:

«И тут с большой силой подумалось, что ведь в каждую минуту, когда мы отдыхаем, гуляем, наслаждаемся жизнью, кто-то в муках доживает последние дни, часы. Вспомнил, что как-то в течение нескольких недель подряд посещал хоспис, недалеко от нашего собора. Одну и ту же палату, в которую привозили умирать. Беседуешь с женщинами, ободряешь, смеешься вместе с ними, они шутят, хотя прекрасно знают, что жить осталось день-два-три. Через неделю приходишь в эту же палату — все новые. Прежние умерли. Еще через неделю — опять новые. Чаше надо думать о соседстве нас, живых, благополучных, со страдающими и умирающими».

Как-то раз – было это в те времена, когда я «прорабатывала» тему смерти и батюшка иногда

брал меня с собой, – он взял меня в этот хоспис. Родные попросили его причастить умирающую по имени Валентина. В палате было человек шесть, и отец К. говорил им какие-то теплые, простые слова, они растроганно слушали... Валентина была еще в полном сознании, но говорить уже не могла, и когда я подошла к ней попрощаться, она улыбнулась мне и взяла мои руки в свои – теплые и мягкие.

Через какое-то время я спросила отца К., как Валентина. «Она умерла, назавтра же...»

А мы... Вот я перечитала сейчас цитату из священнического дневника – и вспомнила об этой Валентине. Где-то с год я о ней и об Александре, к которому мы тогда поехали после хосписа и который тоже, исповедавшись и причастившись, назавтра умер, — молилась, а потом постепенно забыла, как забыла и об этом хоспесе. А он... никуда не делся, и по-прежнему в нем каждый день умирают люди... Вот об этом-то отец К. и говорит...

Что такое хоспис? Больница, но, в отличие от обычных больниц, куда поступают на излечение, сюда люди ложатся умирать, и они это знают, никаких иллюзий у них нет. Не всегда, правда, это происходит «с первого захода», иногда больные, отдохнув немного (максимальный срок пребывания в хоспесе – 28 дней) от болей, возвращаются домой. На какое-то время.

«В среду выписка. Надо сестрам розы подарить. Я ведь здесь навсегда прописалась. Я как Карлсон, помнишь? "Я уезжаю, но я еще вернусь!" Домой приеду – не сразу тебе позвоню: к обеду только освобожусь – с котом мириться надо! Я, как возвращаюсь из больницы, он ко мне задом садится, только искоса на меня посматривает. Я ему говорю: "Что, Тиша, тебя здесь обижали?" – "Мяу!" – "Тебя здесь били?" – "Мяу!!" – «Тебя не кормили?» – "Мяяяу!!!"» (Конечно, никто его не обижал, никто не бил, голодом не морил... но как на свете без любви прожить!) «Так что к обеду только освобожусь!» Хохоchet.

Дома. И уже продумывает, как она приедет в собор. К «Боженьке». Поблагодарить.

15 ноября 2013

Не случилось. Через несколько дней моя Людмила снова оказалась в хоспесе. Я была у нее 26-го, она уже не отвечала, но, когда, уходя, я трижды поцеловала ее и сказала: «Три раза! С Богом!» – улыбнулась самыми кончиками губ... А 28-го, в первый день Рождественского поста, ушла уже насовсем...

«Ушла... – написала в своем комментарии моя постоянная читательница Елена Панцерева. – Грустно и светло. Такой неожиданный человек когда-то появился в жизни Людмилы Александровны и, опосредованно, всех нас. Не случайно. Она научила нас быть добрее и внимательнее друг к другу. А мы – молимся за нее, ведь, кроме Л.А. и нас, о ней, может, и молиться некому. Все не случайно...»

ЧАСТЬ IV. Сквозь светящийся воздух...

Некоторые из моих фотографий, буде они здесь помещены, даже самые первые, плёночные, могли бы засвидетельствовать, что это не некая восторженная метафора. Я не могу поместить здесь и свои [Иерусалимские письма](#)... Но просто наивно попрошу поверить на слово...

Из Греции – с любовью...

В конце мая — начале июня 2004 года абсолютно неожиданно для самой себя я побывала в Греции. Круг общения у меня, как и у многих, наверное, разнороден, поскольку включает и новых друзей, по жизни в Церкви, и старых, крещеных и некрещеных, верующих и неверующих, поэтому я не могла собрать их вместе и устроить «пресс-коференцию» для всех сразу, так что мне пришлось делиться своими греческими впечатлениями в шести-семи местах. И тем более было удивительно, с каким светлым вниманием все эти столь разные люди слушали мой рассказ о Греции как о стране православной и не задавали (или почти не задавали) каких-либо житейски любопытных вопросов.

Яркость моих воспоминаний об этой стране еще долго не тускнела. Но шло время, и под напором реальной жизни, не стоявшей на месте, моя Греция потихоньку стала уходить на все более и более задний план. И это так естественно. Но когда, месяца полтора спустя, кто-то о чем-то в связи с моим путешествием меня спросил — оказалось, что именно эту деталь я уже забыла. И тогда я села и все записала — пока время не взяло свое и мою Грецию я еще помнила живой памятью.

Но, когда я села за эти записки – оказалось абсолютно невозможным умолчать о предыстории моего паломничества, которую точнее всего можно описать словами поговорки: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»...

Может быть, кто-то еще помнит громкое и беспрецедентное по наглости убийство молодого гендиректора одного питерского завода, случившееся весной 2004 года. Это был наш Толя, сын моей Антонины, с которой мы по-сестрински дружили всю жизнь, с первого курса Университета; пятнадцать лет назад тяжелая болезнь унесла ее в мир иной... Через год вслед за ней ушла и ее мама, Мария Федоровна, и вскоре после этого младшая ее сестра Ольга вместе с мужем, понтийским греком Одиссеем, переехала в Грецию. Их с Толей соединяла редкая между тетушкой и племянником по глубине и нежности дружба. После ее отъезда в Грецию дружба эта не только не прервалась, но, наоборот, по мере взросления и мужания Анатолия, все углублялась, тем более что последние годы Ольга все чаще приезжала в родной город по делам своей турфирмы. Вот и в тот раз она летела по делам, а прилетела — на похороны...

Излишне говорить, что с той самой минуты, как получила трагическое известие, я все время была рядом с этой семьей — и по христианскому, и по дружескому долгу. И вот в день перед Толиными похоронами Оля вдруг сказала мне: «Ты обязательно должна приехать ко мне в Грецию. Ты подумай, когда». «Да... А после Греции и помирать можно...», — ответила я, саму эту мысль — *побывать в Греции* — восприняв как некую фантастическую по красоте мечту, из разряда тех, по исполнению которых и в самом деле помирать можно, и за нереальностью и несоответствием моменту отодвинула на периферию сознания.

И все же в Греции я побывала, и совсем скоро. Оказалось, что в рамках благотворительной акции «Аэрофлота» ко Дню Победы я как житель блокадного Ленинграда могу взять абсолютно бесплатные билеты в любую столицу Европы. Разумеется, для меня это были Афины. Таким образом, мне оставалось только заплатить за срочное оформление загранпаспорта, визы и уплатить т. н. портовые сборы. Мое пребывание в Греции полностью взяла на себя Оля,

включив меня в состав группы от своей питерской дочерней турфирмы.

Итак, 23 мая я отправилась в путь. Перед самым моим отлетом из Петербурга позвонила Оля и сказала, что меня встретит Одиссей, прямо в аэропорту.

Самолет приземлился в Афинах в 00 часов 00 минут. Пока мы с Одиссеем доехали до отеля, пока я устроилась, пока улеглась сумятица дорожных впечатлений, пора уже было и вставать. В 7 утра — завтрак, в 8 выехали на север страны. Греция — совсем не такая маленькая страна, как кажется при взгляде на карту: от Афин до Касторьи, крайней северной точки нашего маршрута, часов семь пути.

Ночью Афин как таковых я не видела, мы проезжали далеко от центра, но не увидела я их и при свете дня: почти сразу город перешел в ничем не примечательное предместье. Если, конечно, не считать того, что время от времени по обеим сторонам дороги мелькали крытые красной черепицей купола храмов византийской архитектуры (представление о которой дает, например, храм Казанской иконы Божьей Матери при Новодевичьем монастыре у нас в Петербурге). Как пояснила нам Деспина, наша сопровождающая, понтийская гречанка, новостройки (а предместье, по которому мы ехали, и было новым районом) застраивались по типовому проекту, предусматривающему в каждом микрорайоне школу, поликлинику и т. д. и, наряду со всем этим, — храм.

Был понедельник, по забитому транспортом шоссе продвигались мы еле-еле. Меня разморило после перелета и почти бессонной ночи, и я то и дело проваливалась в дремоту и продолжала это занятие еще долго после того, как мы вырвались, наконец, из пробок и дорога пошла через приятно зеленую равнину, обрамленную мягких очертаний холмами. Но, выныривая ненадолго из дремоты, я почти всегда находила взглядом у обочины очередную крохотную часовенку на ножках — византийский храм в миниатюре.

(Я много раз подходила потом к таким часовням, наклонялась и, налагая на себя крестное знамение, заглядывала внутрь. У задней стенки можно было разглядеть небольшие иконы, как правило, Христа, Богородицы, кого-то из святых; рядом стояла лампадка, рядом с ней — коробок со спичками, часто — бутылка лампадного масла. Любой прохожий, проезжий в любой час, дня ли, ночи ли, в радости или в горе, может подойти, засветить лампадку, помолиться — и продолжить свой путь. По всей Греции стоят эти маленькие «дежурные» храмы, словно говоря путникам: «Не бойся, только веруй»...)

Стоят на греческих дорогах и другого рода часовенки. Они гораздо меньше и представляют собой не миниатюрные копии храма, а просто небольшие металлические четырехугольники на высоких ножках. Там тоже внутри иконки, и через окошко можно туда заглянуть и поклониться им... Такие сооружения ставятся в память о случившейся здесь когда-то аварии и погибших в ней, призывая водителей к особой осторожности.)

...Было очень обидно спать, когда за окном машины проносилась неведомая Греция, но я ничего не могла с этим поделать, пока сквозь сон не услышала: «Фермопильское ущелье». Эти слова, знакомые с пятого класса, прозвучали, как звук боевой трубы, и сон как рукой сняло. Однако ущелье осталось где-то в стороне, и мы продолжили свой путь по Фессалийской равнине.

Спустя какое-то время мы сделали краткую остановку возле памятника Александру Македонскому. Глядя на этого всадника в традиционном, классическом стиле, я старалась возгреть в себе почтительные чувства, но, к великому моему сожалению, вышка линии энергопередачи, на фоне которой он стоит, этому категорически препятствовала.

Дальнейший наш путь лежал по равнинной местности, окаймленной холмами и известной под названием Фессалийской равнины (данной ей отцом Александра, Филиппом Македонским, в честь одной из своих дочерей — Фессалии); ей же, вместе с другой его дочерью, Никой (названной в честь победы при Фермопилах), обязан своим именем город Фессалоники, древняя Солунь. Оба варианта названия этого города хорошо знакомы нам по Посланиям апостола Павла — к Фессалоникийцам, или к Солунянам.

Метеоры...

И вдруг среди этой безмятежной, ничем особо не примечательной равнины неведь откуда выросли гигантские каменные пальцы, какое-то столпотворение неприступных, с гладкими отвесными стенами скал, на вершинах которых, как это ни удивительно, то тут, то там краснели черепичные крыши. Это были знаменитые Метеоры, те самые «небесные монастыри», о которых я читала еще дома, в программе нашего тура. Официальное их название — Agios Meteora, Святая Метеора, но у нас утвердился своего рода собирательный вариант — Метеоры*.

Так что же это такое — Метеоры? В физико-географическом смысле, сообщает нам Теохарис М. Проватакис, автор проспекта, из которого я почерпнула приводимые ниже сведения, — это продукт грандиозного выброса скальных пород, произошедшего в третичный период, около 60 миллионов лет назад. С духовной же точки зрения — это приют аскетов и молитвенников, подвизавшихся здесь с XI века. Метеоры с их величественным ландшафтом с ходом веков превратились в некий духовный оазис, мощный магнит для тысяч аскетов, в условиях ничем ненарушимой тишины и зримой близости к небу спасавшихся здесь через практику умной, созерцательной молитвы. Для того-то и избрали первые насельники эти отвесные скалы, чтобы быть недосыгаемыми — как для вандалов, так и для докучливых посетителей. Продовольствие, строительные материалы, материалы для занятия ремеслами, фресковой росписью, иконописью — все это поднимали наверх с помощью плетенных из крепкой грубой веревки сеток. В них же поднимали и людей. (Кстати, провизию поднимают в таких сетках и по сию пору.)

Здесьние монастыри — хранилища подлинных православных сокровищ древности. Мощи святых в искусно выполненных реликвариях, кресты с вделанными в них фрагментами Креста Господня, прекрасные иконы, манускрипты, потиры, Евангелия (так, в монастыре Варлаама с 959 года хранится личное Евангелие византийского императора Константина Багрянородного), изумительной красоты фрески Македонской и Критской школ (и я могу эту красоту засвидетельствовать). Монастырские архивы, хранящие великое множество церковных документов, зафиксировавших акты и события величайшего для истории Церкви значения. В ранние времена Метеоры имели скрипторий, где писались и переписывались тексты религиозного, богословского или агиографического содержания, а также ноты церковных песнопений.

Когда-то на скалах Метеор насчитывался 21 монастырь, сегодня же еще действуют всего шесть: во имя Преображения Господня (самый большой), Варлаама, Святой Троицы, Первомученика Стефана, Русану и Святого Николая Анарафсас. Теперь где-то наведены мостики, прорублены проходы, где-то — ступеньки, и монастыри стали более доступны для паломников. Однако, хотя они открыты для посещений практически каждый день, монахи продолжают свой иноческий подвиг.

* Много позже я вернулась к ним памятью: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/meteory.366/>... Там есть и несколько фотографий.

Их день поделен на три восьмичасовых части: одна — отдана молитве, вторая — работе и третья — изучению духовной литературы и краткому отдыху. Молитвы совершаются в основном ночью, в храме. По окончании молитвенного правила кто-то из монахов занимается приемом паломников, кто-то — пишет иконы или вырезает по дереву, другие же изучают святоотеческие тексты или византийскую духовную музыку либо выполняют те или иные дневные послушания. И, чем бы монахи ни занимались, они не оставляют безмолвной молитвы. *Ora et labor* — два кита, на которых стоит бытие монаха.

Все, что он видит вокруг, пишет Проватакис, вдохновляет монаха. Тихие песнопения, сопровождающие все дела братии. Позолоченные царские врата в храмах, негасимые лампы, прекрасные иконы и фигуры святых на фресках, вспыхивающие сотнями цветовых оттенков в отраженном свете мерцающих огоньков свечей... Так, находясь в постоянном безмолвном диалоге с глубинами своей души, через постоянные аскетические духовные упражнения монахи в конце концов приходят к мистическому общению с Богом.

Но вернемся от этого вдохновенного текста в 24 мая 2004 года, когда я стояла на смотровой площадке монастыря Варлаама (названного по имени основавшего его в 1350 году монаха) под трепещущими на теплом ветерке на высоких флагштоках двумя флагами — государственным греческим (похожим на матросскую тельняшку) и флагом Элладской Православной Церкви (черный орел на желтом фоне). Вбирая в себя панораму, открывавшуюся отсюда, с высоты 600 метров над уровнем моря и 400 метров над ложем текущей внизу реки Пиньос, я очень ясно понимала, что никогда не смогу найти слов, чтобы описать то, что расстилалось перед моими глазами — телесными и душевными (именно так, не «глазами»)... Все это казалось единственной реальностью, и совершенно невозможно было представить, что еще вчера в это самое время я томилась в аэропорту Шереметьево-2 в ожидании пересадки на самолет «Москва–Афины»...

Вот передо мной фото, которое проще описать, чем голубую светящуюся предвечернюю дымку, нежно окутывающую окрестные холмы: сижу на скамеечке под стеной монастырского строения рядом с немолодым, со светлыми славянскими глазами, иеромонахом. Я только что подошла к нему под благословение, и он охотно осенил меня своим священническим перстосложением. Вслед за мной стали подходить к нему и остальные мои спутники, и всех он благословлял. «Он к вам вышел? — спросила меня потом Оля. — Удивительно. Он редко выходит...». Деспина рассказала нам, что еще совсем недавно был жив («А может быть, и сейчас еще жив, просто я в этом году его еще не видела...») — прибавила она) очень старый монах, который поднялся сюда в 19 лет и больше никогда не спускался в мир.

С замиранием сердца входила я в монастырский храм, первый для меня православный греческий храм. Я так волновалась, что практически ничего о нем не запомнила: все конкретные детали вытеснило мощное ощущение древности и намоленности, охватившее не только душу, но и все тело, «от головы до ногу»... Помню только, что, увидев там стулья с откидывающейся кверху половинкой сиденья, я сразу признала в них те самые стасидии, о которых пишет старец Паисий.

Уже сейчас, изучая внимательно, без спешки проспект о Метеорах, я увидела в разделе, посвященном монастырю Варлаама, репродукции двух удивительных фресок. Рассматривая одну из них, «Успение св. Ефрема Сирина», я вспомнила о двухтомнике св. Ефрема, который мне недавно подарили. И в обстоятельном предисловии наткнулась на завещание святого, где он со свойственными ему глубоким смирением и сокрушением сердечным просит, чтобы не погребали его с пышностью, не прославляли его при погребении, не сопровождали его гроб торжественно, но вместо всяких украшений и ублажений старались облегчить его дальнейшую судьбу своими молитвами. «Кто со мною в гроб, — завещает св. Ефрем, — положит шелковую одежду, тот да будет ввержен во тьму кромешную; кто со мною во гроб положит багряницу, тот

да будет низринут в геенну огненную. В моей ризе и в куколе предайте меня земле; потому что убранство неприлично непотребному».

И вот мы видим на фреске св. Ефрема, как и положено по установленному для монахов чину, крестообразно обвитым своей мантией, в куколе и с иконой Спасителя, возложенной на руки. Возлежит же он на простом каменном (он запретил делать ковчег из мрамора) ковчеге, покрытом даже не бархатом, а тканью грубого плетения, типа циновки. «Кто понесет предо мною, — говорится далее, — восковую свечу, того да пожнет огонь из внутренности его. ... Лучше пролейте, братия, слезы свои о мне и всех подобных мне». И мы видим, как стоят возле усопшего в скорбном безмолвии схимники, клирики и миряне. «Не полагайте со мною в гроб ароматов, потому что честь сия для меня бесполезна; не полагайте благовоний, потому что они не избавят меня от суда. Ароматы воскурите во святилище, а меня предайте земле с псалмопениями». И мы видим на фреске, как священник в белой фелони, скромной серой рясе и такой знакомой желтой епитрахили скорбно медленно помавает кадиллом возле изголовья святого Ефрема...

На этом же развороте проспекта помещена репродукция другой фрески, под названием «Сисой Блаженный (в нашей традиции — Сисой Великий) перед гробницей Александра Великого». Святой старец стоит перед останками знаменитого полководца, печально склонив голову. И во взгляде его, и в жесте рук, одновременно и отторгающем в благоговейном ужасе лежащий перед ним скелет, и благословляющем его, читается и глубокое сочувствие к этому великому язычнику, и сокрушение о тщете славы мирской...

Ольга очень хотела, чтобы мы побывали в монастыре Agios Protomartira Stephanos (Святого Первомученика Стефана), с тем чтобы поклониться находящимся там чудотворным мощам священномученика Харалампия. Еще во время своего пребывания в Петербурге она подарила мне его икону. Я этого святого почему-то сразу полюбила, поставила его образ рядом с образом Николая Чудотворца, и, когда уже стало ясно, что в Грецию я таки еду, молилась им обоим: святителю Николаю — как покровителю путешественников, святому Харалампию — как уроженцу этой страны.

Но в тот день обитель, увы, была закрыта для посещений.

День близился к вечеру, и мы успели посетить еще только один монастырь — Русану (основан в 1380 году). Этот монастырь — женский. Нас встречают тихие, приветливые монахини. Как и в монастыре Варлаама, покупаем экскурсионные билеты за 2 евро; нам выдают длинные передники с завязками сзади, чтобы прикрыть наши дорожные брюки. На головах у нас платочки: в приходских храмах женщины головы не покрывают, в монастырях же правила такие же строгие, как и у нас.

Здесь храм, по понятным причинам, такой же крохотный, как и у Варлаама (мудрено размахнуться в скалах), я помню уже лучше: первый шок прошел. Храм этот назван во имя Преображения Господня. И фрески, и иконы здесь — тоже критской школы, лики — с резкими, почти грубыми чертами, непривычно экспрессивные, хватающие за душу... А снаружи — везде, на каждом повороте, на каждой ступеньке лестниц, на балюстрадах, перилах — цветы, цветы, цветы в красивых керамических вазонах. А напротив входа в храм — совсем небольшой, обрамленный белым камнем газон, в центре которого — непередаваемой красоты цветочная клумба в виде равноконечного греческого креста. Яркие пятна цветов на голом камне смотрятся необычайно трогательно, особенно если вспомнить, что земля для всех этих вазонов и газона натаскана снизу, из долины. Все те же *ora et labor*, молитва и труд.

Без языка

От «Небесных монастырей» наш путь лежал в соседнюю деревушку под названием Кастраки. Там мы должны были посетить монастырскую лавку, куда поступают иконы, сувениры и различные поделки, произведенные в монастырях. Езды туда было минут 10, но, когда мы вышли из машин (забыла сказать, группа наша ехала в микроавтобусе и легковой машине), солнце уже начинало потихоньку садиться. Меньше всего я ожидала увидеть здесь подернутый зеленой ряской прудик с сидящими на воде утками, коровьи лепешки на поросшей ромашками, маками и репейником обочине и вдохнуть запахи парного молока и свиного навоза. Этот пейзаж словно нарочно был придуман, чтобы вернуть паломников с небес на землю...

В лавке же навстречу нам вышел... сам Микеле Плачидо. Конечно же, это не был он, но сходство сотрудника, принимающего паломников, с этим культовым итальянским актером не могло не поразить. К нашему удивлению, он заговорил на чистом русском языке. Оказалось, что его занесло сюда с Украины еще лет 15 назад, и так он здесь и осел. Угостив всех стаканчиком виноградного вина из бочонка, он провел нас в самую лавку, где все стены увешаны были писанными маслом иконами самых разных изводов и форматов. Затем вошел еще один человек, деловито и спокойно обустроил свое рабочее место и у нас на глазах принялся писать икону, а наш Плачидо тем временем читал великолепную лекцию по иконографии, комментируя действия иконописца.

К стыду своему, должна сказать, что в это я, выражаясь на бытовом языке, «врубиться» уже не могла: после той лавины впечатлений, что свалилась на мою бедную голову за весь этот день, она отказывалась вмещать что-либо новое. Никаких иных подробностей, интересных для других, память моя не удержала.

Из Кастраки мы переместились для ночлега в близлежащее местечко Каламбака. Быстро разместились в крохотном отеле, одном из многих на этой живописной улочке, и нас отвезли ужинать в кафе. Ужин был просто замечательный: даже мне, человеку достаточно уединенному, было на удивление хорошо и легко, хотя абсолютно со всеми, кроме Одиссея, я была знакома всего один день, а с завсегдатаями кафе — так и вообще какой-то час. Я даже включилась в общий танец, знаете, когда все кладут друг другу руки на плечи и идут по кругу, пританцовывая. Песню, под которую шел танец, я потом слышала в Греции не раз, она очень популярна там.

Этот вечер, а с ним и весь длинный, полный значимых и даже величественных событий день имел совершенно неожиданный финал. Когда нас привезли к отелю, получилось так, что я немножко завозила, ища в сумке ключ от гостиничного номера, и когда вышла из машины, она тотчас же умчалась, вслед за нашим микриком (Теодор и Одиссей, водившие наши машины, уехали на ночлег в другое место). Я осталась на улице в полном одиночестве: все наши уже упорхнули в отель. Когда же я огляделась — оказалось, что совершенно непонятно, куда мне идти: дома стояли по обеим сторонам узенькой улочки сплошной линией, и в каждом из них помещались отельчики, с одинаково нарядными витринами и вывесками. Название своего отеля я, конечно, не запомнила, не видя в том нужды. На улице не было ни души, так что и спросить было не у кого, да и что бы я спросила, если бы даже говорила по-гречески? «Не знаете ли вы, который тут отель мой?»

Стараясь сохранить хладнокровие, я пошла вдоль прозрачных витрин, в надежде, что увижу какую-то знакомую деталь. Вошла в один отель. В холле за столом сидело несколько уважаемых мужчин, как по команде ко мне повернувшихся. Я поспешила выйти. А может, здесь? Вот тут вроде бы такой же диван и столик, как в моем отеле... Я вошла. В холле никого не было, даже портье. Как будто бы то... Я поднялась на второй этаж. Слава Богу! Вот лифт справа, вот знакомая картина на стене, а вот и мой номер 102. Облегченно вздохнув, я вставила ключ... Однако ключ не поворачивался.

И тут на меня напал неудержимый приступ смеха: почему-то вспомнился бедный мистер Пиквик, с его гостиничными приключениями: «И как мистер Пиквик ни оправдывался...». Что бы я сказала, если бы меня здесь, у чужой двери, «застукали»? Воображение живо нарисовало мне гипотетическое объяснение с портье. Я спустилась на улицу, по счастью, так никого и не встретив, — и мгновенно узнала на доме прямо напротив вывеску моего отеля.

На берегах Орестиады...

Наутро мы тронулись дальше на север, к городу Касторья, знаменитому центру производства и продажи греческих шуб, где у членов нашей группы, туристских менеджеров, были дела. Через час пути машины затормозили около нарядного храма, крытого традиционной красной черепицей. Это был храм во имя Панагии Сумела, в буквальном переводе — «Божьей Матери с Горы». Как рассказала Деспина, сам по себе исторической ценности храм не представляет, он построен сравнительно недавно, в 1925 году, понтийскими греками, бежавшими от турецкой резни. Они вывезли из родных краев все православные святыни, какие только можно было вывезти, и специально для них построили этот храм. Самая же драгоценная из этих святынь — образ Пресвятой Богородицы, который датируется I веком и приписывается кисти самого Евангелиста Луки.

С трепетом вошли мы в храм. Службы в тот день не было, мы были практически единственными посетителями и могли осмотреть все спокойно и не торопясь. Излишне говорить, что прежде всего я устремилась к иконе, к «Панагии Сумела». Да, безусловно, я знала об очень осторожном отношении Церкви к версиям о принадлежности той или иной иконы кисти Луки. Но, как бы то ни было, какой-то невероятно подлинной древностью дохнуло на меня от этой иконы, едва угадывавшейся в глубине великолепного киота. Это пышное сооружение из дерева, в кружевах резьбы, на витых деревянных же колоннах, с парчовыми занавесями голубого богородичного цвета, больше всего походило на некий грандиозный балдахин. Сверху свисали семь огромных лампад. Однако за всей этой пышностью, призванной, конечно же, воздать высшие почести Божьей Матери, в далекой глубине киота ощущалось что-то необычайно скромное, простое, приведшее на память доски от стола с Тайной Вечери, на которых писал свои иконы Евангелист Лука...

Поразительно, что на снимке, который я сделала, безо всякой надежды, что что-то получится, поскольку в храме стоял полумрак, отчетливо проступил знакомый абрис Богородицы. Она как бы приблизилась, выступила из глубины, и даже стала видна такая привычная деталь Ее одеяния, как оторочка мафория...

Выйдя из мягкого полумрака храма на свет Божий, мы еще немного побродили вокруг. Уже на выходе, у самой церковной ограды, прямо мне на темя свалилась с сосны большая красивая шишка. Я подобрала с земли еще одну, такую же точно шишку, на память об этой ласковой шутке... Излишне говорить, что сейчас они стоят у меня дома.

Городок Касторья, до которого мы доехали спустя недолгое время, расположен по берегам огромного озера Орестиада. Но — спасибо Оле, невидимому «вдохновителю и организатору» всех наших маршрутов! — прежде, чем устроить в отеле, нас завезли еще в один храм — во имя иконы Божией Матери «Панагия Мавриотисса». Икона эта почитается здесь как чудотворная. Богоматерь на ней сидит на троне, с Богомладенцем на руках и двумя ангелами по обеим сторонам. «Пантанасса», «Всецарица», столь чтимая у нас в России...

В переводе слова «Панагия Мавриотисса» значат «Богоматерь Темноликая». Происхождение столь необычного названия мне неизвестно. У меня есть небольшая бумажная икона, где Лик Матери Божьей действительно настолько темный, что белки глаз на этом фоне просто сверкают, как если бы Она была негротянкой. В слове «Мавриотисса» слышится переключка со

словом «мавр», мавры же темнолики. Однако на иконе, о которой идет речь, Лик у Богородицы был не темнее обычно изображаемого, так что ее название так и осталось для меня загадкой.

Храм во имя этой иконы построен еще в XI веке и потому не имеет ничего общего с привычной для нас храмовой архитектурой. Это так называемая базилика, то есть прямоугольное, аскетического вида строение без каких-либо куполов и прочего архитектурного декора, с белеными стенами и небольшими окошками. На наружных стенах расчищались древние фрески, и на одной из них, уже вполне готовой, был изображен Апостол Иоанн Богослов, о чем свидетельствовала надпись по-гречески: *Ioannis Teologos*. Рядом с храмом стояла высокая звонница из красного кирпича, гораздо более позднего времени, века 14-го, более похожая на средневековую башню, нежели на привычную колокольню.

К нам вышел гостеприимный, живописной наружности пожилой батюшка и, пригласив нас в храм, очень дружелюбно знакомил с ним, даже дал заглянуть в алтарь, открыв совсем крохотные и низкие, подстать самому алтарю, Царские врата. Признаться честно, я не столько слушала священника, в очень неуверенном переводе нашей сопровождающей, сколько озиралась по сторонам, разглядывая фрески и иконы, редкая из которых была моложе XVI века...

Потом группа уехала по своим менеджерским делам, а я попросила оставить меня здесь до ее возвращения. Я простояла перед святыми ликами, переходя от одного к другому, в полном одиночестве и тишине минут, наверное, сорок... А потом кто-то неслышно вошел в храм и, подойдя ко мне сбоку, приобнял и прижался на мгновение щекой к моей щеке. «Кофе?..» — сказал батюшка, а это был он. «Эвхаристó...» — ответила я (к этому времени я уже знала несколько греческих слов, в том числе и это — «благодарю»).

Он вывел меня наружу, приставил к стене такого же приземистого, как храмовая базилика, строения напротив столик, скамейку, сварил и принес в двух крохотных чашечках настоящий греческий кофе («эллиникó», как называют его греки), бутылку ледяной воды, а затем поставил передо мной небольшую вазочку с чем-то, мне неизвестным. «Коливо!» — ответил он на мой безмолвный вопрос. Это было одно из немногих понятных нам обоим слов...

Мы смогли сказать друг другу очень немного: что я из России, из Санкт-Петербурга («О, Петрополь!..»), что зовут меня Людмила («Лудмила?.. Ай эм папа Габриэль!»). «Фрау?» — спросил он. Я не знала, как на это ответить, и сказала, что у меня есть son Alexander. Он встал, сделал мне знак, что сейчас придет, и, вернувшись через минуту, протянул два мешочка из какой-то пышной белой ткани, сказав: «Сувенир!». Даже не зная, что в этих мешочках, я тотчас же решила, что передам их своему батюшке — от священника священнику.

В это время подъехали два автобуса с немецкими туристами, и отец Габриэль (по-нашему — Гавриил), благословив меня на прощанье, ушел к ним. Я допила свой кофе, доела коливо и, уходя, оставила бывшую у меня с собой дорожную иконочку-триптих (Богоматерь – Христос – св. вмц. Варвара), прислонив ее к кофейной чашке.

Минут еще пятнадцать после этого я сидела на берегу озера, глядя на утиное семейство, бороздившее зеркальную гладь воды. Потом за мной заехали, и нас отвезли в отель. Я бросила там свои вещи и пошла бродить по городку, раскинувшемуся по побережью озера. Время от времени дома и виллы прерывались пустырями, сплошь поросшими алыми маками и ромашками с необыкновенно густыми и правильными лепестками. Я забрела в глубь одного из таких пустырей и долго сидела там, полная до краев, а потом послала сыну «эсэмэску»: «Сижу на берегу Орестиадского озера среди ромашек и маков». Потом вспомнила почему-то ильфовское: «Графиня искаженным лицом бежит пруду», засмеялась и пошла обратно,

останавливаясь немножко помолиться у каждой придорожной часовенки...

Наутро мы уезжали. Отъезд был назначен на 9, и около этого времени над водами озера пронесся тягучий, глубокий, дрожащий звук благовеста. Сердце мое так и рванулось туда, к готовой вот-вот начаться Литургии, но — увы...

Когда на завтра мы увиделись с Олей (у нее были другие маршруты, и за все время мы пересеклись с ней два раза) и я рассказала ей о моем общении с отцом Габриэлем, она улыбнулась и, помолчав, сказала: «Помнишь, когда мы с Одиссеем уезжали, ты попросила меня подать где-нибудь в Греции прошение о твоём сыне?» — «Помню, конечно...» — «Ну, так как раз этому батюшке я его и заказала. На днях я в этом храме буду и скажу ему, что вот эта женщина из России, которая у вас на днях была, — мать того самого Александра». — «А когда ты у него будешь?» — «Первого». — «Первого?.. Так ведь это день рождения того самого Александра!.. Попросишь батюшку помолиться о нём?» — «Само собой, конечно!».

Так все и получилось. Отец Габриэль помнил «женщину из Петрополя». Он понял, что дорожная иконочка была от нее. Он помнил об Александре; он помолился в этот день о нас обоих. А «сувенир», который я по возвращении подарила своему папа, и в самом деле попал по назначению: в одном из белых мешочков оказались, как уже позже пояснила мне Оля, конфетки, которыми священники в Греции благословляют крещающихся, в другом — венчающихся.

В Халкидиках

Но вернемся к тому моменту, когда под удары колокола мы покидали Касторью. От этого городка мы круто свернули на восток и взяли курс на Салоники, древнюю Солунь, обитателям которой, солунянам, или фессалоникийцам, Апостол Павел написал два своих Послания. К сожалению, через нее мы промчались с ветерком, нигде хотя бы на 5 минут не остановившись. (По графику нашего тура предусматривалось однодневное пребывание здесь на обратном пути — для всей группы, но не для меня: мое время в Греции заканчивалось 5 июня, а группа улетала как раз из Салоник 1 июня.) Но именно здесь, в этом портовом городе, мы впервые увидели море — и больше с ним уже не расставались, потому что после Салоник въехали на полуостров Халкидики, а слово «полуостров» говорит само за себя. Когда я впервые услышала здесь это название, сразу вспомнились книги старца Паисия, где оно столь часто упоминается (только переводчик передает его как «Халкидика», греки же говорят «Халкидики», с ударением на последнем «и»).

От этого большого полуострова, как пальцы, отходят три небольших — Кассандра, дальше — Ситония, а еще дальше к востоку — Афонский полуостров (да-да, тот самый; но об этом ниже). «Наш» палец — полуостров Кассандра. Недалеко от местечка Каллифеа, в отеле Aegean Melathron, на самом берегу Эгейского моря мы будем жить целых пять дней. Все это давно осталось в прекрасном сказочном далеке, но завораживающая музыка этих эллинских слов живет в душе...

27 мая я вошла в холл отеля Aegean Melathron — и прямо напротив входа увидела триптих: слева — Пресвятая Богородица, справа — св. вмч. Димитрий Солунский, а между ними — равноапостольная царица Елена со Крестом (против обыкновения, одна, без равноапостольного царя Константина Великого)... И нежданно-негаданно память моя протянула ниточку к 19 марта, дню перед похоронами нашего Толи, когда Оля сказала мне: «Ты обязательно должна приехать в Грецию». Этот день пришелся на пяток Крестопоклонной недели Великого поста, когда Церковь празднует не что иное, как «обретение Честнаго Креста Господня и гвоздей св. царицею Еленою». И, стоя перед этим триптихом, я снова, в который уже раз здесь, испытала двойственное чувство радости и печали. Будь Толя жив, я, быть может, никогда бы и не

оказалась в этой благословенной стране. В этом смешанном состоянии я провела последующие пять дней на берегу синего Эгейского моря...

На эти дни выпали такие первостепенные события Богослужебного годового круга, как Троицкая родительская суббота, День Святой Троицы и Духов День. Греция живет по старому календарю, но в тот год Пасха, а вместе с нею и отсчитываемые от нее праздники в наших Церквах совпали.

Я обязательно собиралась причаститься на Троицу, хотя как это будет — пока не представляла. В Духов же день предполагала просто быть на Богослужении. Но как быть с Родительской субботой — было абсолютно неясно, потому что оказалось, что как раз на этот день назначена полуторачасовая морская экскурсия вдоль Святой Горы Афон! Я не могла отказаться ни от того, ни от другого. Надо было искать какой-то выход.

И он нашелся, не мог же не найтись. Еще когда нас везли в отель Aegean Melathron, я заметила небольшой храм, стоявший прямо при дороге. И решила сходить туда накануне, в пятницу, в надежде, что попаду на вечернюю службу. И «пошла она, солнцем палима», хотя дело шло уже к вечеру, в поселок Каллифеа, что в двух с половиной километрах от отеля.

Подойдя к нему, я увидела над входом знакомый лик Святителя Николая Чудотворца (одного из самых чтимых в Греции святых, наряду со свв. равноап. Константином и Еленой и св. вмч. Димитрием Солунским). Со стен совсем небольшого притвора на меня глядели дивные иконы, в том числе несколько икон Богородицы излюбленного в Греции извода «Гликофилуса» (что значит «Сладкоцелующая»).

«Каллиспера!» — сказала я двум тетушкам, сидевшим на скамейке. Замечу в скобках: этих пожилых гречанок, одетых в аккуратные черные костюмы и белые блузки и простоволосых, мне почему-то хотелось называть именно тетушками а не матушками, как наших. «Каллиспера!» — приветливо ответили мне. Что значит: «Добрый вечер!». Утром и днем греки говорят друг другу: «Каллимера!» («Доброе утро!»). Мне никто этого не объяснял, но я как-то сама быстро поняла, что здесь, если ты вступаешь с человеком в прямой, пусть даже мимолетный, контакт, не поздороваться просто невозможно. А уж в храме тем более...

Сам храм был еще закрыт, но у тетушек я выяснила, что служба будет в семь и священник скоро должен быть. Вскоре и в самом деле у храма остановилась машина, и из нее вышел пожилой человек с длинной полуседой бородой и волосами, заплетенными сзади в косичку, сложенную петлей. Поздоровавшись с тетушками, он прошел в храм. А я бросила в специальную прорезь несколько монет (кстати, здесь сумма пожертвований по-прежнему указывается в традиционных драхмах, а не в евроцентах и евро), взяла две свечи, зажгла их и воткнула рядом в песок на большом железном листе с загнутыми краями: здесь нет отдельных мест для свечек за живых, отдельных — за усопшего: считается, что Господь знает, за кого ты просишь. Затем написала записку и подала ее служителю, который в это время уже был в притворе, но он почему-то отвел ее рукой. «Пожалуйста, это об усопших христианах», — сказала я по-английски. И тогда он кивнул и понес мою записку в алтарь. Надо сказать, что в Греции на записках о живых крестик не ставят, пишут только имена, если же крестик поставлен, значит, это прошение об усопших.

До службы оставалось минут пять, как вдруг из алтаря вышел батюшка и, подойдя ко мне с моей запиской в руках, начал, к моему изумлению, громко и отчетливо читать имена. Дойдя до имени «Zot», он остановился, вопросительно глядя на меня. (Это мой дядя, которого я никогда не видела, он погиб на войне; его полное имя мне неизвестно, спросить теперь уже не у кого; мама всегда называла его «Зот» или «Зотька».) Я растерянно развела руками, и, уже уверенно

повторив это неведомое ему имя, он пошел по списку дальше...

Потом началась служба, и хотя я в состоянии была понять лишь некоторые слова, например Kyrie eleison (Господи, помилуй), пронизывающие все здешние службы рефреном, или Sophia, throsti! (у греков звучит — «Суфия»), сам ход службы был знаком и понятен. Время от времени входили тетушки, ставили на приступку под амвоном чашки с коливом, куда были воткнуты горящие свечи, и тихонько садились на сиденья (в греческих храмах прихожане сидят).

Прочитав под конец наши прошения, в том числе и мое, священник призвал на нас Божие благословение и отпустил с миром. Вместе со всеми я вышла в притвор. Тут одна гречанка остановилась, достала из сумки несколько бумажных салфеток и, расправив их, протянула мне. Я послушно взяла, и она положила на салфетки несколько ложек колива. За ней подошла еще одна тетушка, потом еще, и все клали мне коливо, так что эти дары уже с трудом помещались на салфетке, и все мы кивали друг другу и радостно улыбались. А я не успевала говорить: «Эвхаристо! Эвхаристо!...».

Немного этого колива — смеси изюма, орехов, зерен риса, пшеницы, еще каких-то зерен, политой чем-то очень сладким, — я привезла с собой; на несколько родительских суббот его хватит...

Мне сказали, что в День Святой Троицы (по-гречески — Мера Agios Triada) служба будет в новом храме. Я спросила, как его найти, и мне указали направление, в котором он расположен. Однако храм я не нашла и решила, что завтра, на обратном пути с экскурсии, выйду здесь и разыщу его, чтобы уже в сам праздник знать, куда идти, и не опоздать.

...Если бы кто-то еще три месяца назад мне сказал: «Двадцать девятого мая ты будешь идти Эгейским морем к Афонскому полуострову» — я бы покрутила пальцем у виска. Но даже и теперь мне как-то не верилось, что я и в самом деле там побываю — пусть не в самом Саду Божией Матери, не на самой Святой Горе (женщинам вход туда заказан, и даже мужчинам нужно особое благословение для пребывания там), а только под ней, но ведь под ней!..

И вот мы садимся в большой автобус, и он везет нас к полуострову Ситония, второму «пальцу» полуострова Халкидики. Через час пути — сказали: «Ормос Панагия!». Бухта Богородицы!.. Там уже стояло наше судно.

Весь путь к Святой Горе я стояла на носу и неотрывно смотрела прямо по курсу, говоря себе: «Смотри, вон там, видишь? Это Святая Гора. Афон. Этого не может быть, но это сейчас будет...». Одну половину фотопленки я извела на Метеоры, вся вторая — ушла на Афон: вот мы подходим все ближе и ближе, и мыс становится все больше и больше, и все более четко становится видно белое пятно снега немного ниже вершины. Высота ее — 2033 метра, и снег, по словам экскурсовода, окончательно сходит лишь к середине лета.

Дойдя до оконечности мыса (возле которой, как нам сказали, когда-то затонула флотилия Ксеркса), мы не огибаем ее, а заворачиваем обратно и идем вдоль берега, оставаясь от него на почтительном расстоянии. Звучат названия монастырей, скитов, виднеющихся то здесь, то там, какие-то из них знакомы мне по книгам схимонаха Паисия. Я понимаю, что все равно не запомню, где что, и снимаю, снимаю, не в силах остановиться. И сейчас передо мной лежит полтора десятка на вид почти не отличимых друг от друга пейзажей и несколько снимков кильватерной струи, белокипящей в черно-фиолетовом море. Но я там была, и Сад Божьей Матери остался на моей радужке...

Мы подходим к берегу и высаживаемся на 40 минут в крохотном пограничном городке Уранополис. Зайдя в стоящую сразу у причала часовню и поклонившись Христу с Богородицей,

вместе с несколькими спутницами находим подход к морю и бросаемся в прохладную воду, сквозь которую так ясно, как будто сквозь воздух, видны камни, поросшие водорослями, рыбки, крабики.

Потом все расходятся по магазинчикам, а мне ни жить, ни быть надо дойти до границы между Греческим государством и Монашеской республикой Афон. И это отнюдь не условная, а самая настоящая граница.

Я иду вдоль берега метров пятьсот... и, взглянув на часы, благоразумно поворачиваю обратно. С открытой веранды крохотного кафе мне приветливо машут рукой. Я тоже машу и захожу, но сажусь отдельно и заказываю кофе «эллинико», предварительно справившись, хватит ли оставшихся 2 евро (кстати, здесь говорят «евро»). Кофе такой же вкусный, как тот, каким угощал меня отец Габриэль. Запиваю его ледяной водой (которую здесь всегда подают к кофе) и почти бегу к причалу (где уже гудит наша сирена), еще раз заглянув на прощанье в стоящую на берегу Ормос Панагия (Бухты Богородицы) часовню...

Троица в Каллифеа

На обратном пути, как и собиралась, я вышла из автобуса у храма Св. Николая и пошла искать новый храм, где будет проходить завтрашнее праздничное богослужение. Когда я его нашла, было около семи вечера, время перед вечерней службой. Прямо на пороге мне встретилась седая женщина в черном костюме и белоснежной блузке (как оказалось потом, она не просто исполняла в храме какие-то вспомогательные функции, но и прислуживала на Литургии священнику, выполняя, например, роль свещеносицы).

«Каллиспера!» — сказала я. Мне ответили тем же. «Я русская православная христианка, — продолжила я уже на английском. — Могу я причаститься завтра, в День Святой Троицы?». Служительница дружелюбно закивала головой: «Нэ-нэ-нэ!» (по-гречески — «Да-да-да!») — и похлопала меня по руке. «А как же confession, исповедь?». Она так же дружелюбно покачала головой из стороны в сторону и махнула рукой. (Как я узнала уже потом от одной русской горничной, исповедуются здесь заранее, предварительно договорившись со священником.)

Едва я вышла на паперть, тихонько зажужжал мой мобильник. Звонила... одноклассница Оля. «Слава Богу, наконец-то я до тебя дозвонилась! Ты можешь мне перезвонить по-городскому?». Ситуация была настолько захватывающей, из серии «нарочно не придумаешь», что я даже не сразу нашлась, что ответить, а потом осторожно спросила: «А ты знаешь, где я?». — «Нет...» — «Я в Греции, — сказала я, отчетливо представляя ее реакцию на подобный ответ и едва справляясь с неудержимым приступом смеха. — Позвони попозже Саше, он все скажет».

(До последнего, даже когда уже на руках у меня был первый в жизни загранпаспорт с визой и билеты, я не верила, что моя Греция состоится, и сказала об этой поездке считанным людям.)

Наутро, в Мера Agios Triada, я вышла из отеля в начале седьмого. Литургия начиналась в 7.30. В полной тишине и безлюдье, если не считать группки молодых людей, расходившихся с ночной дискотеки, я проделала по утренней прохладе привычные уже два с половиной километра и минут через сорок пять была в храме. Поставив свечи и поклонившись иконам, я прошла в чистенький, нарядный, с иголки, храм. В левой половине было пять-шесть женщин, в правой — не было никого, и я встала там.

Справа от амвона несколько мужчин в черном читали Часы. Вдруг один из них, условно назову его «старший чтец», стал делать какие-то негодующие, экзорцистские жесты. В храме я никогда не оглядываюсь по сторонам, поэтому и сейчас не обернулась назад, чтобы посмотреть, кому эти жесты адресованы. Потом чтец вернулся к своему прямому делу, а еще через несколько

минут вышел священник с кадилом, все встали со своих сидений и так стояли, преклонив головы, пока он долго и тщательно кадил. А затем началась Литургия. В какие-то моменты все вставали, а вместе с ними и я, потом садились на сиденья, и с ними садилась и я. Священник еще выходил кадить, и я так же послушливо преклоняла голову и поворачивалась вслед ему, как и все в храме.

Так мирно и чинно все шло около получаса, как вдруг по проходу в середине храма прошел маленький человек в каком-то помятом пиджачке. Дойдя до первого ряда, он сел, утонув в кресле, и тут меня как озарило: так ведь это ко мне относились негодующие жесты чтеца, изгонявшие меня из мужской половины! Подобное разделение жестко сохраняется со стародавних времен и в некоторых наших храмах, но в нашем соборе оно не соблюдается, и я просто о нем забыла. Меня как ветром оттуда сдуло и перенесло в женскую часть, где собралось к тому времени уже довольно много народу. И почти все время, оставшееся до Причастия, я переживала свою оплошность. Но Господь милосерд: через какое-то время кто-то тронул меня за плечо, я обернулась — и увидела приветливо улыбающуюся тетюшку, протягивавшую мне веточки, только не березовые, как у нас, а незнакомого мне растения с большими, симметрично расположенными листьями. Я благодарно заулыбалась, закивала — и получила еще несколько веточек, от другой гречанки. После этого я почему-то успокоилась и решила, что все будет хорошо.

И в самом деле: после еще одного каждения и чтения покаянных молитв под рефрен *Kyrie eleison* раскрылись Царские врата, вышел священник с Чашей, прочитал молитву, и вместе с другими немногочисленными причастниками я к нему подошла. Увидев стоявшую возле него с платом в руках вчерашнюю служительницу, «благословившую» меня причащаться без исповеди, я окончательно успокоилась и сказала священнику: «Ай эм рашн ортодоксос кристианос». Он произнес причастную формулу — и причастил меня!..

Поискав глазами столик с теплотой и не найдя его, вернулась я, в каком-то радостном расслаблении, на свое место, к бестрепетно оставленной там сумке и веточкам. И, как это всегда бывает в Троицу, тут же началась утренняя. В новой для меня православной среде я совершенно об этой Троицкой особенности забыла, но, когда поняла, что происходит, — снова и снова, в который уже раз здесь, в этой стране, ощутила счастье быть православным христианином: несхожесть с нашими каких-то обрядов, деталей богослужения не только не делала здешнее пространство чужим, но, наоборот, вливаясь в наше, привычное, расширяла православное пространство как таковое, выводя его за рамки «Святой Руси». И когда все застыли в долгих коленопреклоненных молитвах, опустив лица на веточки, я ощутила себя дома. В нашем общем доме Господнем...

Мы, русские православные, руки держим, свободно опустив вдоль тела, и только иногда, чтобы дать себе роздых, кладем их, оставляя внизу же, одна на другую. Здесь же руки у людей замкнуты на что-то всегда, на протяжении всей службы: либо сомкнуты внизу, либо скрещены на груди, либо положены на подлокотники или на спинку впереди стоящего стула. Упоминаю об этом для того, чтобы сказать об одной старушке, выделявшейся из всех именно тем, что на голове у нее был платок (а все остальные, как я уже говорила, были простоволосы) и руки свободно висели вдоль тела. Стояла она слева от амвона, и по всему чувствовалось, что она здесь — не залетный гость, как я, а стоит на своем «законном» месте. По всему облику русская, греческий она знала, потому что и вставала, и садилась, и крестилась адекватно службе, а не вслед за всеми, как в большинстве случаев делала я. Заприметив ее, я решила, что обязательно подойду к ней после службы и попрошусь на разговор. Но, видно, не было на то воли Божьей, потому что, едва служба закончилась, народ густо пошел к священнику и старушку свою я потеряла из виду.

Уже подходя к батюшке, я увидела, что он кладет в протянутые ладони кусочки

освященного хлеба, и верующие руку дающую целуют. Крест же для целования не давался.

Назавтра, в Духов День, я снова была в храме. Со мной попросились две женщины из нашей группы. Одна из них время от времени причащается, другая же в сознательном возрасте причащалась впервые. Кроме них (я в этот день не причащалась), к Чаше подошли всего человек десять, из них пять или шесть детей. (А в Троицу — и того меньше). И это несмотря на то, что в День Святого Духа в Греции — официальный выходной. Почему так — судить не берусь, просто не знаю.

Вернувшись в отель, мы вкусили колива, запив его крещенской водой, взятой мною из дома.

На следующий день наша группа улетала в Петербург, а у меня еще было четыре греческих дня. И на три дня (четвертый, и последний, был отведен на Афины) меня перевезли на несколько десятков километров южнее, в курортный городок Ханиоти. Там я первым делом спросила у администратора отеля, где тут church. Она показала направление, и довольно быстро я вышла к нарядному храму, тоже носившему имя Святителя Николая. Поклонившись Христу, Богородице и Свт. Николаю, чьи лики были изображены на фресках, украшавших стены небольшой, открытой со всех сторон часовни, я прошла к храму. Он был закрыт, и на двери не было никаких объявлений. Я снова вернулась в часовню, помолиться о сыне, у которого как раз сегодня был день рождения... Увидев, как входившие в часовню женщины, перекрестившись и произнеся слова молитв, прикладывают к фрескам руку, а потом целуют висящие под ними иконописные копии, я последовала их примеру...

Выйдя из часовни и отойдя метров на сто, я увидела небольшой сквер, где на скамьях, поставленных вокруг столика, сидели семь или восемь старух, все в черном, и... играли в карты. Поздоровавшись с ними, а затем призвав на помощь свой английский, я спросила, не знают ли они, когда бывает открыт храм. Они помолчали, а потом одна из старух сказала: «А вы по-русски можете говорить?». Я засмеялась и призналась, что да, могу. Оказалось, все они — понтийские гречанки, прибыли сюда в 90-м году на пароходе, присланном Грецией за бедствовавшими в перестроечном СССР соотечественниками, и так вместе и держатся. Что же до храма, то утренние службы, сказали мне, бывают по субботам, воскресеньям и большим праздникам, а вечерня служится почти каждый день, в 7 часов.

Без десяти семь я была у храма. На ограде палисадника, предшествовавшего входу, висел замок. Минут через пять откуда-то сбоку показался священник в черном облачении, в камилавке, открыл первую дверь, затем дверь самого храма и не слишком приветливо сказал куда-то в пространство: «Ореп!» («Открыто!») Я вошла вслед за ним. Теперь я уже знала свое место и встала с левой стороны.

Через некоторое время из-за закрытых пока еще Царских врат раздался священнический голос, и служба началась. После каждения открылись Царские врата, начались молитвы, словом, все пошло своим, почти уже привычным чередом. Непривычно было одно — до самого конца службы никто не пришел, и в храме так и оставалось двое: священник и я. Даже никого из служителей не было. Все это, сама не знаю почему, внушило мне какую-то особую ответственность за всех и перед всеми, и, может быть, никогда еще я не молилась в храме так истово, и то, что я не понимала смысла слов, не имело ровно никакого значения...

Афины!

Мое пребывание в Греции подходило к концу. 3 июня ходила в часовню помолиться об именинниках этого дня — Константинах и Еленах. Потом попрощалась с морем. Ближе к вечеру зазвонил гостиничный телефон: «Это Оля. Я в ресепшн. Спускайся туда, у меня есть немножко времени, прощаемся». Я спустилась к ней, и мы пошли в кафе во дворе отеля,

возле бассейна. Мне она взяла чашечку «эллинико», себе — стакан сока. У Оли были глаза запредельно уставшего человека, такие глаза глядят на тебя, но всматриваются, вслушиваются вовнутрь себя. Тяжел хлеб человека, имеющего отвагу держать свое дело в прекрасной, но и все же чужой стране... Туристский сезон длится здесь большую часть года, и все это время она не принадлежит себе. Мне стало так стыдно за свою беспечальную здешнюю жизнь, за манну небесную, изобильно сыпавшуюся на меня из Олиных рук...

Сразу по возвращении я заказала годовое поминовение о ней в Казанском соборе, куда мною подано было и прошение о упокоении души дорогого нам обоим раба Божия Анатолия.

Уже около 12 ночи за мной приехала молодая сотрудница фирмы «Olga Tours» и повезла меня в Фессалоники, откуда в два ночи отходил ночной экспресс на Афины. На этот раз в Афинах мне предстояло провести весь следующий день (мой самолет отправлялся во втором часу ночи 5-го), и теперь уже совсем одной. Но я была абсолютно уверена, что все там будет хорошо, что я не заблужусь и вообще ничего плохого со мной не случится и случиться не может. Так оно и оказалось. «Не бойся, только веруй»...

Было уже совсем темно, когда мы отправились в путь. На подъезде к Каллифеа я буквально влипла в стекло, чтобы не пропустить во мгле храмик Свт. Николая. И не пропустила!.. Сам храм был закрыт, но двери притвора были гостеприимно распахнуты, и я успела уловить теплый блеск свечей, горевших там. В этой благословенной стране, где, в отличие от нашего многострадального Отечества, традиция не прерывалась, можно не беспокоиться, что кто-то украдет прекрасные иконы или взломает ящики, куда опускают деньги за свечи, или еще как-то набезобразничает. Так что в любой час и миг дня и ночи любой человек может зайти сюда, возжечь свечу и напитать душу...

Домчавшись до Фессалоник, которые, увы, во второй уже раз я миновала транзитом, меня привезли на вокзал, показали платформу, и я осталась одна. Минут через десять пришел поезд, и я вошла в первый попавшийся вагон, потому что на своем билете не нашла никаких указаний на вагон, место или что-то иное. У меня на глазах какую-то пару попросила освободить места другая пара, и я поняла, что места нумерованы. Куда мне идти и что делать, я не знала. Я перешла в соседний вагон. Там почти все места уже были заняты, и я в растерянности опустила свои пожитки на пол. И вдруг какой-то пожилой джентльмен в красной жокейке, с седыми усами щеточкой и веселыми карими глазами под кустистыми седыми бровями по-хозяйски взял мою поклажу и, подняв ее на багажную полку, гостеприимно указал мне рукой на сиденье. Я послушно села, он уселся на соседнее место и развернулся ко мне с явным желанием заговорить. Очень скоро выяснилось, что английский, тем более в моей огласовке и с моим синтаксисом, он не знает, я, понятное дело, не знаю греческого, и разговор, так и не начавшись, увял. В конце концов, он рассмеялся, похлопал меня по руке и ушел в дальний конец вагона.

Сначала было ужасно душно, и я долго не могла уснуть; к рассвету стало попрохладнее, и часа два я поспала. Когда же проснулась, уже всюду светило солнышко. Часы показывали половину седьмого, до Афин оставалось полчаса. И тут я увидела своего вчерашнего знакомца: радостно улыбаясь, он пробирался ко мне по проходу. Я представила себе, как мы снова будем пытаться преодолеть межъязыковые барьеры, и радости его не разделила. Но, конечно, «европейскую» улыбку на лицо натянула.

То, что я из России, в частности, из Петербурга (Петрополя), объяснить было несложно, но дальше разговор опять не пошел, и, приятно поулыбавшись друг другу, мы замолчали. Тут объявили: «Афины!», мой добрый ангел взял мои вещи (плюс к своей большой сумке, висевшей через плечо), и мы вышли на перрон. Поскольку мне надо было избавиться от вещей (не таскать же их целый день с собой), первым делом я спросила, не знает ли он, где здесь «бэгэдж дивижн». Он не знал, и мы пошли искать. Нашли довольно быстро, и я уже поставила одну из

сумок на движущуюся ленту, но тут дама в окошке сделала жест, повелевавший мою сумку убрать. Нужен был «тикет», билет на поезд: в этом случае багаж у меня бы взяли, но как пассажир воздушных линий я для них не существовала.

Мой спутник, сокрушенно вздохнув, пошел куда-то вдаль, а я осталась стоять с вещами. Довольно долго его не было. Но вот, наконец, вдалеке показалась уже ставшая родной красная кепочка. Дойдя до меня, он вошел в зал ожидания, возле которого меня оставил, и, воздев руки, в отчаянии произнес: «Русико!» («Есть ли здесь хоть один русский?») Я вошла вслед за ним. «Что вы хотели?» — немедленно отозвалась женщина средних лет, сидевшая на скамейке у входа. Мы кинулись к ней, и я объяснила, что до самого вечера буду в Афинах, собираюсь на Акрополь, и мне очень нужно пристроить куда-то вещи.

Тогда они уже вместе нашли станционного дежурного, тот куда-то позвонил и сказал, что до девяти вечера я могу сдать вещи на другой вокзал, здесь же неподалеку. Я воспряла духом и сказала своей соплеменнице: «Скажите, пожалуйста, этому доброму человеку, что я ему бесконечно благодарна за участие, но если он спешит по своим делам, он с чистой совестью может идти, дальше я сама управлюсь». Она долго все это переводила, а потом перевела его ответ: «Он вам помогает. Сейчас он поможет вам сдать вещи, а потом вы вместе пойдете на метро, он доедет с вами до Акрополя и поедет дальше. Если у вас будут какие-то сложности с багажом, еще с полчаса я буду здесь». Само собой, я спросила, как ее зовут, чтобы помолиться и за этого ангела. «Люба», — был ответ...

Мой друг (а как еще его назвать?) взял вещи, и через высоченный виадук под уже палящим солнцем мы пошли на другую площадь и в самом ее конце нашли «бэгэдж дивижн». Когда все было сделано, я вскричала: «Эвхаристо!» и расцеловала его в обе щеки. Он же серьезно на меня посмотрел, дотронулся до козырька своей пламенной жокейки и, сделав красивый поклон, плавно повел в мою сторону рукой, как бы говоря: «И вам спасибо!».

Уже совсем как родные пошли мы к метро. Там он, увидев, что я взялась за сумку, сделал предупредительный жест и купил мне билет. Молча проехали мы несколько остановок. На станции, которая так и называется: «Акрополь», он вышел вместе со мной, мы расцеловались — и расстались. Жаль только, я не спросила его имя: чтобы знать, за кого молиться. (По возвращении я внесла его в свой синодик под именем «Грек-попутчик, имя его, Господи, Ты веши...».)

Выйдя из метро, я зашла в крохотное кафе, взяла кофе и круассан, а управившись с ними, пошла к Акрополю по какой бы, вы думали, улице? По улице Дионисия Ареопагита...

Об Акрополе рассказывать я не буду: о нем столько написано, и сказано, и показано, что еще в одном рассказе нет никакой необходимости. Поэтому сразу перейду к тому, как, уже спустившись со Священной скалы, наткнулась на храм Святых Апостолов, очень строгий, скромный, если не сказать «бедный», храм, еще более аскетичный, чем тот, что в Касторье, на берегу озера. Внутри было совсем пусто, одни стены, расписанные святыми ликами, полублудившимися, но никак от себя почему-то не отпускавшими... Храм этот, как сказано в путеводителе по Афинам, стоит «на руинах римского святилища, посвященного нимфам (II век). Церковь Святых Апостолов является одним из старейших христианских храмов Афин. Строительство ее датируется 1000 — 1025 годами».

От этого храма я направилась к другой церкви, чей купол заметила еще с Акрополя. Путь мой к ней лежал по древнегреческой Агоре, городской рыночной площади, где некогда собирались на диспуты философы-стоики, и среди них — Сократ, где произносил свои пламенные проповеди Апостол Павел. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был

Дионисий Ареопагит», — прочла я уже дома в «Деяниях святых апостолов».

То и дело спотыкаясь о куски каменных плит, вросшие в землю, каменные же дощечки с римскими надписями, корни деревьев, вышла я на искомый храм. Это оказалась церковь св. Марины. Подергав дверь и с сожалением убедившись, что храм закрыт, я нашла укрытую в тени деревьев скамеечку и в полной тишине и безлюдии подремала на ней с полчаса. Отдохнув так, я пошла дальше, к огромному куполу, виденному с Акрополя, но, добравшись до здания, которое он увенчивал, прочла на табличке, что это не храм, а Национальная обсерватория. Неожиданно потемнело, начал накрапывать дождик, похолодало, и я взяла направление на город: я бродила по Акрополю и под ним уже часов пять, и пора было подкрепиться.

И тут что-то заставило меня оглянуться. А оглянувшись, я увидела низенькое прямоугольное здание, сложенное из темно-зелено-коричневатых камней, и... покосившийся деревянный крест на плоской черепичной крыше. «Церковь во имя св. Димитрия Бомбардира, IX век», прочла я, почти подбежав к ней, на листке, висевшем на стене. Какое имя носила эта церковь до св. Димитрия (а он отличился при обороне Акрополя от нападений турок в XVI веке), не сообщалось.

...За несколько месяцев до того мне подарили репродукцию иконы Спасителя в формате большого плаката. Мне было очень неловко принимать этот подарок, но дарители сказали, что христиане должны делиться. Было это в Субботу Акафиста.

Икону я повесила у себя в комнате, и теперь тотчас по пробуждении взгляд мой встречается со взглядом Христа, задумчиво спокойным, кротким и особенно замечательным тем, что один глаз устремлен вверх, к Отцу, другой — вниз, на нас, грешных... И вот сейчас, стоя перед входом в храм, я подняла глаза вверх... и увидела над дверью «моего» Спасителя.

Я застыла в ошеломлении. Мне даже показалось на мгновение, что над теменем у меня что-то тихо прошелестело. «Боже, очисти мя, грешную...» — только и могла я прошептать.

Кругом не было ни души. Я обошла храм несколько раз вокруг, заглядывая сквозь тусклые матовые стекла в маленькие окошки, но ничего, кроме едва угадывавшегося света лампадок, не разглядела. Впечатление от столь неожиданной встречи было настолько сильным, что я села на скамеечку под навесом... и в компании какого-то приبلудного кота снова отключилась минут на пятнадцать. За это время дождь прошел, и под тут же набравшим силу солнцем я пошла в город, перед тем, конечно же, снова поклонившись «своему» Христу. Улица, на которую я вышла, носила имя Святого Апостола Павла... А начиналось мое путешествие по древним Афинам с улицы Дионисия Ареопагита. Вот так, совсем по-домашнему, эти святые мужи незримо живут бок о бок с нынешними афинянами...

Вскоре после моего возвращения мне подарили два компакт-диска «Святые лики», и прежде всего я принялась искать мою икону. И в каталоге «Спаситель» нашла. «Христос Пантократор. VI век». Оказалось, что она — из монастыря св. Екатерины на Синае, принадлежит к так называемым encaustic иконам, то есть писанным восковыми красками с последующим обжиганием.

(А шесть лет спустя после того... увидела и первообраз... Да, в том самом монастыре св. Екатерины на Синае. Дивны дела Твои, Господи!..)

Несколько слов на прощание: помолитесь о упокоении души убиенного раба Божия Анатолия, хорошего, красивого, совсем еще молодого человека.

Закончено 23.02.05, в день памяти священномученика Харалампия

Конец и Богу слава!

День рождения

... У меня был кирзовый волейбольный мяч, который, мало того, что был тяжел, очень больно отбивал руки. И на десять лет мне подарили настоящий кожаный мяч! Он был гладок, легкий, упруг и так высоко и звонко подскакивал при ударе о землю!

И вот меня куда-то позвали дворовые друзья, и, чтобы меня не загнали домой, я не стала заносить мяч к себе, а спрятала его в нашем деревянном шкафу на лестнице. Когда же, час или два спустя, я пришла за мячом, — его не было... Кто его украл — так и осталось неизвестным. Наверное, тот, кто так же, как я, мечтал о настоящем кожаном мяче...

Так вот: сегодня я знаю, что было в моей жизни потом, и потом, и еще потом. Но в тот день рождения, когда я стояла в слезах на нашей мрачной лестнице и мне еще предстояло сказать своей суровой маме, что мяч... украли! — могла ли я вообразить, что 57 лет спустя буду праздновать свой день рождения не где-нибудь, а у Матери Божией, в Гефсимании, в Иерусалиме!.. Такие Царские подарки, как путешествие на Святую Землю (а годом раньше — в Грецию), умеет делать только Господь... И их-то никто и никогда у меня не украдет...

«Ну, как?» — спросила Вероника А., когда я позвонила ей через несколько дней по возвращении со Святой Земли. «Как... Разве скажешь? Ну что вам объяснять, вы же сами там были!..». «Да, это как удар...», — помолчав, сказала она.

И когда, уже два года спустя, мне предложили написать рассказ о моем удивительном одиночном паломничестве, я ответила: «Ой, нет!.. Это очень трудно...». И не в одной лишь дерзости подобного предприятия было дело, но еще и в том, что 10 моих святоземельских дней, один только конспект которых, краткими назывными предложениями, занимает более 12 тысяч знаков, требовалось втиснуть в прокрустово ложе 10 тысяч... А если не всё, то что? Где критерий? И я попросила помощи. Как нас учат, трижды. И на второй же молитве где-то глубоко-глубоко, чуть слышно и очень быстро, мелькнуло: «Храм Успения». (А то, что не вместились, подспудно жило в моей памяти и время от времени пробивалось на дневную поверхность, то в «Иерусалимских письмах», то в фотоочерке «Радосте наша...», 2009-го, то в рассказах о паломничестве 2010-го...)

Итак, благословясь, начнем.

Еще загодя моя старинная знакомая Л., уже несколько лет живущая в Израиле, записала меня на поездку с группой русскоязычных евреев в Галилею. И сразу из Бен-Гуриона надо было ехать в Натанию, где жила Л. И, переночевав у нее, уже рано утром я отправилась в ГАЛИЛЕЮ! Все было, как в Греции: еще вчера – в Шереметьево, сегодня в Метеорах, здесь – вчера в Пулково, сегодня в Галилее!..

В 2 часа пополудни 15 мая 2005 года, еще не остыв от вчерашнего посещения Галилеи, еще всеми мыслями и чувствами там — в Назарете, в Кане, на берегах Галилейского моря, в зеленых водах Иордана, — азъ, недостойная и грешная раба Божия Людмила, прибыла в Иерусалим. Довольно легко найдя нужный мне дом и оставив вещи, ринулась я в Старый город... И уже час спустя, пройдя через ворота, называемые Яффскими, я стояла у других ворот, над которыми крупными красивыми буквами так и было написано: Terra Sancta...

И началось мое блуждание в поисках Храма Гроба Господня по бесконечным лабиринтам узеньких улочек, среди древних каменных стен и сводов, вдоль бесконечных торговых рядов...

Снова и снова спрашивала я у сидевших возле своих лавочек торговцев-арабов, как пройти ко Гробу Господню, и снова и снова объясняли мне путь, кто по-русски, кто по-английски, и вскоре я уже знала, что надо спрашивать «Биг Чёёч Ресуррекшн» (Большой Храм Воскресения), но... увы!

Тем временем уже начинало заходить солнце, и я с грустью думала о том, что надо поворачивать домой. Несолоно хлебавши... Как вдруг... Именно так: как вдруг из очередного переулочка прямо на меня резво вышел... наш, православный батюшка-монах!.. В скуфеечке, в ладном, подпоясанном ремнем, подряснике, а за ним — стайка наших бабонек, в платочках, и еще один, «белый», батюшка! «Христос воскресе, батюшка, благословите!» — радостно сказала я и наклонила голову. «Воистину воскресе! Бог благословит! Откуда и куда путь держишь?» И я ответила, что из Петербурга, ищу Храм Гроба Господня, а завтра у меня день рождения, и я очень хотела бы где-то причаститься. И... услышала в ответ: «Идем завтра молиться в Гефсиманию, к Божией Матери. В шесть утра. Приходи на Яффа, двадцать, там наш отель, к пяти – половине шестого. Придешь?»

И, прежде чем успела подумать, как это будет, я сказала: «Приду». Как я могла не прийти? К Божией Матери? В свой день рождения? Хотя бы и пешком, а приду.

Пешком идти не пришлось. Мои гостеприимные хозяева нарисовали мне схему, как пройти на площадь, где всегда можно найти такси, и, проснувшись в 4 утра от громкого молитвенного пения муллы (в магнитофонной записи), минут через десять я уже вышла из дома. А еще через десять минут сидела в такси, доставившем меня по пустынному ночному городу к отелю. Побродив туда-сюда по безлюдной улице минут двадцать, я услышала голоса, а затем и увидела «своих»...

Начинало светать. Быстро, молча пошли к Яффским воротам, свернули, прошли через один блок-пост (вынужденная мера безопасности), вышли на площадь перед Стеной Плача, у которой в этот ранний час понедельника уже молились иудеи в белых одеждах, и, пройдя через другой блок-пост, оказались пред Иосафатской долиной с потоком Кедрон. Неотразимая и невыразимая магия этих слов... Я не успела подготовиться к своему путешествию, достаточно внезапному (совсем случайно, уже под занавес акции того года, я узнала, что по той же блокадной льготе могу лететь не только в столицы Европы, но и в Тель-Авив!..), но это-то место узналось сразу...

Если расположить мои фотографии этого утра по порядку, то будет видно, как вставало и поднималось солнце. Вот оно, вспыхнув заревом в проеме восточной стены, бросило золотой блик на Стену Плача, вот засветилось солнечное пятнышко на гробнице древних пророков, засияли золоченые купола храма Св. Марии Магдалины на Елеонской горе, забелел сквозь деревья уголок греческого храма Первомученика Стефана (поставленного на предполагаемом месте его казни), а за ним, повыше, стал виден Храм Всех Наций... Уже стала видна дорога, идущая вверх по склону горы, сплошь усеянному белоснежными надгробиями огромного еврейского кладбища... И когда мы подходили к Гефсиманскому храму Успения Божией Матери, уже просветлело и заголубело небо и заиграли яркими красками греческие флаги — государственной и Элладской Церкви...

По широченным ступеням спустились мы в построенную еще крестоносцами пещерную церковь Успения Божией Матери, увешанную огромными красивыми лампадами (правда, незажженными, быть может, по случаю буднего дня — понедельника), и, повернув направо, оказались... у Ее гробницы... Сюда Она была положена по Успении, здесь стояли собравшиеся отовсюду Апостолы, здесь стоял Ее Сын, держа в руках душу Пречистой Матери Своей в виде куколки. И отсюда Она была взята Им на Небеса...

В полном молчании, едва не на цыпочках, подходили мы к Ее иконе, известной под названием «Иерусалимская–Гефсиманская», и, совершив земной поклон, прикладывались к лежавшей под нею на аналое копии. Но вскоре подошел наш батюшка и попросил отойти, сказав: «Здесь будет священство». И мы встали в узком, метра два шириной, пространстве между стеной храма и боковой стенкой гробницы.

И вот в некотором отдалении от нас, в открытом, безо всяких Царских врат, алтаре в уголке слева от храмовой иконы, встал священник-грек, а еще несколько священников — греки и русские (переоблачившиеся в греческие священные одежды) — встали пред гробницей Божией Матери. И началась Божественная литургия... Время от времени греческие молитвы и песнопения перемежались возгласами на русском: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава...» и пр. Так удивительно и радостно было слышать здесь, за тридевять земель от дома, свои, родные голоса...

А потом к нам подошли и сказали: «Будем причащаться». Один за другим подходили мы к алтарю, где стояли священник с диаконом, и причащались Святых Таин... Когда подошла моя очередь, от волнения у меня пролилось на плат немного Крови Христовой, и диакон, державший плат, во мгновение ока... слизнул с него пролитое. Что другое могла я подумать при этом, кроме как: «Вот это вера!...»?..

Под конец, как водится, дали антидор, но его я потреблять не стала: привезла сыну, и он потребил его в свой день рождения, через две недели.

...Служба закончилась, но уходить мне не хотелось, и я еще побродила по храму, а затем, медленно поднимаясь вверх, в углублении стены справа от ступеней обнаружила надпись, сообщавшую о том, что здесь похоронены родители Богородицы – свв. праведные Иоаким и Анна. Это как-то необычайно тронуло...

Когда я вышла, наконец, из храма — вспомнила о тех, с кем сюда пришла и с кем собиралась продолжить свое путешествие по Иерусалиму. Увы, их уже и след простыл. И дальше я бродила по Иерусалиму одна, открывая его «методом проб и ошибок»: дома, как я уже сказала, у меня не было времени толком подготовиться к своему паломничеству.

Зашла ненадолго в расположенный совсем рядом храм Св. Марии Магдалины (там служба уже тоже отошла), побродила по узеньким дорожкам цветущего сада, пытаюсь представить себе, по трагическому контрасту с этим сияющим, ласковым майским утром, как некогда во мраке Гефсиманской ночи молился где-то здесь Спаситель... Потом поговорила немного с приветливой девушкой, гостившей здесь у своей сестры-послушницы, и по ее совету пошла к «Русской башне» на верху горы, у подножия которой мы находились.

Как это ни дико прозвучит, в тот момент я еще не понимала, что нахожусь... на Елеонской горе. Мне и в голову не могло прийти, что это может быть так вот просто — взять да и пойти «вдоль по Масличной»... Лишь поднявшись на самый верх и спросив у шедшего мне навстречу пожилого человека в иноческом облачении, где же Елеонская гора, услышала в ответ: «Так вы на ней стоите!». Я тихо ахнула...

Инок был приветлив и словоохотлив. «Русская башня», о которой сказала девушка, или, как ее еще называют, «Русская свеча», оказалась колокольной храма Спасо-Вознесенского женского монастыря. «Вот отсюда Матерь Божия смотрела, как возносится Ее Сын...», — сказал инок, подведя меня к боковой стене храма... Но тут его позвал батюшка в черном подряснике, толкавший перед собой тяжелую тачку с углем, и инок ушел.

А я постояла со склоненной головой перед иконой Богородицы на стене... Подняла с земли на

память шишку... (Дома положила ее под той самой иконой, «Знамение», и так эта шишка там и лежит.) Затем зашла в безлюдный в этот час храм и побыла там немного в прохладном полумраке у чудотворной, как гласила надпись под ней, иконы «Скоропослушница». А потом вышла к невысокому каменному парапету смотровой площадки и долго стояла там, впитывая в свою зрительную память открывавшуюся вдали сквозь светящийся воздух панораму Великого города... Я не знаю, как говорить о таких вещах своим немощным, беспомощным языком...

У меня не осталось и тысячи знаков, а я еще не рассказала о том, как послушник, вернувшись ко мне, показал путь к «Стопочке», как ласково называют здесь след ноги Спасителя, оставшийся на месте, откуда Он вознесся (там арабы-мусульмане, а эта часть Иерусалима — палестинская, поставили мечеть и взимают за вход плату), и я ее увидела и поклонилась ей...

...Как в каком-то радостном потрясении-изнеможении шла вниз и, вспоминая свой путь наверх, думала о том, что Спаситель-то с апостолами проделывал его не по асфальту, как мы сейчас, и так понятен Его упрек евангельскому Симону: «Ты воды Мне на ноги не дал...».

...Как, перейдя мост над потоком Кедрон, вышла к Львиным воротам, ведущим в Старый город, но туда не пошла (потому что ясно понимала, что, если бы и нашла на этот раз Гроб Господень, мне было бы его не вместить — после всего услышанного и увиденного за самый удивительный в моей жизни и самый длинный день рождения, начавшийся в четыре утра), а просто пошла вдоль оказавшейся бесконечной древней каменной стены... И часа через полтора пути вышла, наконец, к уже знакомым мне Яффским воротам.

...Как назавтра я все-таки нашла Храм Гроба Господня, а потом, уже в последний мой иерусалимский день, выпавший на праздник Знамени Креста Господня над Иерусалимом, побывала там еще раз... Однако это уже «совсем другая история», и рассказывать ее «в двух словах» я не дерзаю...

2007, май

*С небес на землю – и обратно...**

Сегодня, когда проделан нелегкий труд первой седмицы Великого поста, душа запросила коротенькой передышки-праздника перед тем, как продолжить путь, который митрополит **Сурожский Антоний** определяет как «духовное путешествие». * И я решила поделиться с вами своими странными «духовными путешествиями» конца 2010 года, вскоре после возвращения со Святой Земли...

Со Святой Земли мы прилетели в четверг. А уже в субботу я была на Литургии в своем соборе: была в том нужда...

После службы увидела Р. «Ну, как вы съездили? Не зайдете ли ко мне?»

Еще по пути Р. рассказала о своей главной новости: ей, коренной петербурженке, до сих пор живущей в коммуналке, дают квартиру по программе социальной помощи преподавателям, на каких-то немисливо льготных условиях. Это была совсем свежая новость, и только о ней она могла и думать. И, когда мы трапезничали у нее на кухне, в углу, который она делит с кем-то из соседей, она рисовала мне схемку предполагаемой перестановки столов в этом углу, потом — план своей новой квартиры... О паломничестве моем она больше не спрашивала, и я тоже к

* Фотографии и комментарии – здесь: <https://azbyka.ru/forum/xf-blog-entry/s-nebes-na-zemlju-i-obratno.960/>

этой теме не возвращалась.

Не только душой, но и телом (просыпаясь по утрам, я долго разворачивала перед мысленным взором свою комнату, пока окно и дверь не вставали на свои привычные места, и только после этого я понимала, что – дома...) я все еще была ТАМ и, слушая Р. и искренне за нее радуясь, в то же время думала: «Что меня возвращают с небес на землю – это очевидно. Но почему же так сразу, так срочно?»

Еще до моего отъезда на Святую Землю отец К. дал мне почитать книгу художника Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла», сказав, что она будет мне интересна: ведь мое детство тоже пришлось на блокадное и послевоенное время. И не ошибся.

До отъезда я эту книгу прочитать не успела и теперь ее дочитывала. Со странным чувством... Трудно было бы подобрать людей, которые бы являли собой больший контраст с теми пейзажами, образами, красками и звуками, что заполняли сейчас мое сердце, чем герои книги Кочергина...

Признаюсь, мне сложно было снова погрузиться в этот мир, отброшенный на обочину жизни. Я бы, может, и подыскала какое-то более «благочестивое» чтение, если бы мне не было стыдно перед этими «обрубками», как называет Кочергин своих безруких, безногих героев... И потому вечером того же дня, когда была у Р., я снова честно села за эту книгу. Открыла ее там, где она была заложена, – на рассказе «Платон и Платонида», и, едва начав читать, поняла, что и он бьет в ту же точку: вернуть с небес на землю. Но вернуть не в переносном смысле – к «прозе жизни», а в буквальном – на родную русскую землю. По северным пределам которой ходили в глухое советское время эти двое, ослепленные доблестными красноармейцами, за отсутствием храмов и батюшек взявшие на себя труд христианских проводов покойных...

Погребальное их пение, по определению автора, проникало «до кожи спины»... Как и сам этот рассказ. Не буду его пересказывать, это невозможно сделать без потерь всяческого рода. Его очень легко найти в Интернете.

Дальше мысли мои потекли по не зависящему от моих активных усилий, но подчиняющемуся какой-то внутренней логике руслу и оказались в деревне Нокола Архангельской области, на Каргополье, где мы с пятилетним тогда еще сыном провели дивный август. И всплыли тамошние закаты над низкими, вровень с водой, берегами озера Лаче (это из него вытекает река Онега...)... Черная от смолы и древности огромная лодка-долбленка, затерявшаяся в глубине невиданных размеров чердака, древние прялки, позабытые-позаброшенные... Огромные сеновалы, когда-то, надо полагать, доверху набивавшиеся сеном, а теперь полупустые... Доверху нагруженные груздями («груздям») лодки, снующие по озеру: там по грибы «бегали» («за грибом сбегая») водой, так ли сейчас, не знаю... Заросли черной и красной смородины по берегу речки... Коняга, везущий с пекарни в сельпо телегу, заваленную еще теплыми пшеничными буханками, и прямо на них – мой сын, водруженный туда добродушными пекарками... Старухи с иконописными славянскими ликами, не тронутыми тюркской кровью, до этих краев не добравшейся... Остов колокольни конца XVIII века, обезглавленной комсомольцами-активистами...

Как прочитала я недавно, по некоторым данным, именно здесь, в старинном рыбацком селе, томился в ссылке Даниил Заточник... Из его «Моления»: «Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбиво, а мне горе лютное; кому Белоозеро, а мне чернее смолы, кому Лаче озеро, а мне много плача исполнено, зане часть моя не прорасте в нем»...

... Через несколько вечеров книга Эдуарда Кочергина была дочитана... И долго еще после того, как была перевернута последняя страница, звучали во мне слова (перефразировавшие, с точностью до наоборот, знаменитый афоризм советского классика) одного из героев,

доживающего, а точнее было бы сказать – дотлевающего, жизнь в своей старой квартире, занятой в двадцатые годы «псковскими комсомолками»: «Человек – это звучит больно»...

Я тогда долго не могла заснуть. А потом встала и пошла в большую комнату, где стоят наши «светские» книги. Сын уже спал, и, чтобы не беспокоить его, я не стала включать свет и наугад взяла с полки, где стоят старые подписные издания, какой-то том. Вернувшись к себе, я раскрыла его, тоже наугад, и, даже не взглянув на обложку, по одному только слову «Прорва» узнала столь любимого некогда Константина Паустовского...

«К этим дням, проведенным на Прорве, – читала я, – целиком относятся слова Аксакова: “На зеленом цветущем берегу, над темной глубиной реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды.

Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе”».

И случилось так, что эти нежданно встреченные у советского писателя аксаковские слова, имевшие очевидную духовную подоплеку, мгновенно вернули меня... на берега Галилейского озера, где я совсем недавно провела три не поддающихся описанию дня, где *мерюю доброю, утрянною, нагнетенною и переполненною* отсыпаны мне были «безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе»... И этого оказалось достаточно, чтобы ушло неясное чувство какой-то вины перед моей Россией («Россия, нищая Россия, мне избы серые твои...»), которое и навевало все эти неожиданные воспоминания. Очень предметно, так же предметно, как вернули с небес на землю на коммунальной кухне Р., возвращали меня обратно и расставляли все мои Родины по их заветным местам...

4 марта 2012

Сорокоуст

Самой первой иконой, которую я купила, придя в Церковь, была икона «Умиление», Серафимо-Дивеевская. Я купила ее в церковном киоске по пути в храм на Серафимовском кладбище, тогда практически ничего не зная о святом Серафиме... И, вспоминая это сейчас, я ощущаю себя крохотной фигуркой, которую Кто-то нежно берет и переставляет, куда и когда восхощет... И семнадцатилетний интервал между двумя диспозициями твоей души – для Него даже не миг...

В последнее время все чаще снова застаю себя в Знаменском скиту Дивеевской обители, в Рождественский пост 2012-2013. Об этих днях я написала сразу по возвращении оттуда, по горячим следам: «Свойства файла: Создан 11 января 2013 года». Но не публиковала эти свои заметки, ограничившись «фотоотчетом»: *Новый год в Дивеево*. А сейчас, дослушав «Всемирный светильник», всегдашнее мое «Серафимовское» чтение, перечитала и тот давнишний очерк...

«Вы Людмила?» – издали меня вычислив на пустой в этот ранний час арзамасской платформе, спрашивает крепкий человек в рабочей куртке. «А мы вас тут ждем уже сорок минут». (Поезд запоздал на сорок минут.) Спрашиваю, кто мы: неужели кто-то еще меня встречает?... «Мы с моей старенькой машиной!» – говорит брат Владимир.

Когда подъезжаем к Скиту, издали вижу две фигурки, машущие руками. Мать К. и сестра В. Обе в дубленках: мороз. Обнимаемся и целуемся по-монашески, в плечо. В. – послушница, с ее мамой я жила в одной келье в майский свой приезд, и с ней мы тоже уже как родные.

Сразу в трапезную. Борщ. Салатики, гречневая каша. И чай! горячий! Печенье и даже конфеты. В Скиту даже в пост не пропадешь!

А вот и скитоначальница, матушка А. Приветливо здоровается – и сходу: «Не хотите поехать в Дивеево? Нашу сестричку надо навестить, она в больнице».

Ослепительно солнечный, яркий, совершенно весенний, хоть и морозец, день. Поклоняемся Батюшке... Потом – Казанский храм, поклоняемся мощам преподобных сестер Дивеевских, потом – как водится, Святая Канавка...

«Благословите! – сказал мне кто-то, кажется, сестра Н., когда я только приехала. – Вы у нас церковничать будете?» «Не знаю... – отвечаю. – Куда поставят!»

А потом оказывается, что именно церковничать я и буду, я просто не знала, что помогать в храме – это и есть церковничать... Я ведь и приехала именно на сорокоуст. 30 ноября состоялось освящение Знаменского, главного, придела в отреставрированном т. наз. летнем храме, и теперь он, как новорукоположенный иерей, служит сорокоуст. Сорок дней подряд (по 8 января) дважды в день, утром и вечером, – службы. И, поскольку сестер мало, а послушаний много, в храме каждые руки нужны.

«Благослови(те)!» Так здесь приветствуют друг друга, вместо «здравствуй(те)!» Да, конечно, точно так же было и в Горненском монастыре в Иерусалиме. И, конечно, так было и в прошлые мои приезды сюда. Но я – не запомнила это. Просто не пришло еще тогда время?.. Наверное, так. Потому что тогда, и в январе, и в мае, я все же ощущала себя гостем, а в этот раз – своей. Потому что приехала на сорокоуст? Не знаю. Но было так.

И 20-го началось мое послушание в храме. Приходила к 7 утра, ставила (куда мне укажут) свечи, зажигала их, когда приходил батюшка, следила за подсвечниками, после службы – разбирала и рассортировывала свечи, чистила подсвечники, очищала горшочки, в которые кладут огарки, и т.п., и т.д. В 11.30 шла в гостевую трапезную, завтракать, чем Бог пошлет. А Бог посылал щедро, обильно и вкусно. Потом – отдых и снова в храм. К 16.00 шла на «чай», даю в кавычках, потому что это, по сути, был второй обед. А после – на вечернюю службу, до 19-ти.

«Не мерзнете? Не голодаете?» – чуть не каждый день спрашивает при встрече м. А. «Да что вы, матушка! Более чем не голодаю! Я вообще к еде отношусь спокойно». – «Я тоже к еде отношусь спокойно, но я десять лет была келарем, и для меня до сих пор очень важно накормить людей, чтобы все были сыты!» Когда успела? Она ж совсем молодая, года 32, кажется. И такое хозяйство на себе везет! За стольких людей отвечает! Быстрый ум, прекрасное чувство юмора. Храни ее Господь!

22-го – День Обители, праздник, о котором я не знала. 21-го вечером поехали на всюнощную, потом вернулись обратно, а утром рано – на Литургию. В самых общих чертах я рассказала о нем здесь: [«На Празднике Четвертого удела...»](#) Но тут хочу поделиться еще кое-чем... Дело в том, что на всюнощной мать К. пошла фотографировать на хоры, сказав, что потом за мной придет, а мне сказала: «А ты иди вот туда, в уголочек, я м. С. сказала про тебя». И, дав мне складной стульчик, ушла, а я оказалась «в уголочке».

«Присмотрите за свечами? – сказала м. С. и ушла. Я стала присматривать и время от времени вставала, чтобы поправить или убрать свечи. Убрав, садилась и прислонялась спиной к деревянной стеночке за мной. «В уголочке».

И вдруг... меня как озарило: где я сижу, к чему прислоняюсь... К какой такой стеночке. А прислонялась спина моя грешная к задней стене резной деревянной сени над ракой с мощами

Батюшки... Я была в своем теплом пальто-скафандре, и мне и так было в нем жарко, но тут я просто начала плавиться и, после минутного колебания, подхватила стульчик и ушла оттуда. К счастью, еще было куда пристроиться среди мирян, и там, на своем месте, я сразу обсохла.

Вскоре пришла мать К., искала меня там, где оставила, и потом только увидела. «Что ж ты ушла?.. Я же тебя специально поближе к Батюшке посадила!.. Я, когда была в Дивеево (а она восемь лет там была до Скита!..), всегда там сидела». – «Ну, то ты, а то я!.. Я там не на своем месте...» – «Ну, ладно... – вздохнула она, – тогда бери свой стульчик, пойдем на хоры». И она увела меня на хоры.

До сих пор не знаю, что это было: сознание своего недостойнства – или все-таки маловерие? Неумение принять милость Божию?..

А на хоры ведет широченная винтовая чугунная (дырчатого, как в старину делали, чугуна) лестница. И оттуда я видела «в натуре» все то, что поместила в блоге про Праздник Четвертого удела. Но никакие фотографии не в силах передать всю эту картину в движении, на них не увидишь, как колеблется пламя свечей на огромных подсвечниках, как волнуется людское море и как поводит сведенными от долгого стояния плечами совсем еще молодой иподиакон...

В этот праздник, как мне потом сказали, «одели» двоих Знаменских сестер... Само посвящение я не видела: оно происходит в тайне от непосвященных, более того, остальные сестры встают стеной, так, чтобы никто не мог видеть происходящее.

Утром мы приехали в Дивеево снова, теперь уже на праздничную Литургию, и мать К. сразу отвела меня на хоры, а сама ушла исповедаться и причаститься (мне потом принесся запивку в красивой чашечке и просфорку), я же еще с самого начала положила причаститься на Спиридона Тримифунтского, на что еще у себя в соборе взяла благословение у отца Константина. День этот для меня особенно важен, потому что именно в этот день отдал Богу душу мой дед Никифор, которого я не могу забыть (он умер в мои полтора года), но которого с твердой уверенностью почитаю своим молитвенником. Да и сюда-то, не сомневаюсь, привел меня именно дед-мордвин: старинное село Покровские Селищи, где он родился, – всего в 300 километрах от Дивеево.

До Спиридона было солнце, по ночам небо было усеяно крупными, яркими звездами. Но в ночь на 25-е (вот тебе и Солнцеворот!) пришла вьюга. В эту ночь, перед Причастием, я почти не спала (скорее всего, в связи с переменой погоды) и всё думала: «Как же я буду причащаться?» А утром, идя в храм, к счастью, по ветру, думала: «Как же я буду возвращаться?» – против ветра-то, который разворачивал спиной?

Но и причастилась, и ветер утих... О, маловерная!..

...31-го, до обеда, был последний день моего храмового послушания. «Вот... Вы у меня церковничали!..» – сказала со своей чудной улыбкой мать М., церковница. «Вы меня простите, если что не так! Спасибо вам!» – сказала я. «И вы меня простите! Может, я что не так сказала...» – «Ну что вы, мать М., за что же вас-то прощать!»

Божий человек, эта мать М... Надо было видеть, как однажды подсвечник, поставленный перед Царскими вратами алтарницей, м. В., на глазах стал падать (она уже ушла в алтарь), и как мать М. в мгновение ока, словно пантера, иного слова не подберу, метнулась к подсвечнику и в последнюю секунду успела его подхватить...

...Да, думала я, вспоминая, как чистила эти подсвечники и всё сдерживала себя, свою привычку куда-то торопиться: «Проклят всяк, делающий дело Господне с небрежением!»

...Как читала Псалтирь в совершенно пустом иногда (мать М.: «Вы подождете меня? только не оставляйте храм, пока я не приду!») храме и было острое чувство, что я – наедине с Богом...

(Теперь миряне Псалтирь больше не читают – Матушка Игуменья не благословляет теперь...) ...Как встают там на колени при словах: «Благословенно Царство...», как на коленях слушают весь Евхаристический канон, «Величит душа Моя Господа...», «Слава в вышних Богу!». И притом все – и миряне тоже... И «Параклис» по воскресеньям, перед Литургией... «Только у нас служится Параклис, больше нигде!» – с гордостью сказала мне мать А., и я сказала, что в Святогорском монастыре тоже служится, у меня запись есть, а потом пожалела: зачем сказала? Лучше бы так и думали: что только у них, моих дорогих!

Про то, как встречала Новый год, я писала в блоге. И как проснулась ночью и долго не спала в «благодарной тишине». Но там я не стала вдаваться в детали, а именно, что такого счастья я, может быть, никогда и не испытывала, как тогда, когда лежала с открытыми глазами и почему-то больше всего радовалась, что мне так хорошо и удобно здесь, в этой гостиничке, на этой чистой, удобной постели, на этой белой уютной простыни. Почему-то я на нее смотрела (хотя как я могла ее видеть, ведь я на ней лежала, укрытая одеялом, а вот помню эту белизну в призрачном свете фонаря за окном...), и она меня особенно умиляла. А о том, что все это – потому, что как раз в это время, между четырьмя и пятью ночи, совсем рядом, по Канавке шла Мать Божья, я старалась не думать. То есть думать, но очень-очень робко, очень-очень гадательно...

2 января, в день св. прав. Иоанна Кронштадтского, я уезжала домой. С утра было Причастие: общемонастырское, и я удостоилась его вместе со всеми. Подходя ко кресту, испросила благословения на дорогу домой.

Перед отъездом – как раз начиналась вечерняя служба – зашла в храм, попрощаться, со всеми, кто в нем обитает, видимо и невидимо...

...С тех пор, как я вернулась из Скита, у меня разладился сон. Полтора уже месяца я так и живу с головой, повернутой назад, и до сих пор не могу снова привыкнуть после Знаменского храма к своему собору, несуразно большому, с его многолюдством, к метро, к толпам на переходах через Московский и Энгельса...

Разладился сон... Из-за этого иногда пропускаю службы, даже праздничные.

И снова спас меня «краешек ризы Господней»:

«Теперь Вы уже в Петербурге, – писала игуменья Арсения П. Брянчанинову (брату того самого знаменитого Игнатия), переживавшему тот же самый кризис перехода из одного мира в другой. – Господь да благословит вас и да поможет вам потрудиться в пользу истины! Вы боитесь рассеянности при встрече с родными и знакомыми, и, конечно, рассеянность будет, но только бояться ее не следует. Сидя в келлии, мы боремся с помыслами страстными, греховными, а среди людей – с самими страстями. Вот и выходит одно и то же, только в последнем случае борьба обширнее, живее, действительнее. В келлии мы изучаем слово Божие, а среди людей должны стараться исполнять его. В Петербургских гостиних заповеди Божию могут исполняться на деле, и вы не сетуйте, что не успели выписать их из Евангелия. Исполняться же они могут тогда, когда вы свою душу будете становить на пути самоотвержения, а целию действий своих будете иметь отречение. Это состояние души сейчас же укажет на то, что должно быть в ее отношениях с людьми, с ближними. Она сейчас найдет эту среднюю меру, которая чужда сласти, человекоугодничества, как одинаково чужда холодности, жестокости, жесткости. Эта средняя мера есть любовь».

...И я почему-то вспомнила свою попутчицу на обратном пути из Арзамаса. Когда я ехала из дома, у меня был билет на нижнюю полку, обратно же предстояло ехать на верхней. И, когда я попыталась на нее взгромоздиться, стало понятно, что, может быть, один раз мне это и удастся, но я же ведь не смогу провести там 15 часов, ни разу не слезши. «Да ладно, – сказала пассажирка, помогавшая мне в этих попытках. – Ложитесь на мое место». И, переложив свою

постель с нижней полки на мою верхнюю, ушла в соседнее купе, где ехали ее друзья. Я не знала, как ее и благодарить. А утром даже спросила, как ее зовут, чтобы помолиться о ней. «Лена, – просто сказала она. – Да ладно, не переживайте: что ж мы, не люди!»

Я потом долго думала, кто такие эти «мы», а потом, вспомнив, что на столике возле меня она могла видеть журнал с крупными буквами «ОБИТЕЛЬ» на обложке, – поняла...

11 января 2013

*«Я полагаю радугу Мою в облаке...»**

Три раза была я в Знаменском скиту Серафимо-Дивеевской обители, притом в течение одного и того же, 2012-го, года: перед Рождеством Христовым, в мае и в декабре. Дорога туда тяжелая, и я, честно говоря, думала, что больше уж не поеду: лет мне не убавилось, а совсем наоборот, да и Бог, как известно, «троицу любит». Но этим летом сестры попросили меня помочь в одном деле, для которого понадобилось мое профессиональное умение, и кончилось это дело тем, что меня опять потянуло в те края... Ну что ж, потянуло – так потянуло, значит, надо ехать. Тут же и обоснование этой тяге нашлось: из трех раз два была зимой, один – в мае, и ни разу – «золотой осенью». Вот так и получилось, что в 7 утра 23 сентября я опять оказалась на Арзамасской платформе, и опять меня встречал брат Владимир...

«Благословите!.. Благослови!.. Благословите!..» – радостно отвечаю на приветствия сестер (еще в Горненском монастыре я встретила с таким приветствием вместо обычного «здравствуйте!»). Сразу ведут в трапезную, вещи брат Владимир без меня определяет в новую гостиничку прямо напротив храма. Сразу из трапезной – в храм, поклониться главной храмовой иконе «Знамение» и святым...

В небольшой уютной келье наскоро достаю необходимые вещи – и ложусь немного отдохнуть после долгой дороги. С радостью обнаруживаю, что из окна храм – как на ладони, через неширокую дорогу. (На одной из моих фотографий, когда я смотрела их там, это хорошо было видно, но, увы, когда приехала домой, оказалось, что полетела фотокарта. Все снимки, которые вы здесь увидите, принадлежат хорошо уже знакомой читателям цикла моих рассказов о Знаменском ските м. К.)

Но едва успеваю задремать – звонок: «Ты готова ехать в десять вечера в Дивеево? Туда Частицу Креста Господня привезли!» Готова ли я?.. Нет, конечно... Но тут же понимаю, что, если не поеду, жалеть потом буду, и отвечаю, что готова. Через какое-то время – снова звонок: «Всё переносится на завтра, на три часа дня». Ну, слава Богу!

Назавтра поехали в Дивеево. Как мне объяснили по дороге, перед Частицей Животворящего Креста дивеевские сестры по очереди поют акафисты, и на 3 часа дня назначена черед знаменских сестер. Ну и, конечно, вместе с тремя поющими едут все остальные. Как не поехать! Целый микроавтобус набился, под завязку. Ехали – и знать не знали, какое чудо Божие нас там ждет. Милостью Божьей! Потому что, если бы поехали вчера, никакого чуда бы не было. То есть, оно все равно было бы, но только без нас...

...Уже дома я зашла на сайт Дивеевского монастыря, чтобы доподлинно узнать о Святыне, которой мы в тот день поклонялись. И вот что узнала:

Вечером 23 сентября священнослужители и насельницы Серафимо-Дивеевского монастыря

* Фотографии и комментарии - здесь: <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/ja-polagaju-radugu-moju-v-oblake.1736/>

встречали в святых вратах обители святыню афонского монастыря Кутлумуш — часть Животворящего Креста Господня. Под колокольный звон ковчег с привезенной святыней пронесли по Святой Канавке. Затем его установили в центре Троицкого собора, где состоялась молебен Животворящему Кресту Господню. И после молебна не прекратилась молитва: сестры читали акафисты Кресту Господню, славили его песнопениями. Все время, пока не прекращался поток желающих приложиться к Кресту, около ковчега дежурили сестры монастыря.

На следующий день афонские монахи, сопровождающие Животворящий Крест Господень, приняли участие в молебне с акафистом преподобному [Серафиму Саровскому](#) у его святых мощей и затем в Божественной литургии, которая состоялась в Троицком соборе. В течение дня трижды у Креста совершались молебны.

Кутлумушская часть Животворящего Креста Господня считается самой большой. Ее пожертвовал монастырю византийский император Алексей I Комнин в начале XII века.

Но это все было вчера, без нас, а сегодня вместе со всеми и мы поклонились Святыне, через тридевять земель доставленной в Российские пределы, постояли, помолились, послушали, как пели [Акафист](#) наши певчие. Их всего трое, и, может быть, поэтому их пение звучит особенно нежно, чисто и трогательно. Я очень люблю их слушать. Потом поклонились Батюшке Серафиму. В 17 часов все должны были собраться у Казанского храма, часом с небольшим свободного времени было благословлено каждому распорядиться по своему усмотрению.

У моей обычной спутницы, м. К., на этот раз было одно важное дело, и я пошла бродить по обители одна, благо уже не впервые здесь. Строящийся Благовещенский собор за то время, что прошло с последнего моего пребывания здесь (1 января 2013-го), приобрел зримые формы... На том же монастырском сайте я почерпнула любопытные сведения о нем: Сохранилось предание, что преподобный Серафим предсказывал сестрам о будущем соборе в Канавке, который будет стоять на одной оси с Троицким собором и колокольной. За архитектурную основу нового собора взят храм московского Заиконоспасского монастыря — это стиль, близкий к русскому барокко, характерный для начала XVIII века, в котором выстроен первый Дивеевский собор — Казанский. Пропорции Благовещенского собора определены поясом Пресвятой Богородицы, длина которого 1 м 20 см, и составляют двадцать поясов в ширину (24 м), тридцать в длину (36 м), пятьдесят в высоту (60 м). Двадцать, тридцать и пятьдесят, сложенные вместе, равны ста, то есть монашеской сотнице, которая совершается по четкам.

...Был вторник, рядовой будний день между недавним Рождеством Пресвятой Богородицы и грядущим Воздвижением Креста Господня, к которому и был приурочен Афонский дар (день, правда, не такой уж рядовой – память преп. [Силуана Афонского](#), святого достойнейшего, но все же поуже известного), и потому Святая Канавка была непривычно пуста.

И вдруг ударили в колокол. Сначала – несколько одиночных ударов, как бы на пробу, а через мгновение всё заполнил мощный, быстрый колокольный звон. Было около половины пятого.

Колокола звонили и звонили, как-то необыкновенно прекрасно и радостно, никогда прежде не приходилось мне слышать такой долгий и торжествующий благовест...

И тут вдруг всплыло случайно услышанное, еще по пути на Святую Канавку: «Проводы...» Услышав, я не придавала этому значения, а тут вдруг мгновенно стало ясно: П р о в о д ы К р е с т а!

С того места, на котором меня настигла эта догадка, до схода с Канавки было еще идти и идти, и я было остановилась в нерешимости: не повернуть ли обратно... Но устыдилась и пошла дальше: по Святой Канавке обратно, навстречу установленному направлению, не ходят... Пошла насколько могла быстро, подгоняемая колокольным трезвонном, радостно

пронизывавшим все нутро...

Когда я вышла на Соборную площадь, у меня на глазах охрانا широко распахнула тяжелые двери Свято-Троицкого собора, и оттуда полыхнуло светом свечей и звуками торжественного песнопения. Когда же народ, привлеченный всем этим, стал было заходить в собор, двери снова пришлось закрыть, иначе столкнулись бы два потока: входящий и выходящий. И вот, наконец, двери снова распахнулись и вышли сестры-хоругвеносицы, а за ними – торжественная процессия, в центре которой шел митрофорный протоиерей со священным Ковчегом...

И в тот же миг множество уст тихо выдохнуло: «А-а-а-х!...»

Над Свято-Троицким собором широкой дугой встала радуга... Неведомо как сквозь темное грозное небо пробилось солнце и бросило на собор и окрест его свой веселый свет. В каком-то изумленном потрясении смотрели мы все то на радугу, то друг на друга, то снова на радугу...

...«Я полагаю радугу в завет между Мною и вами!..», – медленно и торжественно всплыли в памяти великие слова Бытия. Так хотелось вспомнить их точно, прямо сейчас... При первой же возможности я их нашла:

«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти... И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле» (Быт. 9:13-17)

...На этом я уже хотела было поставить точку. Что еще к этому «АЗЪ ЕСМЬ СЪ ВАМИ!» прибавишь?.. И поставила бы – если бы не пришел вдруг на память... знаменитый рассказ Мотовилова (что не особенно и удивительно: оба лежат здесь, неподалеку друг от друга: Батюшка – в Свято-Троицком соборе, Николай Мотовилов – у стены Казанского храма, и над ними тоже простиралась объединившая нас всех на мгновение Радуга...). И я тут же принялась рассказ этот искать, почти уверенная, что найду там недостающую точку.

И, диво дивное: первый же запрос в поиске вывел на проповедь... далекого, казалось бы, от российских реалий протопр. [Александра Шмемана](#): «Рассказ Мотовилова о преподобном Серафиме». Финал этой проповеди и оказался той самой точкой:

«"И отец Серафим продолжал:

– Когда Дух Божий сходит к человеку, тогда душа человеческая исполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Но, как бы ни была утешительна радость эта, все-таки она ничтожна по сравнению с тою, про которую сказал Апостол (1 Кор. 2, 9), что радости той не видел глаз, не слышало ухо, не приходила она на сердце человека, которую Бог уготовал любящим Его. Задатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована на небесах плачущим здесь, на земле".

Таков рассказ Мотовилова. Как видим, хоть и в разных словах: "свет", "радость", "полнота", но через века и пространства перекликаются между собою все те, кто имеет опыт живой и очевидной встречи, этого очевидного прикосновения Бога к душе. И все же – возразят нам – это немногие, это единицы. На это ответим: многие или немногие, мы не знаем, ибо сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте? А сколько живут им потаенно, ибо боятся, что, рассказав его, окажутся гордецами, ищущими признания.

Так или иначе, одно – несомненно: каждый верующий, если только он по-настоящему вдумается в жизнь свою, найдет это таинственное мгновение, когда совершилось это

прикосновение, когда дан был этот, пусть мимолетный, опыт света, радости и полноты. Ибо если это было бы не так, нам, в сущности, не о чем было бы говорить. И мы не знали бы, как объяснить это самое таинственное из всех слов человеческих – "Бог". Но остается то, что всякий раз, когда мы по-настоящему верили, не было в душе нашей страха и уныния, были только любовь, только радость, только свет.

"Се, стою у двери и стучу" ([Отк. 3, 20](#)) – слышим ли мы этот стук Божественной любви в наше сердце?»

15 января 2014, «Серафимов день»